МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Художественная литература, наука, искусство, публицистика, критика

ГОД ИЗДАНИЯ XIX

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. ЛАПИНА, В. ЛУГОВСКОГО, Л. ОВАЛОВА, И. ПАПАНИНА, Л. СЛАВИНА, Б. ЧИРКОВА

1940

КНИГА ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Адрес редакции:
Москва, Центр, Новая площадь, д. 6.
Телефон К 1-14-33.

Уполн. Главлита А-28542. Сдано в набор 17/IV—9/V. Подписано к печати 1—10/VI 1940 г. Бумага 70×101 см 1/16 доля. 16 п. л. по 60 тыс. зн. М. Г. 64. Зак. № 561. Фабрика юношеской книги издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», ул. Фридриха Энгельса, 46. Тираж 35 000 экз. Техн. редактор **И. И. Соленов.** Корректоры **Кудашев** и **М. Соколова.**

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

К ПЯТИСОТЛЕТИЮ «ДЖАНГРА»

ОЧЕРКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Библиография

Б. Изаков

СПОР В СМОКТАУНЕ

Рассказ

Фред Гарнер тоскливо глядел поверх очков на дверь кухни. Упрямство Мэг грозило поставить его в чертовски неловкое положение.

— Слушай, Мэг, — говорил он в десятый раз, — кандидат в члены парламента не каждый день заходит в дом к безработному ткачу. Ради такого посетителя стоит оторваться на полчаса от стирки.

В ответ из кухни донесся лишь плеск воды в лохани, свидетельствовавший о том, что Мэг принялась перетирать белье с удвоенной энергией. Мэг даже не удостоила своего супруга ответом: ведь только что она достаточно категорически заявила ему, что не намерена отрываться от работы ради каких-то праздношатающихся господ.

Да, у Мэг определенно испортился характер за те три года, в течение которых семья жила на пособие по безработице. Трудно было найти хозяйку приветливее ее... А теперь она не желает бросить стирку даже по случаю посещения дома высокопоставленным и уважаемым гостем. Конечно, бедняжке Мэг сильно досталось за эти годы. На ее плечи обрушились все заботы и трудности: ведь именно ей приходилось изощряться и изворачиваться, чтобы прокормить троих взрослых людей на тот единственный фунт, который оставался от пособия после взноса квартирной платы. А все же это еще не основание, чтобы делать и себя, и его, Фреда, посмешищем для соседей.

Эти мысли мелькали в голове Фреда Гарнера, пока, снедаемый тревогой, он прислушивался к неясным звукам, доносившимся из соседней квартиры.

Наконец, у Фергюссонов хлопнула входная дверь, шаги... и чей-то зычный голос сказал: «Прощайте, дорогие хозяева». Несколько секунд Фред надеялся, что люди направятся к следующему коттеджу, минуя его квартиру, а то и просто разойдутся во все стороны. Ведь кандидат в члены парламента Спрингфильд уже добрых полтора часа совершал обход жилищ на окраине фабричного городка Смоктауна и, без сомнения, успел утомиться.

Но надеждам Фреда не суждено было осуществиться. Металлическая ручка на входной двери дважды поднялась и опустилась; раздался стук.

С очками на носу и с профсоюзным журналом в руке Фред Гарнер торопливо подошел к двери и широко ее растворил. Посетители вошли в единственную жилую комнату квартиры Гарнеров. Впереди шествовал пожилой человек с румяным лицом и седеющими волосами. За его плот-

ной спиной виднелся сухой, невзрачный Шеппердсон, секретарь местных организаций профсоюза ткачей и рабочей партии. За ними следовали двое юнцов — долговязый и маленький. У маленького болтался на шее фотографический аппарат; из кармана его дождевика выглядывал блокнот. В дверях остановились соседи, а еще дальше на улице толпилась орава ребятишек.

Шеппердсон шепнул что-то на ухо пожилому человеку. Тот добродушно кивнул головой и дружески потряс Фреду руку.

— Рад с вами познакомиться, — промолвил он. — Мое имя Спрингфильд. Я выступаю кандидатом на дополнительных парламентских выборах. А про вас я много слышал: в течение десяти лет вы были казначеем в профсоюзе ткачей и отлично справлялись со своими обязанностями. Рабочее движение помнит и чтит своих ветеранов, мистер Гарнер!

Карандаш маленького юнца лихорадочно прыгал по блокноту, заполняя его стенографическими знаками. Лицо Фреда расплылось в радостной улыбке.

— Я счастлив, мистер Спрингфильд... Значит обо мне еще помнят, — растроганно бормотал он.

— По моему убеждению, — проникновенно продолжал мистер Спрингфильд, — член парламента должен поддерживать персональный контакт со своими избирателями. Вот я и решил лично познакомиться с такими уважаемыми людьми, какими являются ткачи нашего старого Смоктауна.

— Присаживайтесь, мистер Спрингфильд, — пригласил Фред, указывая на кресло.

— Благодарю, благодарю. Не стану вас беспокоить. Я зашел лишь на минутку. Какая у вас славная квартирка! Следует уважать людей, которые умеют поддерживать домашний уют в эти трудные времена. Это относится к вашей достойной супруге. Кстати, где же она? Неужели ее нет дома?

Наступало тяжелое мгновение. У Фреда Гарнера упало сердце. Мистер Спрингфильд поймал потускневший взгляд хозяина дома, с беспокойством устремленный на полуоткрытую дверь кухни. В возникшей тишине отчетливо раздался плеск воды в лохани. Собственно говоря, Мэг Гарнер горько раскаивалась теперь в собственном упрямстве. Слова почтенного гостя насчет домашнего уюта возымели свое действие. Но отступать было поздно.

Со своей стороны, мистер Спрингфильд мгновенно понял ситуацию: хозяйка дома рассержена и не желает отрываться от дел даже ради него, кандидата в члены парламента... Что ж, он, Спрингфильд, отлично понимает все то, что творится на душе у этих бедняков. Недаром он сам произошел из их среды. Лишения ожесточают простые сердца. Но на то существует он, Спрингфильд, чтобы держать своих людей в руках.

Твердым шагом мистер Спрингфильд направился к дверям кухни. Мэг испуганно подняла глаза от мыльной пены в лохани.

— Так вот вы где! — воскликнул гость. — За работой! Всегда за работой! Теперь я понимаю, почему ваша квартира блестит чистотой. Впрочем, я, повидимому, пришел к вам невпопад. Чорт возьми! Моя старуха тоже не любит, когда ей мешают во время стирки! Но, кажет-

ся, дело у вас спорится лучше, чем у нее. Когда она стирает, весь пол на кухне покрыт мыльной пеной. Уж очень решительно она работает локтями — вот так...

И кандидат в члены парламента, скинув пиджак, принялся проделывать над лоханью энергичные телодвижения, наглядно демонстрируя, как стирает белье его «старуха». Получалось довольно правдоподобно, мистер Спрингфильд еще помнил, как «старуха» сгибалась над лоханью каких-нибудь пятнадцать лет назад, до того, как он стал видным профсоюзным чиновником и у них в доме завелись прислуги. Мэг не могла удержаться от смеха: такой веселый старичок! А еще знаменитость! Напрасно она дулась.

Фред Гарнер с восхищением наблюдал сцену укрощения строптивой Мэг высокопоставленным гостем. Вот это парень! Как редко удавалось в последнее время самому Фреду рассмешить жену. А этот не успел зайти в дом, как она уже хохочет. Ай да мистер Спрингфильд!

Тем временем маленький юнец энергично щелкал фотоаппаратом. По его расчету, редакция газеты должна была опубликовать подобный снимок на первой странице. Пока мистер Спрингфильд натягивал пиджак, карандаш корреспондента успел заполнить иероглифами целую страницу блокнота.

— Какой «гвоздь» для моего сегодняшнего отчета, — восторженно прошептал маленький своему долговязому спутнику.—Вот он, тот доходчивый «человеческий» материал, который постоянно требуется редактору! Мне обеспечено полтораста строк в завтрашнем номере.

На прощанье мистер Спрингфильд решил вернуться к серьезному тону, чтобы завершить удачное посещение квартиры Гарнеров.

— Друзья мои, — обратился он к Фреду и Мэг, к толпившимся в дверях соседям, а также к корреспонденту, — рабочий класс должен активно пользоваться благами нашей британской демократии. Он должен избирать на выборные должности людей, которые станут отстаивать его интересы, заботиться о его благе. Вот, например, я считаю, что уже давно бы следовало починить эту дверь, — величественным жестом Спрингфильд указал на рассохшуюся входную дверь, в щели которой свободно проникал ветер. — Ведь все дома на этой улице принадлежат муниципалитету? Что ж, рабочая партия сумеет предъявить муниципалитету свои требования. Будьте уверены, друзья мои, Спрингфильд постоит за вас.

Вполголоса мистер Спрингфильд добавил, обращаясь только к Фреду и Мэг:

— Мой секретарь, — здесь последовал кивок в сторону долговязого, — возьмет вас на заметку. Конечно, я еще ничего не обещаю, но если меня выберут, я постараюсь похлопотать о работе для вас. Рабочая партия не забывает своих ветеранов.

И мистер Спрингфильд покинул дом, пожав руки хозяевам.

Фред и Мэг глядели ему вслед из окна. Мэг прижалась плечом к мужу, молчаливо извиняясь за свое давешнее поведение.

— Он обещал похлопотать насчет работы! — размечтался вслух Фред. — Наши лидеры заботятся о нас. Только бы Спрингфильд победил на выборах!

— Может быть, тогда починят дверь, — тихонько добавила Мэг. — А то уж очень дует.

Выйдя из дома, мистер Спрингфильд бросил взгляд на унылую, безрадостную улицу, терявшуюся в пелене моросившего дождя. По обе стороны улицы растянулись однотипные коттеджи, сложенные из красного кирпича, почерневшего от времени и фабричного дыма. В каждом из коттеджей было по две квартирки в одну комнату с кухней. Переживания обитателей заброшенного городка, их горести и радости были такими же стандартными, как эти домики. Они целиком зависели от шести ткацких фабрик, прокопченные корпуса которых возвышались над окрестными строениями. Три из этих фабрик бездействовали еще со времени последнего кризиса, две другие работали по три дня в неделю. Лишь одна большая фабрика Джемса Бромли была полностью загружена заказами для армии.

Мистер Спрингфильд расправил плечи и сказал своим спутникам:

— На сегодня я поработал довольно...

Рабочая партия одолела своих противников на дополнительных парламентских выборах в Смоктауне. Новый член парламента ознаменовал свое вступление в должность совещанием с руководителями местного муниципалитета, на котором было решено произвести кое-какой ремонт в рабочих квартирах. Мистер Спрингфильд настоял также на том, чтобы муниципалитет организовал для безработных читальню и футбольное поле. Вся местная и лондонская печать громко трубила об этих мероприятиях. Газетные шапки гласили: «Член парламента добился значительного улучшения положения рабочего класса в Смоктауне. Производится ремонт жилищ, муниципалитет взял на свой счет мероприятия по организации досуга безработных». В самом Смоктауне только и было разговоров, что о мистере Спрингфильде.

В жизни Гарнеров произошли кое-какие перемены. Прежде всего на квартиру к ним явились двое рабочих, починивших и наново покрасивших входные двери. Боб, единственный сын Гарнеров, достигший девятнадцатилетнего возраста, но еще не имевший в своей жизни твердого заработка, стал участником футбольной команды безработных. К великому удовольствию Мэг, это несколько отвлекло его от бесцельного шатания по улицам; к тому же на футбольной площадке все участники команды получали горячие завтраки. Сам Фред считал своим долгом ежедневно проводить несколько часов в муниципальной читальне для безработных. Вследствие этого он меньше сидел дома и не в такой степени, как прежде, мозолил глаза Мэг. Более того: Фреду объявили в профсоюзе, что он является кандидатом на первое же место, которое освободится на фабрике Бромли.

Как-то в один из первых декабрьских дней 1936 года Фред Гарнер, как обычно, зашел в читальню. В читальне, оборудованной в помещении пустовавшего магазина, было тесно и накурено. Обменявшись кивками с некоторыми из посетителей, он принялся за свое повседневное чтение. Сначала он развернул местную газету. По старой привычке он начал читать ее с седьмой страницы, содержавшей краткий отчет о собачьих бегах в Манчестере. В свое время Фред был горячим болельщиком собачь-

их бегов и просадил там не один шиллинг. Теперь он не мог позволить себе подобной роскоши и только подолгу простаивал у витрин табачных лавок, где постоянно висели программы предстоявших бегов и где при наличии денег можно было поставить их на того или иного пса.

Проглядев отчет, Фред с интересом прочел длинную историю насчет очередного развода известной американской кинозвезды. «Надо будет рассказать об этом Мэг», подумал Фред, затем он бросил беглый взгляд на заголовки иностранных телеграмм и обстоятельно ознакомился с объявлениями. Просмотрев еще один из лондонских журналов, Фред разыскал свою любимую американскую газету. Наряду с английской печатью, читальня выписывала из-за океана две-три газеты, славившиеся обстоятельностью информации. Однако Фред стал постоянным читателем одной из них отнюдь не в силу этой ее особенности: просто-напросто он пристрастился к публиковавшимся в ней из номера в номер коротким рассказам, представлявшим, по его мнению, исключительно занимательное чтение.

На этот раз Фред с увлечением прочел рассказ о неудавшемся ограблении шайкой бандитов почтовой конторы в небольшом провинциальном городке. Все еще под впечатлением рассказа, он принялся перелистывать газету. Его внимание привлек заголовок: «Советский Союз вырабатывает новую конституцию. Доклад Иосифа Сталина на съезде советов». Фред Гарнер интересовался заметками, появлявшимися в печати о Советской стране: уж очень много вызывала она споров и дискуссий. Поэтому он прочитал подробное изложение доклада, хотя обычно недолюбливал газетные отчеты о политических выступлениях. Закончив чтение отчета, Фред посмотрел на часы: надо было торопиться к обеду во избежание воркотни Мэг.

В ту ночь Фред Гарнер снова проснулся незадолго до рассвета. Это обыкновение появилось у него не так давно: когда он работал на фабрике, он спал крепче. В памяти Фреда замелькали дела и события минувшего дня. Вспомнился рассказ, прочитанный в американской газете. Бандит, фигурировавший в рассказе, несомненно сделал промах, разболтав свои планы в разговоре с покинувшей его женой. Получилось так, что она любила начальника почтовой конторы и предупредила его о налете. Что довелось ему, Фреду, прочесть после этого рассказа? Да, это было изложение доклада о проекте новой конституции Советского Союза. Кажется, там еще было какое-то место, которое следовало бы вспомнить. Да, вот оно: в докладе говорилось о ликвидации безработицы в Советской стране, о том, что государство гарантирует работу каждому человеку. Руководитель Советской страны предлагал записать соответствующую статью в новую конституцию — основной закон государства... Но ведь это же необычайно интересно. Об этом стоит поразмыслить... Вплоть до зари Фред лежал с раскрытыми глазами.

На другой день Фред Гарнер явился в читальню раньше обычного. Он попросил у библиотекаря, тихого и кроткого старичка, номер американской газеты, прочитанной накануне. Тот принес толстый комплект газеты: нужный номер был подшит сверху. Это был старый ноябрьский номер: газета долго путешествовала, пересекая океан. Фред заметил дату, кото-

рой была помечена газета: «27 ноября 1936 года». Доклад о проекте советской конституции был прочитан в Москве за два дня до этого числа.

На этот раз Фред Гарнер внимательнее прочитал отчет о докладе от первой до последней строчки. Многое поразило его в этом докладе. Он отнес комплект газеты соседу Фергюссону, углубившемуся в книгу за столиком у окна. Тот прочитал отчет и показал его своему приятелю, безработному слесарю Аллисону.

В течение декабря все постоянные посетители муниципальной читальни ознакомились с содержанием газетного отчета, поразившего Фреда Гарнера. Комплект американской газеты постоянно лежал в читальне на самом видном месте, раскрытый на нужной странице. Чья-то рука очертила синим карандашом то место в докладе, где говорилось о ликвидации безработицы в СССР и о праве на труд, гарантированном каждому советскому гражданину.

Когда в первых числах нового года библиотекарь уносил в подвал декабрьские комплекты газет, Фред выпросил себе интересовавший его номер американской газеты. Теперь знакомым Фреда Гарнера не нужно было ходить в читальню, чтобы ознакомиться с докладом о советской конституции.

Вскоре семья Гарнеров услышала радостную весть: Фреду была твердо обещана работа на фабрике Бромли. Секретарь профсоюза ткачей Шеппердсон договорился об этом с самим мистером Бромли. Пятнадцатого февраля Фреду предстояло выйти на работу впервые после трехлетнего перерыва. Счастье Гарнеров не имело предела. Мэг долго плакала. У Фреда чесались руки от желания скорее встать к станку, и он считал дни, оставшиеся до пятнадцатого февраля.

Как раз за четыре дня до этой даты рабочая партия организовала в Смоктауне массовое собрание. В порядке дня стояло выступление мистера Спрингфильда, специально прибывшего из Лондона.

Собрание устроило горячую встречу члену парламента. Довольный оказанным ему приемом, мистер Спрингфильд приступил к речи. Он отлично владел своим тренированным голосом, приобретавшим то бархатную мягкость, то силу громовых раскатов, и умело пересыпал свою речь местными словечками и выражениями, пользовавшимися особой популярностью в народе. Слушатели сидели словно зачарованные.

Изложив в общих чертах политику рабочей партии, Спрингфильд остановился на экономическом положении страны. Оратор ставил себе задачей доказать, что политика рабочей партии должна преследовать лишь вполне достижимые цели.

— Мы не фантазеры и не утописты, — говорил член парламента, — поэтому нам приходится считаться с реальными фактами, в частности, с тем, что безработица является на данном этапе экономического развития явлением неизбежным. Лучше позаботиться о том, чтобы произвести ремонт в жилищах безработных, чем попусту болтать об уничтожении безработицы. Не следует забывать, что имеются страны, где насчитывается еще больше безработных, чем в Англии, и, во всяком случае, нет ни одной страны в мире, которая бы не была поражена бичом безработицы.

— Но такая страна есть...

Эти слова были произнесены кем-то из присутствовавших не вполне уверенным голосом, в котором нельзя было уловить и тени вызова. Но этот голос долетел до слуха каждого участника собрания. Мистер Спрингфильд решил не проходить мимо дерзкой реплики.

— Позвольте вас спросить, что же это за страна? — насмешливо бросил он в ту сторону, откуда послышался голос.

— Но ведь это Советский Союз, — последовал негромкий ответ.

На секунду в зале воцарилось молчание. Некоторые привстали со своих мест, пытаясь разглядеть человека, полемизировавшего с членом парламента. Мистер Спрингфильд решил дать немедленный и сокрушительный отпор своему неизвестному оппоненту.

— Друзья мои, — зарычал он самым глубоким басом, — не слушайте этого смутьяна. Это большевик!

Спрингфильд рассчитывал на поддержку участников собрания. К его удивлению, в зале поднялся ропот.

— К чему ругаться, — сердито закричал кто-то, — какой это большевик! Это наш ткач, Фред Гарнер!

Дело принимало нежелательный оборот. Но имя Фреда Гарнера толкнуло мистера Спрингфильда на быстрое решение. Мистер Спрингфильд обладал редкой памятью на имена. Это было одним из тех его качеств, с помощью которых он обеспечивал себе популярность среди рабочих. Его излюбленнейший ораторский прием заключался в том, чтобы во время публичного выступления обращаться по имени к тому или иному слушателю, обычно старому профсоюзнику, чье лицо ему удавалось распознать среди собравшихся. «Вот каков он, этот Спрингфильд, — говаривали в таких случаях рабочие. — Наш это человек: недаром он знает рабочих по именам». Теперь мистер Спрингфильд припомнил Фреда Гарнера, чью квартиру ему довелось посетить каких-нибудь четыре месяца назад. Вспомнил он и то благоговение, с которым простодушный Фред Гарнер глядел тогда на него, одного из лидеров рабочей партии. «В самом деле, этот Гарнер не может быть коммунистом, — решил Спрингфильд, — да и нетрудно срезать такого простака, если он и сболтнет что-нибудь лишнее насчет Советского Союза».

Обменявшись взглядом с председателем собрания Шеппердсоном, мистер Спрингфильд объявил:

— И я хорошо знаю Гарнера. Это старый профсоюзник, и я вижу, что произошло какое-то недоразумение. Пусть Гарнер поднимется на трибуну и выскажется. На наших собраниях господствует демократия.

В то время, как Фред Гарнер протискивался к трибуне сквозь плотные ряды собравшихся, мистер Спрингфильд занял место за столом президиума рядом с председателем.

— Вы поступили правильно, — вполголоса заметил ему Шеппердсон, — Фред Гарнер наш человек. Он не имеет ничего общего с коммунистами. К тому же мне удалось устроить его на работу: через четыре дня он пойдет на фабрику Бромли. Вы сами понимаете, что Фред считает себя нашим должником до конца жизни. А вас он просто боготворит.

Фред Гарнер достиг, наконец, трибуны. Прежде всего он откашлялся

и надел очки. Он чувствовал себя смущенным: в прошлом ему приходилось выступать только на профсоюзных собраниях, а перед такой большой аудиторией он не говорил еще ни разу. Фред даже досадовал на себя: дернула его нелегкая бросить реплику, — мистер Спрингфильд, конечно, не хуже его знает о делах в Советском Союзе и, быть может, собирался коснуться этих дел в заключительной части своей речи. А неуместный выкрик Фреда вызвал целую суматоху. Ну ничего: сейчас все выяснится.

— Мужчины и женщины, — произнес Фред Гарнер, — мы все знаем Спрингфильда как нашего лидера. Он сделал много хорошего для нас, рабочих и безработных Смоктауна.

В зале раздались возгласы одобрения.

— Слушайте, слушайте, — провозгласил председатель Шеппердсон.

Мистер Спрингфильд самодовольно улыбался.

— Если я позволил себе прервать речь нашего уважаемого гостя, — продолжал Фред, — то сделал это лишь для того, чтобы уточнить одно место в его выступлении. Мне послышалось, что он сказал, будто безработицей поражены все страны. Вот я и захотел напомнить, что в Советском Союзе, повидимому, нет безработицы.

После этих кратких слов Фред приготовился покинуть трибуну, но тут за столом президиума поднялся мистер Спрингфильд.

— Мой друг Фред Гарнер, — заявил он с легкой улыбкой, — напрасно полагаете, что я мог запамятовать целую страну! Все дело в том, что он впадает в ошибку, когда говорит, что в Советском Союзе нет безработицы. Это выдумки большевиков. О, я прекрасно знаю, что Гарнер не принадлежит к их числу... — Примиряющим жестом оратор вскинул вверх обе руки. — Попросту в данном случае его ввели в заблуждение. Вот и все.

На этот раз Фреду не понравился тон оратора: мистер Спрингфильд публично утверждал, что его, Фреда, одурачили.

— Позвольте, — проговорил Фред, — меня никто не вводил в заблуждение. Но я полагаю, что в Советском Союзе действительно нет безработицы.

— Чудной вы все-таки человек, Гарнер, — все еще весело сказал мистер Спрингфильд. — Ну неужели вы мне не верите?

— Что вы, что вы, — запротестовал Фред, — как могла вам притти в голову такая вещь. Разумеется, я вам верю. Вы — наш лидер.

— Вот видите, Гарнер. Значит, вы можете положиться на мои слова. Вы, вероятно, не бывали нигде дальше окрестностей Смоктауна. А некоторые люди, достойные всяческого уважения, исколесив весь свет, посетили даже Россию. С одним из них, вернувшимся оттуда совсем недавно, я беседовал перед самым отъездом из Лондона. Он подтвердил, что в России безработных не меньше, чем у нас; только большевики скрывают их от посторонних глаз. Не станете же вы оспаривать показания этого очевидца.

Фред нахмурился; слова мистера Спрингфильда показались ему на этот раз мало убедительными. Решительно здесь крылось какое-то недоразумение, которое следовало выяснить.

— Позвольте, — сказал Фред, — быть может, человек, о котором вы говорите, был одним из недоброжелателей Советской страны. Известно, что эти люди клевещут на Советский Союз.

— Однако, Гарнер, — строго сказал мистер Спрингфильд, — вы, кажется, утверждаете обратное тому, что говорю я? Откуда у вас такая самоуверенность?

— Видите ли, мистер Спрингфильд, — пытался объяснить Гарнер, — в Советском Союзе выработана новая конституция. Эта конституция гарантирует каждому молодому гражданину получение работы. Согласитесь сами, что существование такого закона — убедительное доказательство отсутствия безработицы в Советском Союзе.

— Не верьте этому, Гарнер, — еще строже сказал мистер Спрингфильд, начинавший не на шутку досадовать на своего упрямого собеседника. — Все это враки. Тот, кто вам это сказал, был замаскированным большевиком.

— Никто мне этого не говорил: я прочел об этом в газете.

— Конечно, это была коммунистическая «Дейли уоркер», газета, издающаяся на московское золото?

— Нет, мистер Спрингфильд, это была солидная американская газета, которая агитирует в своих статьях за демократическую партию.

— Этого не может быть, Гарнер, — воскликнул рассвирепевший член парламента. — Я уже сообщил вам мнение очевидца, и полагаю, что мы будем считать этот вопрос исчерпанным.

— Погодите, — сказал Фред с довольным видом спорщика, который собирается пустить в ход свой самый сильный аргумент. — У меня при себе соответствующая страница из американской газеты. Вот! Здесь изложен доклад лидера Советского Союза Сталина о проекте новой конституции. Обратите внимание на место, отмеченное синим карандашом.

Аккуратно разгладив газетный лист, Фред положил его на стол президиума.

Мистер Спрингфильд был вне себя. Он видел нараставший интерес участников собрания к предмету спора и досадовал, что вступил в этот ненужный спор, нарушивший его искусную речь. В нем накипала злоба против этого безработного ткача, осмелившегося популяризировать новую советскую конституцию на собрании рабочей партии.

— Я прошу председателя, — сказал он ледяным голосом, — указать Фреду Гарнеру, что поднятый им вопрос исчерпан и ему надлежит вернуться на свое место.

И прежде чем Фред мог этому помешать, мистер Спрингфильд быстрым движением изорвал лежавший перед ним газетный лист, смял клочки и решительным жестом швырнул в угол зала. Затем мистер Спрингфильд направился к трибуне, чтобы закончить свою столь некстати прерванную речь.

— Так вот оно что... — медленно проговорил Фред, потрясенный случившимся.

Мистер Спрингфильд не счел нужным реагировать на эти туманные слова Фреда. Он раскладывал перед собой листочки с конспектом речи.

Зато заволновался Шеппердсон. Он быстро зашептал что-то Фреду и стал полегоньку оттеснять его от стола президиума.

— Стойте, — сказал вдруг Фред, смерив Шеппердсона и Спрингфильда таким взглядом, точно увидел их впервые. — Вы скверно поступили, мистер Спрингфильд, изорвав документ, вселявший столько надежд в наши сердца. Но вы ошибаетесь, если думаете, что тем самым уничтожили доклад Сталина. Мы с товарищами перечитывали этот доклад неоднократно и крепко его запомнили... И вот еще что, мистер Спрингфильд: давеча вы меня спрашивали, верю ли я вам. Тогда я ответил утвердительно. А сейчас я беру свои слова обратно. Я вам больше не верю, мистер Спрингфильд.

Фред направился к выходу.

— Не трудитесь, Фред Гарнер, являться на работу пятнадцатого февраля, — обжег его слух злобный шопот Шеппердсона.

На мгновение Фред Гарнер приостановился. Шеппердсону даже показалось, что он собирается вернуться. Но это продолжалось только мгновение. В следующий момент Фред Гарнер ускорил шаг. У самых дверей его нагнал слесарь Аллисон.

— Я с тобой, Фред, — сказал он. — Вот возьми... я подобрал это с пола... Быть может, удастся склеить...

И Аллисон сунул в руку Фреда клочки газетной бумаги, скомканные рукой Спрингфильда.

Вильям Шекспир

Перевод с английского
Бориса Пастернака

ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАТСКИЙ[1]

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Мне несколько раз предлагали перевести «Гамлета». Побуждения исходили от театров. При существовании хороших переводов я долго считал ненужным умножать их новым и несущественным видоизменением. Впрочем, речь шла об особом, вольном, свободно звучащем переложении, удовлетворительном в сценическом, а не книжном смысле. Под конец, соблазнившись задачей, я передумал.

Для повышения шансов на счастье я переводил, так сказать, с завязанными глазами, наедине с текстом, словарем и небольшим издательским комментарием. Спустя несколько месяцев, когда первая черновая редакция была закончена, я достал переводы Кронеберга и К. Р., которых не помнил, а также совсем еще неизвестные мне работы Соколовского, Радловой и Лозинского, и занялся сравнением. Что же обнаружилось?

Оказалось, — законы языка при тождественности предмета сильнее, чем можно было думать. Рукопись пестрила сходствами и совпадениями с названными, и ввиду малой оригинальности в пополнение к ним не годилась.

Зато это было лучшим способом проверить на опыте достоинства чужих трактовок. Во-первых, их родила не прихоть. На собственной неудаче убедился я, как трудно разойтись с ними, пока остаешься в пределах первой дословности. Критика мало благодарна им, и они сами недостаточно справедливы друг к другу.

Широта и приподнятость отличают перевод Кронеберга. К. Р. суше, ближе к оригиналу и выигрывает в отчетливости, подчиняя ритмическое ударение смысловому. Художественные заслуги Радловой — живость разговорной речи. У нее абсолютный сценический слух, верный спутник драматического дарования, без которого нельзя было бы передать прозаические части диалога так, как справилась с ними она. В смысле близости в соединении с хорошим языком и строгой формой идеален перевод Лозинского. Это и театральный текст и книга для чтения, но больше всего это единственное пособие для изучающего, не знающего по-английски, потому что полнее других дает понятие о внешнем виде подлинника и его словесном составе, являясь их послушным изображением.

Перед лицом таких трудов, всегда остающихся к услугам желающих, можно было с легким сердцем пожертвовать неоправдавшейся попыткой и взяться за более

[1] В Москве право первой постановки трагедии в этом переводе предоставлено Московскому художественному академическому театру имени Горького.

далекую задачу, с самого начала поставленную театрами. От перевода слов и метафор я обратился к переводу мыслей и сцен.

Работу надо судить, как русское оригинальное драматическое произведение, потому что, помимо точности, равнострочности с подлинником и пр., в ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Клавдий, король датский.
Гамлет, сын прежнего и племянник нынешнего короля.
Полоний, гофмейстер двора.
Горацио, друг Гамлета.
Лаэрт, сын Полония.
Вольтиманд, Корнелий, Розенкранц, Гильденстерн, Озрик, Дворянин. — Придворные.
Священник.
Марцелл, Бернардо — Офицеры.
Франциско, солдат.
Рейнальдо, слуга Полония.
Актеры.
Два мужика, могильщики.
Фортинбрас, принц норвежский.
Капитан.
Английские послы.
Гертруда, королева датская, мать Гамлета.
Офелия, дочь Полония.
Лорды, леди, офицеры, солдаты, матросы, вестовые и свитские.
Призрак Гамлетова отца.

Место действия: Эльсинор.

АКТ I

СЦЕНА I

Эльсинор. Площадка перед замком. Полночь. Франциско на своем посту. Часы бьют двенадцать. К нему подходит Бернардо.

Бернардо.

Кто здесь?

Франциско.

Нет, сам ты кто, сначала отвечай.

Бернардо.

Да здравствует король!

Франциско.

Бернардо?

Бернардо.

Он.

Франциско.

Вы аккуратны и пришли в свой час.

Бернардо.

Двенадцать бьет; поди поспи, Франциско.

Франциско.

Спасибо, что сменили: я озяб.
И на сердце тоска.

Бернардо.

Как в карауле?

Франциско.

Все, как мышь, притихло.

Бернардо.

Ну, доброй ночи.
А встретятся Горацьо и Марцелл,
Подсменные мои, — поторопите.

Франциско.

Послушать, не они ли. — Стой! Кто здесь?
(Входят Горацио и Марцелл.)

Горацио.

Друзья страны.

Марцелл.

И слуги короля.

Франциско.

Прощайте.

Марцелл.

До свиданья, старина.
Кто вас сменил?

Франциско.

Бернардо на посту.
Прощайте.

(Уходит.)

Марцелл.

Эй! Бернардо!

Бернардо.

Говори.
Горацьо здесь?

Горацио.

Да, в некотором роде.

Бернардо.

Горацьо, здравствуй; здравствуй, друг Марцелл.

Марцелл.

Ну как, являлась нынче эта странность?

Бернардо.

Пока не видел.

Марцелл.

Горацио считает это все
Игрой воображенья и не верит
В наш призрак, дважды виденный подряд.
Вот я и предложил ему побыть
На страже с нами нынешнею ночью
И, если призрак явится опять,
Свидетельствовать и заговорить с ним.

Горацио.

Да, так он вам и явится.

Бернардо.

Присядем,
И разрешите штурмовать ваш слух,
Столь укрепленный против нас, рассказом
О виденном.

Горацио.

Извольте, я сажусь.
Послушаем, что скажет нам Бернардо.

Бернардо.

Минувшей ночью,
Когда звезда, что западней Полярной,
Перенесла лучи в ту часть небес,
Где и сейчас сияет, я с Марцеллом,
Лишь било час...

(Входит Призрак.)

Марцелл.

Молчи. Замри. Гляди, вот он опять.

Бернардо.

Осанкой — вылитый король покойный.

Марцелл.

Ты сведущ: обратись к нему, Горацьо.

Бернардо.

Ну что, напоминает короля?

Горацио.

Да как еще! Я в страхе и смятеньи.

Бернардо.

Он ждет вопроса.

Марцелл.

Спрашивай, Горацьо.

Горацио.

Кто ты, без права в этот час ночной
Принявший вид, каким блистал бывало
Похороненный Дании монарх,
Я небом заклинаю, отвечай мне!

Марцелл.

Он оскорбился.

Бернардо.

И уходит прочь

Горацио.

Стой! Отвечай! Ответь, я заклинаю!

(Призрак уходит.)

Марцелл.

Ушел и говорить не пожелал.

Бернардо.

Ну что, Горацьо? Полно трепетать.
Одна ли тут игра воображенья?
Как ваше мненье?

Горацио.

Богом поклянусь:
Глазами не увидя б, — не поверил.

Марцелл.

А с королем как схож!

Горацио.

Как ты с собой.
И в тех же латах; как в бою с норвежцем,
И так же хмур, как в незабвенный день,
Когда, при ссоре с выборными Польши,
Он из саней их вывалил на лед.
Невероятно.

Марцелл.

В такой же час таким же важным шагом
Прошествовал он дважды мимо нас.

Горацио.

Подробностей разгадки я не знаю,

Но в общем, вероятно, это знак
Грозящих государству потрясений.

Марцелл.

Постойте. Сядем. Кто мне объяснит,
К чему такая строгость караулов,
Стесняющая граждан по ночам?
Чем вызвана отливка медных пушек
И ввоз оружья из-за рубежа
И корабельных плотников вербовка,
Усердных в будни и в воскресный день?
Что кроется за этой потной гонкой,
Потребовавшей ночь в подмогу дню?
Кто объяснит мне это?

Горацио.

Постараюсь.
По крайней мере слух таков. Король,
Чью тень мы с вами только что видали,
Был, как известно, вызван на турнир
Властителем норвежцев Фортинбрасом.
В бою осилил храбрый Гамлет наш,
Таким и слывший в просвещенном мире.
Противник пал. Имелся договор,
Скрепленный с соблюденьем правил чести,
Что вместе с жизнью должен Фортинбрас
Оставить победителю и земли,
В обмен на что и с нашей стороны
Пошли в залог обширные владенья,
И ими завладел бы Фортинбрас,
Возьми он верх. Как, с тем же основаньем,
Его земля по названной статье
Вся Гамлету досталась. Дальше вот что.
Его наследник, младщий Фортинбрас,
В избытке прирожденного задора
Набрал по всей Норвегии отряд
За хлеб готовых в бой головорезов.
Формирований видимая цель,
Как это подтверждают донесенья,
Насильственно, с оружием в руках
Отбить отцом утраченные земли.
Вот тут-то, полагаю, и лежит
Важнейшая причина наших сборов,
Источник беспокойства и предлог
К почтовой гонке и содому в крае.

Бернардо.

Все так наверно именно и есть.
Не зря обходит в латах караулы
Зловещий призрак, схожий с королем,
Который был и есть тех войн виновник.

Горацио.

Он как сучок в глазу души моей.

Порой расцвета Рима, в дни побед,
Пред тем как властный Юлий пал, могилы
Стояли без жильцов, а мертвецы
На улицах невнятицу мололи.
В огне комет кровавилась роса,
Являлись пятна в солнце; влажный месяц,
На чьем влияньи зиждет власть Нептун,
Был болен тьмой, как в светопреставленье.
Предвестия таких же страшных бед,
Как срочно отряженных скороходов,
И гибели начавшийся пролог
Земля и небо вместе посылают
В широты наши нашим землякам.

(Призрак возвращается.)

Но чу! Вот он опять. Наперерез, —
Хоть в пепел обратись я. Стой, прельщенье!
Случись язык тебе иль голос дан,
Откройся мне.
Случись добро нам надо б сотворить
Тебе за упокой и нам во благо,
Откройся мне.
Случись ты посвящен в удел страны,
Предвиденьем быть может отвратимый,
Откройся.
Случись при жизни ты зарыл в земле
Сокровище, неправдой нажитое,—
Вас, духов, манят склады, говорят,

(Поет петух.)

Откройся. Стой. Откройся мне. — Марцелл!
Держи его!

Марцелл.

Ударить алебардой?

Горацио.

Бей, если сам не станет.

Бернардо.

Вот он!

Горацио.

Вот!

(Призрак уходит.)

Марцелл.

Ушел!
Мы раздражаем царственность его,
Употребляя видимость насилья.
При том, что он, как пар, неуязвим,
Удары наши — шутовство и только.

Бернардо.

Он отозвался б, но запел петух.

Горацио.

И тут он вздрогнул, точно провинился,
И отвечать боится. Я слыхал,
Петух, трубач зари, своею глоткой
Пронзительною будит ото сна
Дневного бога. При его сигнале
Где б ни блуждал скиталец-дух: в огне,
На воздухе, на суше или в море,
Он вмиг спешит домой. И только что
Мы этому имели подтвержденье.

Марцелл.

Он стал тускнеть при пеньи петуха.
Поверье есть, что каждый год, зимою,
Пред праздником Христова рождества.
Ночь напролет поет дневная птица.
Тогда, по слухам, духи не шалят,
Спокойны ночи, не вредят планеты
И пропадают чары ведьм и фей,
Так благодатно и священно время.

Горацио.

Слыхал и я, и тоже частью верю.
Но вот и утро в розовом плаще
Росу пригорков топчет на востоке.
Пора снимать дозор. И мой совет;
Поставим принца Гамлета в известность
О виденном. Ручаюсь жизнью, дух,
Немой при нас, прервет пред ним молчанье.
Ну как, друзья, по-вашему? Сказать,
Как долг любви и преданность внушают?

Марцелл.

По-моему сказать. Да и к тому ж
Я знаю, где найти его сегодня.

(Уходят.)

СЦЕНА II

Там же. Зал для приемов в замке. Входят король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Вольтиманд, Корнелий, придворные и свита.

Король.

Хотя по брате Гамлете бесценном
Свежа печаль и всем нам надлежит
Скорбеть душою, а державе нашей
От сокрушенья сжаться всей в комок,
Но ум настолько справился с природой,
Что надо будет сдержаннее впредь
Жалеть о нем, себя не забывая.
С тем и решили мы в супруги взять
Сестру и ныне королеву нашу,
Наследницу военных рубежей,
С отравленным, сказал бы я, восторгом

Смеясь в полглаза и тужа другим,
Шутя над гробом и вопя на свадьбе,
И соразмерив радость и печаль.
При этом шаге мы не погнушались
Содействием советников, во всем
Нам давших одобренье. Всем спасибо.
Второе. Королевич Фортинбрас,
Не чтя нас ни во что и полагая,
Что после смерти братниной у нас
Развал в стране и всё в разъединеньи,
Возмнил такое о своей звезде,
Что надоел нам, требуя возврата
Отцовых выморочных областей,
Которые достал себе по праву
Наш славный брат. Вот, вкратце, что о нем.
Теперь о нас и сущности собранья.
Вот тут мы обращаемся с письмом
К главе норвежцев, дяде Фортинбраса.
По дряхлости едва ли он слыхал
О замыслах племянника. Мы просим
Пресечь их в корне, так как войско сплошь
Из подданных его, и их содержат
На счет казны. Письмо мы отдаем
Вам, добрый Вольтиманд, и вам, Корнелий.
Свезите старцу-королю поклон.
Мы вам не расширяем полномочий.
Держитесь в совещаньях с ним границ,
Дозволенных статьями. Поезжайте.
Проворством докажите свой порыв.

Корнелий и Вольтиманд

Здесь, как и всюду, мы его докажем.

Король.

Не смеем сомневаться. Добрый путь.
(Вольтиманд и Корнелий уходят.)

Итак, Лаэрт, что нового услышим?
Шла речь о просьбе. В чем она, Лаэрт?
С чем дельным вы б ни обратились к трону,
Успех предсказан: вещи нет такой,
Чтоб не предупредили мы желанья.
Не больше ладит с сердцем голова,
Для пользы рта не больше служат руки,
Чем датский трон для вашего отца.
Что вам угодно?

Лаэрт.

Дайте разрешенье
Во Францию вернуться, государь.
Я сам оттуда прибыл для участья
В коронованьи вашем, но, винюсь,
Меня опять по исполненьи долга

Влекут туда и мысли и мечты,
С поклоном хлопоча о дозволеньи.

Король.

Отец пустил? Что говорит Полоний?

Полоний.

Он вымотал мне душу, государь,
И, сдавшись после долгих убеждений,
Я нехотя его благословил.
Благоволите разрешить поездку.

Король.

Ищите счастья; в добрый час, Лаэрт.
Как вздумаете, с пользой тратьте время.
Ну как наш Гамлет, близкий сердцу сын?

Гамлет.

(В сторону.)

Родней, чем свой, и посторонних дальше.

Король.

Опять покрыто тучами лицо?

Гамлет.

О нет, напротив: солнечно некстати.

Королева.

Ах, Гамлет, полно хмуриться, как ночь.
Взгляни на короля подружелюбней.
До коих пор, потупивши глаза,
Следы отца розыскивать во прахе?
Так создан мир: все живущее умрет
И вслед за жизнью в вечность отойдет.

Гамлет.

Так создан мир.

Королева.

Что ж кажется тогда
Столь редкостной тебе твоя беда?

Гамлет.

Не кажется, сударыня, а есть.
Мне «кажется» неведомы. Ни этот
Суровый плащ, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья,
Ни даже слез податливый поток
И впалость черт, и все подразделенья
Тоски не в силах выразить меня.
Вот способы казаться, ибо это
Суть действия, и их легко сыграть,
А я стараюсь спрятаться от глаз,
Не вынося страданья напоказ.

Король.

Приятно видеть и похвально, Гамлет,
Как отдаешь ты горький долг отцу.

Но твой отец и сам отца утратил,
И так же тот. На некоторый срок
Сыновняя забота переживших —
Блюсти печаль. Но утверждаться в ней
С закоренелым рвеньем — нечестиво.
Упорствовать в тоске — не по мужски
И обличает волю без святыни,
Слепое сердце, ненадежный ум
И грубые понятья без отделки.
Что неизбежно и в таком ходу,
Как самые повальные явленья,
Благоразумно ль этому, ворча,
Сопротивляться? Это грех пред небом,
Грех пред умершим, грех пред естеством,
Пред разумом, который примирился
С судьбой отцов и встретил первый труп
И проводил последний восклицаньем:
«Так быть должно». Пожалуйста, стряхни
Свою печаль и нас в душе зачисли
Себе в отцы. Пусть знает мир, что ты
Ближайший к трону и к тебе питают
Любовь не меньшей пылкости, какой
Нежнейший из отцов привязан к сыну.
Что до надежд вернуться в Виттенберг
И продолжать ученье, эти планы
Нам положительно не по душе.
И я прошу, раздумай и останься
Пред нами, здесь, под лаской наших глаз,
Как первый в роде, сын наш и сановник.

Королева.

Не заставляй, чтоб мать просила даром.
Останься здесь, не езди в Виттенберг.

Гамлет.

Сударыня, всецело повинуюсь.

Король.

Вот кроткий, подобающий ответ.
Наш дом — твой дом. Сударыня, пойдемте.
Своей сговорчивостью Гамлет внес
Улыбку в сердце, в знак которой ныне
О счете наших здравиц за столом
Пусть облакам докладывает пушка,
И гул небес в ответ земным громам
Со звоном чаш смешается. Идемте.

(Все, кроме Гамлета, уходят.)

Гамлет.

О если б этот грузный куль мясной
Мог испариться, сгинуть, стать росою!
О если бы предвечный не занес
В грехи самоубийства! Боже! Боже!

Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в его затеях.
Глядеть тошнит! Он одичалый сад,
Пошедший в семя. Низкий, грубый мусор
Глушит его. Зайти так далеко!
Два месяца, как умер. Двух не будет.
Такой король заправский. Рядом с тем,
Как Феб с сатиром. До того ревниво
Любивший мать, что ветрам не давал
Дышать в лицо ей. О земля и небо!
Что поминать! Она к нему влеклась,
Как будто голод рос от утоленья.
И что ж, чрез месяц... Лучше не вникать!
Ты, право, тезка женщине, превратность!
Нет месяца! И целы башмаки,
В которых шла в слезах, как Ниобея,
За отчим гробом. И она, она, —
О боже, зверь, лишенный разуменья,
Томился б дольше,— замужем — за кем:
За дядей, отчим братом, схожим с братом,
Как я с Гераклом. В месяц с небольшим!
Еще от соли лицемерных слез
У ней на веках краснота не спала,
И замужем! С такою быстротой
Нырять под простыню кровосмешенья!
Нет, не видать от этого добра!
Разбейся сердце, ибо надо смолкнуть.

(Входят Горацио, Марцелл и Бернардо.)

Горацио.

Почтенье, принц.

Гамлет.

Рад вас здоровым видеть.
Гораций,— если в памяти я сам?

Горацио.

Он самый, принц, ваш верный раб до гроба.

Гамлет.

Мой друг, еще поспорим мы, кто чей.
Что принесло вас к нам из Виттенберга? —
Марцелл,— не так ли?

Марцелл.

Он, милейший принц...

Гамлет.

Я очень рад вас видеть.
(К Бернардо.)
Добрый вечер. —
Что ж вас из Виттенберга принесло?

Горацио.

Милейший принц, расположенье к лени.

Гамлет.

Ваш враг не отозвался б так о вас,
И вы мне слуха лучше не невольте
Поклепами на самого себя.
Я знаю вас: ничуть вы не ленивец.
Но все же, чем вас встретил Эльсинор?
Пока гостите, мы вас пить научим.

Горацио.

Я видел вынос вашего отца.

Гамлет.

Нехорошо смеяться над друзьями.
Хотите свадьбу матери сказать?

Горацио.

Да, правда, это следовало быстро.

Гамлет.

Расчетливость, Гораций! С похорон
На брачный стол пошел пирог поминный.
Врага охотней встретил бы в раю,
Чем снова в жизни этот день изведать!
Отец,— о вот он словно предо мной.

Горацио.

Где, принц?

Гамлет.

В очах души моей, Гораций.

Горацио.

Я видел раз его: краса-король.

Гамлет.

Он человек был, это первым делом.
Уж мне такого больше не видать.

Горацио.

Представьте, принц, он был тут нынче ночью.

Гамлет.

Был? Кто?

Горацио.

Король, отец ваш.

Гамлет.

Мой отец?

Горацио.

Спокойнее: сдержите удивленье
И выслушайте. Я вам расскажу,—
Меня поддержат эти очевидцы, —
Диковину.

Гамлет.

Молю вас, поскорей!

Горацио.

Две ночи кряду этим господам,

Бернардо и Марцеллу, на дежурстве
Средь мертвой беспредельности ночной
Такое выпадало. Кто-то, зримый,
В вооруженьи с ног до головы,
И сущий ваш отец, проходит мимо
Державным шагом. Трижды он скользит
Пред их остолбенелыми глазами
В длину жезла от них, они ж стоят,
От ужаса почти свернувшись в студень
И проглотив язык, о чем потом
Рассказывают мне под страшной тайной.
Я стал на стражу с ними в третью ночь,
Где слово в слово подтверждая рапорт,
В такой же час проходит та же тень.
Мне памятен отец ваш. Оба схожи,
Как эти руки.

Гамлет.

Где он проходил?

Марцелл.

По той площадке, где стоит охрана.

Гамлет.

Вы с ним не говорили?

Горацио.

Говорил,
Но безответно. Впрочем, раз по сгибу
Руки и повороту головы
Я заключил, что он непрочь ответить,
Но в это время закричал петух,
И он при этом звуке отшатнулся
И скрылся с глаз.

Гамлет.

Я просто поражен.

Горацио.

Ручаюсь жизнью, принц, что это правда,
И мы за долг сочли вас известить.

Гамлет.

Да, да, все так; сейчас я успокоюсь.
Кто ночью в карауле?

Марцелл и Бернардо.

Мы, милорд.

Гамлет.

В оружьи, говорите?

Марцелл и Бернардо.

Весь.

Гамлет.

До пяток?

Марцелл и Бернардо.

До пят.

Гамлет.

И вы не видели лица?

Горацио.

Нет, как же,— шлем был с поднятым забралом.

Гамлет.

И что ж, он хмурил брови?

Горацио.

Нет, смотрел
Скорее огорченным, чем сердитым.

Гамлет.

Он бледен был, иль в краске?

Горацио.

Страшно бел.

Гамлет.

И не сводил с вас глаз?

Горацио.

Ни на минуту.

Гамлет.

Жаль,— без меня.

Горацио.

Он свел бы вас с ума.

Гамлет.

Все может быть. И что ж он долго пробыл?

Горацио.

Я мог легко бы до ста досчитать.

Марцелл и Бернардо.

Нет, дольше, дольше.

Горацио.

Нет, при мне не больше.

Гамлет.

Седобород?

Горацио.

Нет, борода, как смоль,
С серебряным отливом, как при жизни.

Гамлет.

Я стану с вами на ночь. Может статься,
Он вновь придет.

Горацио.

Придет наверняка.

Гамлет.

И ежели опять в отцовом виде,

Я с ним заговорю, хотя бы ад,
Восстав, зажал мне рот. А к вам есть просьба.
Как вы скрывали случай до сих пор,
Так точно и вперед его таите,
И что бы ни случилось в эту ночь,
Ищите смысла, но не выраженья.
За дружбу отплачу. Храни вас бог.
А около двенадцати я выйду
И навещу вас.

Все.

Ваши слуги, принц.

Гамлет.

Не слуги,— други; и на том прощайте.
(Все, кроме Гамлета, уходят.)
Отцова тень в оружьи! Быть беде!
Подвох какой-то. Поскорей стемнело б!
А там, душа, терпенье: козней след,
Зарой их в землю, выступят на свет.
(Уходит.)

СЦЕНА III

Там же. Комната в доме Полония. Входят Лаэрт и Офелия.

Лаэрт.

Мешки на корабле. Прощай, сестра.
Пообещай не упускать оказий
И при попутном ветре не дремли,
И вести шли.

Офелия.

Не сомневайся в этом.

Лаэрт.

А Гамлета ухаживанья — вздор.
Считай их блажью, шалостями крови,
Фиалкой, расцветшей в холода,
Нежданной, гиблой, сладкой, обреченной,
Благоуханьем мига, и того
Не более.

Офелия.

Не более?

Лаэрт.

Не боле.
Рост жизни не в одном развитьи мышц.
По мере роста храма, в середине
Растет служенье духа и ума.
Пусть любит он сейчас без задних мыслей,
Обманом чувств еще не запятнав.
Подумай, кто он, и проникнись страхом.

По званью он себе не голова,
Но сам в плену у своего рожденья.
Не вправе он, как всякий человек,
Располагать собою. От избранья
Зависит счастье целых областей.
Поэтому не он свершает выбор,
А члены тела, волею кого
Он голова. Пусть он твердит, что любит.
Твой долг не больше доверять словам,
Чем в силах он при этом положеньи
Их оправдать, а он их подтвердит,
Как общий голос Дании захочет.
Сообрази ж, как пострадает честь,
Когда ты примешь песнь его за правду,
И сдашься сердцем, и откроешь клад
Невинности горячим настояньям.
Страшись, сестра; Офелия, страшись,
Броди тылами в лагере влеченья,
Под стрелы страсти на́ смерть не ходи.
Для скромницы и то большая щедрость
Когда разоблачится пред луной.
Оклеветать легко и добродетель.
Червь бьет всего прожорливей ростки,
Когда на них еще не вскрылись почки,
И ранним утром жизни, по росе,
Особенно прилипчивы болезни.
Остерегайся ж: лучший сторож — страх,
Пока нам удаль в молодости враг.

Офелия.

Я смысл ученья твоего поставлю
Хранителем души. Но, милый брат,
Не поступай со мной, как тот лжепастырь,
Который кажет нам тернистый путь
На небеса, а сам, вразрез советам,
Повесничает на стезях греха
И в ус не дует.

Лаэрт.

За меня не бойся.
Но что ж я медлю? Вот и наш отец.
(Входит Полоний.)

Вдвойне благословиться дважды благо.
Опять проститься новый случай нам.

Полоний.

Все тут, Лаэрт? В путь, в путь, стыдился б, право!
Уж ветер выгнул плечи парусов,
А сам ты где? Стань под благословенье
И заруби-ка вот что на носу.
Заветным мыслям не давай огласки,
Несообразным — ходу не давай.

Будь прост с людьми, но не за панибрата.
Проверенных и лучших из друзей
Приковывай стальными обручами,
Но до мозолей рук не натирай
Пожатьями со встречными. Старайся
Беречься свалок, но уж раз втравясь,
Сшибайся так, чтоб береглись другие.
Всех слушай, но беседуй редко с кем.
Терпи их суд и прячь свои сужденья.
Рядись, во что позволит кошелек,
Но не франти,— богато, но без вычур.
По платью познается человек,
Во Франции ж на этот счет средь знати
В особенности искушенный глаз.
Не занимай и не ссужай. По ссудам
Лишаемся мы денег и друзей,
А займы притупляют нюх в хозяйстве.
Всего превыше: верен будь себе,
И, как проистекает день из ночи,
Не будешь вероломным и с другим.
Прощай, запомни все и двигай с богом.

Лаэрт.

Покорнейше откланяться осмелюсь.

Полоний.

Давно уж время. Слуги заждались.

Лаэрт.

Прощай, Офелия, и твердо помни,
О чем шла речь.

Офелия.

Замкну в душе, а ключ
Возьми с собой.

Лаэрт.

Счастливо оставаться.
(Уходит.)

Полоний.

О чем шла речь, Офелия, у вас?

Офелия.

Предмет — принц Гамлет, если вам угодно.

Полоний.

Ах, вот как? Превосходно. Я слыхал,
Он очень зачастил к тебе недавно,
А также избалован, говорят,
Твоим вниманьем? Если это правда,—
А так передавали мне как раз
Остерегая, — должен я признаться,
Не так ты рассуждаешь о себе,
Как спросится с твоей дочерней чести.
Что между вами? Режь на прямоту.

Офелия.

Со мной не раз он в нежности пускался
В залог сердечной дружбы.

Полоний.

Каково!
В залог сердечной дружбы! Что ты смыслишь
В таких вещах? А как ты отнеслась
К его, как ты их назвала,— залогам?

Офелия.

Не знаю я, что думать мне о них.

Полоний.

Так вот я научу: во-первых, думай,
Что ты — дитя, приняв их к платежу,
И требуй впредь залогов подороже.
А то смотри, игрою тех же слов
Оставлю я свой разум под залогом.

Офелия.

Отец, он предлагал свою любовь
С учтивостью.

Полоний.

С учтивостью! Подумай!

Офелия.

И в подтвержденье слов своих всегда
Мне клялся чуть ли не святыми всеми.

Полоний.

Силки для птиц! Иль я забыл, когда
Пылает кровь, как щедр язык на клятвы!
Нет, эти вспышки не дают тепла,
Слепят на миг и гаснут в обещаньи.
Не принимай их, дочка, за огонь.
Будь поскупей на будущее время.
Пускай твоей беседой дорожат
Повыше, чем радушьем по приказу.
А Гамлету верь только в том одном,
Что молод он, и по ногам опутан
Вольней, чем ты; точней — совсем не верь.
А клятвам и подавно. Клятвы — сводни.
Не то они, чем кажутся извне.
Они, как маклаки по ложным искам,
Нарочно дышат кротостью святош,
Чтоб обойти тем легче. Повторяю,
Я не хочу, чтоб впредь на твой досуг
Бросали тень хотя бы на минуту
Беседы с принцем Гамлетом. Ступай.
Смотри не забывай.

Офелия.

Я повинуюсь.

(Уходит.)

СЦЕНА IV

Там же. Площадка перед замком. Входят Гамлет, Горацио и Марцелл.

Гамлет.

А на ветру как щипет! Ну и холод!

Горацио.

Пронизывает. Форменный мороз.

Гамлет.

Который час?

Горацио.

Без малого двенадцать.

Марцелл.

Нет. С лишним. Било.

Горацио.

Било? Не слыхал.
Тогда, пожалуй, наступает время,
В которое всегда являлась тень.
(Трубы и пушечные выстрелы за сценой.)
Что это значит, принц?

Гамлет.

Король не спит и пляшет до упаду,
И пьет и бражничает до утра,
И чуть осилит новый кубок с рейнским,
Оповещает гром литавр и труб
Про этот подвиг.

Горацио.

Это что ж,— обычай?

Гамлет.

Да, как сказать,— увы.
Хотя я здешний и давно привык,
Обычай боле лестный в нарушеньи,
Чем в соблюденьи. Эти кутежи,
Расславленные на восток и запад,
Покрыли нас стыдом в чужих краях.
Там наша кличка пьяницы и свиньи.
И это отнимает, не шутя,
Какую-то решающую частность
У наших дел, достоинств и заслуг.
Бывает и с отдельным человеком,
Что, например, родимое пятно,
В котором он невинен, ибо, верно,
Родителей себе не выбирал,
Иль смуглый цвет, который разбивает
Все крепости рассудка, или штрих
В манерах, оскорбляющий привычки,—
Бывает, словом, что пустой изъян,

В роду ли, свой ли, губит человека
Во мненьи всех, будь доблести его,
Как милость божья, чисты и несметны.
А все от этой плевой капли зла
И сразу все добро идет на смарку.
Досадно ведь.

Горацио.

Смотрите, принц, вот он.
(Входит Призрак.)

Гамлет.

Святители небесные, спасите!
Благой ли дух ты или ангел зла,
Дыханье рая, ада ль дуновенье,
К вреду иль к пользе помыслы твои —
Твой вид настолько подлежит дознанью,
Что я заговорю с тобой, и вот
Как закляну тебя: отец мой, Гамлет,
Король, властитель датский, отвечай!
Не дай пропасть в неведеньи. Скажи мне
Зачем на преданных земле костях
Разорван саван? Отчего гробница,
Где мы в покое видели твой прах,
Разжала с силой челюсти из камня,
Чтоб выплюнуть тебя? Чем объяснить,
Что мертвый труп, в стальном вооруженьи,
Ты движешься, обезобразив ночь.
В лучах луны, и нам, глупцам созданья,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками не нашего охвата?
Скажи, зачем? К чему? Что делать нам?
(Призрак манит Гамлета.)

Горацио.

Он подал знак, чтоб вы с ним удалились,
Как будто хочет что-то сообщить
Вам одному.

Марцелл.

Смотрите, как любезно
Он вас зовет подальше в глубину.
Но не ходите.

Горацио.

Ни за что на свете.

Гамлет.

А здесь он не ответит. Я пойду.

Горацио.

Не надо, принц.

Гамлет.

Ну вот! Чего бояться?
Я жизнь свою в булавку не ценю.

Душа ж моя, — что́ он ей может сделать,
Когда она бессмертна, как и он?
Он снова мне кивает. Отправляюсь.

Горацио.

А если он заманит вас к воде
Или на выступ страшного утеса,
Нависшего над морем, и на нем
Во что-нибудь такое обернется,
Что вас лишит рассудка и столкнет
В безумие? Подумайте об этом.
На той скале и без иных причин
Шалеет всякий, кто увидит море
Под крутизну во столько саженей,
Ревущее внизу.

Гамлет.

Опять кивает.
Ступай! Иду!

Марцелл.

Не пустим.

Гамлет.

Руки прочь!

Горацио.

Опомнитесь. Не надо.

Гамлет.

Это — голос
Моей судьбы, и тела каждый нерв,
Как жилы льва Немейского, натянут.
(Призрак манит.)
Все манит он. Дорогу, господа!
(Вырывается от них.)
Я в духов превращу вас, только троньте!
Прочь, — сказано! Иди. Я за тобой.
(Призрак и Гамлет уходят.)

Горацио.

Он позабылся от воображенья.

Марцелл.

Пойдем за ним. Так оставлять нельзя.

Горацио.

Пойдемте позади. К чему все это?

Марцелл.

Какая-то в державе датской гниль.

Горацио.

Наставь на путь нас, господи.

Марцелл.

Идемте.
(Уходят).

СЦЕНА V

Там же. Более отдаленная часть площадки. Входят Призрак и Гамлет.

Гамлет.

Куда ведешь? Я дальше не пойду.

Призрак.

Следи за мной.

Гамлет.

Слежу.

Призрак.

Настал тот час,
Когда я должен пламени и сере
Предать себя на муку.

Гамлет.

Бедный дух!

Призрак.

Не сожалей, но прилепись всем слухом
К моим словам.

Гамлет.

Внимать тебе мой долг.

Призрак.

И отомстить, когда ты все услышишь.

Гамлет.

Что?

Призрак.

Я дух родного твоего отца,
На некий срок скитаться осужденный
Ночной порой, а днем гореть в огне,
Пока мои земные окаянства
Не выгорят до тла. Мне не дано
Касаться тайн моей тюрьмы. Иначе б
От слов легчайших повести моей
Зашлась душа твоя и кровь застыла,
Глаза, как звезды, вышли из орбит
И кудри отделились друг от друга,
Поднявши дыбом каждый волосок,
Как иглы на взбешенном дикобразе.
Но вечность — звук не для земных ушей.
О слушай, слушай, слушай! Если только
Ты впрямь любил когда-нибудь отца...

Гамлет.

О боже мой!

Призрак.

Отмсти за подлое его убийство.

Гамлет.

Убийство?

Призрак.

Да, убийство. Подлость — все,
А это всех подлей бесчеловечьем.

Гамлет.

Рассказывай, чтоб я на крыльях мог
Со скоростью мечты и страстной мысли
Пуститься к мести.

Призрак.

Вижу, ты готов.
И кто б ты был? — Болотной сонной ряской
В стоячих водах Леты, если б тут
Не всколыхнулся. Значит, слушай, Гамлет.
Объявлено, что спящего, в саду
Меня змея ужалила. Датчане
Подложной басней введены в обман.
Ты должен знать, мой мальчик благородный,
Змея — убийца твоего отца —
В его короне.

Гамлет.

О мои прозренья!
Мой дядя?

Призрак.

Да.
Кровосмеситель и прелюбодей,
Разводами ума и даром лести
(Будь проклят ум и дар, когда от них
Такой соблазн!) увлекший королеву
К постыдному сожительству с собой.
Какое здесь паденье было, Гамлет!
От возвышающей моей любви,
Все годы шедшей об руку с обетом,
Ей данным при венчаньи, — к существу,
Чьи качества природные ничтожны
Перед моими!
Но как не поскользнется добродетель,
Каких бы чар ни напускал разврат,
Так похоть даже в ангельских объятьях
Пресытится блаженством и начнет
Жрать падаль.
Но тише! Ветром утренним пахнуло.
Потороплюсь. Когда я спал в саду
По старой пополуденной привычке,
В мой уголок прокрался дядя твой
С проклятым соком белены во фляге
И влил в притвор моих ушей настой,
Чье действие в таком раздоре с кровью,
Что мигом обегает, словно ртуть,
Все выходы и разветвленья тела,
Створаживая кровь, как молоко,

С которым каплю уксуса смешали.
Так было и с моей. Сплошной лишай
Покрыл мгновенно пакостной и гнойной
Коростою, как Лазарю, кругом
Всю кожу мне.
Так был рукою брата я во сне
Лишен короны, жизни, королевы;
Так был подрезан в цвете грешных дней,
Не причащен и миром не помазан;
Так сплавлен второпях на страшный суд
Со всеми преступленьями на шее.
О ужас, ужас, ужас! Если ты
Не обделен природой, не потворствуй.
Не дай постели датских королей
Служить кровосмешенью и распутству.
Однако, как бы ни сложилась месть,
Не оскверняй души, и умышленьем
Не посягай на мать. На то ей бог
И совести глубокие уколы.
Теперь прощай. Пора. Смотри, светляк,
Встречая утро, убавляет пламя.
Прощай, прощай, и помни обо мне.

(Уходит.)

Гамлет.

О небо! О земля! Кого в придачу?
Быть может ад? Стой, сердце! Сердце, стой.
Не старьтесь подо мной и вы, поджилки.
Струной прямитесь! Помнить о тебе?
Да, бедный дух, пока есть память в шаре
Разбитом этом. Помнить о тебе?
Я с памятной доски сотру все знаки
Чувствительности, все слова из книг,
Все образы, всех былей отпечатки,
Что с детства наблюденье занесло,
И лишь твоим единственным веленьем
Весь том и книгу мозга испишу
Без низкой смеси. Да, как перед богом!
О женщина злодейка! О подлец!
О низость, низость с низкою улыбкой!
Где грифель мой, я это запишу,
Что можно улыбаться, улыбаться
И быть мерзавцем. Если не везде,
То, достоверно, в Дании.

(Пишет.)

Готово, дядя. А теперь, девиз мой:
«Прощай, прощай, и помни обо мне».
Я в том клянусь.

Горацио и Марцелл.

(За сценой.)

Принц! Принц!

Марцелл.
(За сценой.)
Принц Гамлет!

Горацио.
(За сценой.)
Небо!

Гамлет.
Да будет так!

Горацио.
(За сценой.)
Ого-го-го, милорд!

Гамлет.
Ого-го-го, сюда, моя охота!

(Входят Горацио и Марцелл.)

Марцелл.
Ну как, милорд?

Горацио.
Что нового, милорд?

Гамлет.
О, чудеса!

Горацио.
А именно?

Гамлет.
Проврётесь.

Горацио.
Нет, никогда, милорд.

Марцелл.
И я, милорд.

Гамлет.
Ну, хорошо. Итак, кто б мог подумать...
Но это между нами?

Горацио и Марцелл.
Видит бог.

Гамлет.
Нет в Дании такого негодяя,
Который дрянью не был бы притом.

Горацио.
Нет надобности в духах из могилы
Для истин вроде этой.

Гамлет.
Спору нет.
Итак, без околичностей, давайте,
Пожмем друг другу руки и пойдем.
Вы — по своим делам или желаньям, —
У всех свои желанья и дела, —

Я — по своим; точней, — бедняк отпетый,
Пойду молиться.

Горацио.

Это только вихрь
Бессвязных слов, милорд.

Гамлет.

Я сожалею,
Что вы в обиде.

Горацио.

Здесь обиды нет.

Гамлет.

Нет, есть, Горацьо, есть, клянусь Патриком.
Немалая! О призраке ж скажу,
Что это дух, достойный уваженья.
А страсть узнать всю правду как-нибудь
Уж пересильте. А теперь, коллеги,
Товарищи по школе и мечу, —
Большая просьба.

Горацио.

С радостью исполним.

Гамлет.

О происшедшем чур не говорить.

Горацио и Марцелл.

Не скажем, принц.

Гамлет.

Клянитесь в этом.

Горацио.

Честью
Клянусь, не скажем.

Марцелл.

Честию клянусь.

Гамлет.

Вот меч, — клянитесь.

Марцелл.

Мы уж дали клятву.

Гамлет.

Нет, поклянитесь на моем мече.

Призрак.

(Из-под сцены)

Клянитесь!

Гамлет.

Ага, старик, и ты того же мненья?
Слыхали этот бас из погребка?
Извольте ж клясться.

Горацио.

Назовите клятву.

Гамлет.

Клянитесь никогда не говорить
О виденном. Ладонь на меч!

Призрак.
(Из-под сцены.)

Клянитесь!

Гамлет.

Hic et ubique? Перейдем сюда,
И вновь на рукоятку ваши руки.
Клянитесь никогда не говорить
О слышанном. Ладонь на меч!

Призрак.
(Из-под сцены.)

Клянитесь!

Гамлет.

Ты, старый крот? Как скор ты под землей!
Горняк наславу! Переменим место.

Горацио.

О день и ночь! Вот это чудеса!

Гамлет.

Как чужаков вы их и приютите.
Горацьо в мире много кой-чего,
Что вашей философии не снилось.
Но к делу. Вновь клянитесь, если вам
Спасенье мило, как бы непонятно
Я дальше не повел себя, кого
Собой не счел необходимым корчить,
Вы никогда при виде этих штук
Вот эдак рук не скрéстите, вот эдак
Не покачнете головой, вот так
Не станете цедить с мудреным видом:
«Кто-кто, а мы...» «Могли б, да не хотим».
«Приди охота...» «Мы бы рассказали».
Того не делать и не намекать,
Что обо мне разведали вы что-то,
Вот в чем клянитесь, и да будет бог
На помощь вам.

Призрак.
(Из-под сцены.)

Клянитесь!

Гамлет.

Успокойся,
Мятежный дух! А дальше, господа,
Себя с любовью вам препоручаю,
Все, что бедняк, как Гамлет, мог бы дать

В знак дружбы и любви, он наверстает
Поздней, бог даст. Пойдемте вместе все.
И пальцы на губах, — напоминаю.
Век вывихнул сустав. Будь проклят год,
Когда пришел я вправить вывих тот.
Пойдемте вместе.

(Уходят.)

АКТ II

СЦЕНА I

Эльсинор. Комната в доме Полония. Входят Полоний и Рейнальдо.

Полоний.

Вот деньги и письмо к нему, Рейнальдо.

Рейнальдо.

Вручу, милорд.

Полоний.

Да было б хорошо
До вашего свидания, голубчик,
Разнюхать там, как он себя ведет.

Рейнальдо.

Я это сам хотел, милорд.

Полоний.

Похвально.
Весьма похвально. Видите, дружок,
Сперва спросите про датчан в Париже,
Со средствами ль, кто родом, где стоят
И в дружбе с кем, и если б вдруг открылось,
Что сына знают, от обиняков
Переходите прямо в наступленье,
Не подавая вида. Например,
Скажите тоном дальнего знакомства:
«Я знал его друзей, встречал отца,
Знаком отчасти и с самим». Понятно?

Рейнальдо.

Вполне, милорд.

Полоний.

«Отчасти и с самим.
Хотя», спешите вставить, «очень мало.
Но если это тот же шелопай,
То так и так», и врите, как на мертвых,
Про что угодно, кроме сумасбродств,
Вредящих чести. Это бог избави.
Про все же разновидности проказ,
Сопутствующих росту и свободе, —
Пожалуйста.

Рейнальдо.

К примеру, про игру?

Полоний.

Пожалуйста. Про пьянство, драки, ругань,
Хожденье к девкам, даже и про то.

Рейнальдо.

Милорд, не повредило б это чести.

Полоний.

Зачем, все дело соус, как подать.
Не оговаривайте в недержаньи,
Что было б грубой крайностью. Зачем?
Наоборот, вы так представьте дело,
Чтоб заиграли с выгодой грехи
Огнями воли, заревами духа
И дикостями страстного ума,
Простительными всем.

Рейнальдо.

Но я осмелюсь...

Полоний.

Спросить, к чему все это?

Рейнальдо.

Да, милорд.
К чему все это?

Полоний.

Вот мои расчеты.
Такие речи бьют наверняка.
Когда вы вскользь запачкаете сына,
Как за работой мажут рукава,
Ваш собеседник тотчас согласится,
И если тоже замечал за ним
Подобные проделки, непременно
Прервет вас, скажем, на такой манер.
«Сэр», скажет он, иль «друг мой», или «сударь»,
Смотря по званью, и откуда сам,
И как воспитан.

Рейнальдо.

Совершенно верно.

Полоний.

И вот тогда, тогда-то вот, тогда, —
Что это я хотел сказать? Клянусь причастием, я что-то хотел сказать. На чем я остановился?

Рейнальдо.

На «он прервет вас, скажем...»

Полоний.

Да, прервет.
Ага, прервет, прервет. «Да! — скажет он, —

Я знаю молодого человека.
Он был вчера или позавчера
С таким то и таким-то там и там-то.
Играли в мяч, он был порядком пьян
И кончил дракой». Или: «Я свидетель,
Как ходит он в один торговый дом,
Точней сказать, публичный, и так дале.
Ну, поняли? Насаживайте ложь
И на живца ловите карпа правды.
Так все мы, люди дального ума,
Петлистыми крюками и обходом
С кривых путей выходим на прямой.
Рекомендую с сыном тот же способ.
Ну, поняли? Понятно?

Рейнальдо.

Да, милорд.

Полоний.

Желаю здравствовать.

Рейнальдо.

Милорд мой добрый!

Полоний.

Надзор за ним возьмите на себя.

Рейнальдо.

Возьму, милорд.

Полоний.

А впрочем, вольным воля,
Спасенным рай.

Рейнальдо

Так точно.

Полоний.

Добрый путь.

(Рейнальдо уходит.)

(Входит Офелия.)

Офелия! Что скажешь?

Офелия.

Боже правый!
В каком я перепуге!

Полоний.

Отчего?
Господь с тобой!

Офелия.

Я шила, входит Гамлет,
Без шляпы, безрукавка пополам,
Чулки до пяток, в пятнах, без подвязок,
Бледней рубашки, ноги — дробный стук
Коленкою в коленку, выраженье —

Как будто был в аду и пущен вон
Порассказать об ужасах геенны.

Полоний.

С любви ополоумел?

Офелия.

Не скажу,
Но опасаюсь.

Полоний.

Что же говорит он?

Офелия.

Он сжал мне кисть и отступил на шаг,
Руки не разнимая, а другую
Поднес к глазам, и стал из под нее
Рассматривать меня, как рисовальщик.
Он долго изучал меня в упор,
Тряхнул рукою, трижды поклонился
И испустил такой глубокий вздох,
Как будто этим вздохом разрушалось
Его существованье, вслед за чем
Разжал ладонь, освободил мне руку
И удалился, глядя чрез плечо.
Он шел и находил без глаз дорогу
И тем же чудом, пятясь, вышел в дверь,
Глаза все время на меня уставя.

Полоний.

Пойдем со мной, отыщем короля.
Здесь явный взрыв любовного безумья,
В неистовствах которого подчас
Доходят до отчаянных решений.
Но таковы все страсти под луной,
Играющие нами. Очень жалко.
Ты не была с ним эти дни резка?

Офелия.

Нет, кажется, но помня наставленье,
Не принимала больше ни его,
Ни писем от него.

Полоний.

Вот он и спятил!
Жаль, что судил о нем я сгоряча
И так легко. Я думал, это модник
Тебе на гибель, и перемудрил.
Но видит бог, излишняя забота
Такое же проклятье стариков,
Как беззаботность — горе молодежи.
Идем и все расскажем королю.
Спасая близких, действуй без опаски:
Таить любовь опаснее огласки.
Идем.

СЦЕНА II

Там же. Комната в замке. Входят король, королева, Розенкранц, Гильденстерн и свита.

Король.

Помимо жажды видеть вас пред нами,
Заставила вас вызвать и нужда.
До вас дошла уже наверно новость
О превращеньи Гамлета. Нельзя
Сказать иначе, так неузнаваем
Он внутренне и внешне. Не пойму,
Какая сила сверх отцовой смерти
Произвела такой переворот
В его душе. Я вас прошу обоих
Как сверстников его, со школьных лет
Узнавших коротко его характер,
Пожертвовать досугом и провесть
Его у нас. Втяните принца силой
В рассеянье, и в обществе с собой,
Где только будет случай, допытайтесь,
Какая тайна мучает его
И нет ли от нее у нас лекарства.

Королева.

Он часто вспоминал вас, господа.
Я больше никого не знаю в свете,
Кому б он был так предан. Если вам
Не жалко будет выказать любезность
И ваше время можно посвятить
Надежде нашей и ее поддержке,
Приезд ваш будет нами награжден
По-королевски.

Розенкранц.

У величеств ваших
Вполне довольно августейших прав,
Чтоб волю изъявлять не в виде просьбы,
А в повеленьи.

Гильденстерн.

Тем не мене мы,
Горя повиновеньем, повергаем
Свою готовность к царственным стопам
И ждем распоряжений.

Король.

Спасибо, Розенкранц и Гильденстерн.

Королева.

Спасибо, Гильденстерн и Розенкранц.
Пожалуйста, пройдите тотчас к сыну.
Он так переменился! Господа,
Пусть кто-нибудь их к Гамлету проводит.

Гильденстерн.

Дай бог, чтоб наше общество пошло
Ему на прок и радость.

Королева.

Бог на помощь.

(Розенкранц, Гильденстерн и некоторые из свиты уходят.)
(Входит Полоний.)

Полоний.

Послы благополучно, государь,
Вернулись из Норвегии.

Король.

Ты был всегда отцом благих вестей.

Полоний.

Был, государь, не правда ли? И буду.
Я долг привык блюсти пред королем,
Как соблюдаю душу перед богом.
И знаете, что я вам доложу?
Что либо этот мозг уж не годится
В охотничьи ищейки, либо я
Напал на корень Гамлетовых бредней.

Король.

О, не тяни. Не терпится узнать.

Полоний.

Сперва аудиенцию посольству,
А мой секрет на сладкое к нему.

Король.

Так сделай милость, выйди к ним навстречу.
(Полоний уходит.)
Он говорит, Гертруда, что нашел,
На чем ваш сын несчастный помешался.

Королева.

Причина, к сожалению, одна:
Отцова смерть и спешность нашей свадьбы.

Король.

Увидим сами.
(Возвращается Полоний с Вольтимандом и Корнелием.)
Здравствуйте, друзья!
Что, Вольтиманд, наш брат король норвежский?

Вольтиманд.

Благодарит и сам желает благ.
Набор охотников приостановлен.
Он до сих пор казался королю
Военной подготовкой против Польши,
Но прикрывал, как понял он, удар
По вашему величеству. Увидя,
Что век его и слабость и болезнь

Обмануты племянником, он вызвал
Его приказом. Фортинбрас пришел,
От дяди получил головомойку
И дал, раскаясь, клятву никогда
На вас, милорд, не подымать оружья.
На радостях растроганный старик
Дает ему три тысячи годичных
И право двинуть набранных солдат
В поход на Польшу. В приложеньи — просьба,
(Подает бумагу.)
Чтоб вы благоволили дать войскам
Свободный пропуск чрез свои владенья
Под верное ручательство, статьи
Отдельные которого особо
Изложены в листе.

Король.

Быть по сему.
Вчитаемся подробней на досуге
И, обсудив, придумаем ответ.
А между тем благодарим за рвенье.
Передохните. Вечером — на пир.
До скорой встречи.
(Вольтиманд и Корнелий уходят.)

Полоний.

Это дело в шляпе.
Вдаваться, государи, в спор о том,
Что значит царь и слуги, и что время
Есть время, день есть день и ночь есть ночь,
Есть трата времени и дня и ночи.
Итак, раз краткость есть душа ума,
А многословье — тело и прикрасы,
То буду сжат. Ваш сын сошел с ума.
С ума, сказал я, ибо сумасшедший
И есть лицо, сошедшее с ума.
Но пó боку.

Королева.

Дельней, да безыскусней.

Полоний.

Здесь нет искусства, госпожа моя.
Что он помешан, — факт. И факт, что — жалко.
И жаль, что — факт. Дурацкий оборот.
Но все равно. Я буду безыскусен.
Допустим, он помешан. Надлежит
Найти причину этого эффекта,
Или дефекта, ибо сам эффект
Благодаря причине дефективен.
А то что надо, в том и есть нужда.
Что ж вытекает?
Я дочь имею, — ибо дочь — моя.

Вот что дала мне дочь из послушанья.
Судите и вникайте, я прочту.
(Читает.)

«Небесной, идолу души моей, ненаглядной Офелии», — это плохое выраженье, избитое выраженье: — «ненаглядной» — избитое выраженье. Но слушайте дальше. Вот:

(Читает.)

«На ее дивную белую грудь эти...» и тому подобное...

Королева.

Ей это Гамлет пишет?

Полоний.

Миг терпенья.
Я по порядку, госпожа моя.
(Читает.)

«Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что правда где то,
Но верь любви моей.

О дорогая Офелия, не в ладах я со стихосложением. Вздыхать по мерке не моя слабость. Но что я крепко люблю тебя, о моя хорошая, верь мне. Прощай. Твой навеки, драгоценнейшая, пока эта машина принадлежит ему, Гамлет».

Вот что мне дочь дала из послушанья,
А также показала на словах,
Когда по времени и где по месту
Любезничал он с ней.

Король.

Как приняла
Она его любовь?

Полоний.

Какого мненья
Вы обо мне?

Король.

Вы чести образец
И преданности.

Полоний.

Рад бы оказаться.
Какого ж мненья были б вы, когда,
Застигнув эту страсть в ее зачатке,
А я ее, признаться, разглядел
До дочери, — какого мненья были б
Вы, государыня, вы, государь,
Когда б я терпеливее бумаги
Сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть
И сделал сердцу знак молчать. Какого
Вы были б мненья? Нет, я напрямик
Немедленно сказал своей девице:
«Лорд Гамлет — принц, он — не твоей звезды

Тому не быть», и сделал ей внушенье
Замкнуться от его похвал на ключ,
Гнать посланных и возвращать подарки.
Она меня послушалась, и что ж:
Отвергнутый, чтоб выразиться вкратце,
Он впал в тоску, утратил аппетит,
Утратил сон, затем утратил силы,
А там из легкого расстройства впал
В тяжелое, в котором и бушует
На горе всем.

Король.

Вы тех же мыслей?

Королева.

Да.

Правдоподобно.

Полоний.

Назовите случай
Когда бы утверждал я: «это так»
А было б по-иному.

Король.

Не припомню.

Полоний.

(Показывая на свою голову и плечи.)

Я это дам от этого отсечь,
Что прав и нынче. С нитью путеводной
Я под землей до правды доберусь.

Король.

Как это нам проверить?

Полоний.

Очень просто.
Он бродит тут часами напролет
По галерее.

Королева.

Совершенно верно.

Полоний.

Я дочь ему подкину в этот час,
А мы вдвоем за занавеску станем.
Увидите их встречу. Если он
Не любит дочь и не с любви рехнулся,
Я больше не сановник, а держу
Заезжий двор.

Король.

Ну что ж, понаблюдаем.

Королева.

А вот бедняжка с книжкою и сам.

Полоний.

Уйдите оба, оба уходите.

Я подойду к нему. Прошу простить.

(Король, королева и свита уходят.)

(Входит Гамлет, читая.)

Как поживает господин мой Гамлет?

Гамлет.

Хорошо, славу богу.

Полоний.

Вы меня знаете, милорд?

Гамлет.

Отлично. Вы рыбный торговец.

Полоний.

Нет, что вы, милорд.

Гамлет.

Тогда не мешало б вам быть таким же честным.

Полоний.

Честным, милорд?

Гамлет.

Да, сэр. Быть честным, по ходу вещей, значит быть единственным из десяти тысяч.

Полоний.

Это совершенная истина, милорд.

Гамлет.

Уж если и солнце приживает червей с собачиной, была бы падаль для лобзаний... Есть у вас дочь?

Полоний.

Есть, милорд.

Гамлет.

Не пускайте ее на солнце. Зачать — благодатно, но не для вашей дочери. Не зевайте, приятель.

Полоний.

(В сторону.)

Ну что вы скажете? Нет-нет да и свернет на дочку. А вперед не узнал. Рыбный, говорит, торговец. Далеко зашел, далеко. В сущности говоря, в молодости и я ох как натерпелся от любви. Почти что в этом роде. Попробую опять. — Что читаете, милорд?

Гамлет.

Слова, слова, слова.

Полоний.

А в чем там дело, милорд?

Гамлет.

Между кем и кем?

Полоний.

Я хочу сказать, что написано в книге, милорд?

Гамлет.

Клевета. Каналья сатирик утверждает, что у стариков седые бороды,

лица в морщинах, из глаз густо сочится смола и сливовый клей и что их распирает от маломыслия, сопряженного со слабостью ляжек. Всему этому, сэр, я готов верить могущественно и непобедимо, но публиковать это считаю бесстыдством, ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели, подобно раку, будете пятиться обратно.

Полоний.

(В сторону.)

Если это и безумье, то по-своему последовательное. — Не уйти ли подальше с открытого воздуха, милорд?

Гамлет.

Куда, в могилу?

Полоний.

В самом деле, дальше нельзя.

(В сторону.)

Как проницательны подчас его ответы! Находчивость, которая часто сама валится на полоумных и не всегда жалует понятливых. Однако пойду поскорей придумаю, как бы ему встретиться с дочкой. — ДостоЧтимый принц, прошу разрешенья удалиться.

Гамлет.

Не мог бы вам дать ничего, сэр, с чем расстался бы охотней. Кроме моей жизни, кроме моей жизни, кроме моей жизни.

Полоний.

Желаю здравствовать, принц.

Гамлет.

О эти несносные старые дурни!

(Входят Розенкранц и Гильденстерн.)

Полоний.

Вам принца Гамлета? Вот он как раз.

Розенкранц.

(Полонию.)

Спасибо, сэр.

(Полоний уходит.)

Гильденстерн.

Почтенный принц!

Розенкранц.

Бесценный принц!

Гамлет.

Ба, милые друзья? Ты Гильденстерн?
Ты Розенкранц? Ну как дела, ребята?

Розенкранц.

Как у любого из сынов земли.

Гильденстерн.

По счастью наше счастье не чрезмерно.
Мы не верхи на колпаке Фортуны.

Гамлет.

Но также не низы ее подошв?

Розенкранц.

Ни то ни это, принц.

Гамлет.

Значит вы где-то на полдороге к талии, или в самой сердцевине ее милостей.

Гильденстерн.

Вот-вот. Там мы люди свои.

Гамлет.

В тайниках Фортуны? Охотно верю. Это баба бывалая. Однако что нового?

Розенкранц.

Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть.

Гамлет.

Значит скоро конец света. Впрочем, у вас ложные сведенья. Однако давайте поподробнее. Чем прогневили вы, дорогие мои, эту свою Фортуну, что она шлет вас сюда в тюрьму?

Гильденстерн.

В тюрьму, принц?

Гамлет.

Дания — тюрьма.

Розенкранц.

Тогда весь мир тюрьма.

Гамлет.

И притом — образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания — наихудшее.

Розенкранц.

Мы не согласны, принц.

Гамлет.

Значит для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают хорошими и дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма.

Розенкранц.

Значит тюрьмой делает ее ваша жажда славы. Вашим запросам тесно в ней.

Гамлет.

О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить себя повелителем бесконечности, только избавьте меня от дурных снов.

Гильденстерн.

А вот сны-то и есть мечты о славе. Так что и сущность честолюбца — это как бы тень, отбрасываемая сном.

Гамлет.

Сон сам по себе только тень.

Розенкранц.

Ваша правда. И, по-моему, желанье славы такого воздушного строенья, что всего лишь тень тени.

Гамлет.

Итак, одни ничтожества у нас истинные тела, а владетельные и великие особы — тени ничтожеств. Однако чем умствовать, не пойти ли лучше ко двору. Ей-богу, я едва соображаю.

Розенкранц и Гильденстерн.

Мы ваши верные слуги.

Гамлет.

О них ни слова. Я вас с ними не ставлю на одну доску. Говоря правду, штат у меня ужасный. Но, торною дорогой дружбы: зачем вы в Эльсиноре?

Розенкранц.

В гостях у вас, принц, больше ни зачем.

Гамлет.

При моей бедности, мала и моя благодарность. Но я благодарю вас. И однако: даже и этой благодарности на полпенса больше, чем надо. За вами не посылали? Это ваше собственное побужденье? Ваш приезд доброволен? А? Пожалуйста, по совести. А? А? Ну как?

Гильденстерн.

Что нам сказать, милорд?

Гамлет.

Ах, да что угодно, только не к делу. За вами послали. В ваших глазах есть род признанья, которое ваша сдержанность бессильна затушевать. Я знаю, добрый король и королева послали за вами.

Розенкранц.

С какою целью, принц?

Гамлет.

Это уж вам лучше знать. Но только заклинаю вас правами товарищества, былым единодушьем, обязательствами, налагаемыми нерушимой любовью и всем тем из заветнейшего, что мог бы привести кто-нибудь покрасноречивей,— без изворотов со мной: посылали за вами или нет?

Розенкранц.

(Гильденстерну.)

Что вы скажете?

Гамлет.

(В сторону.)

Ну вот, не в бровь, а в глаз. — Если любите меня, не отпирайтесь.

Гильденстерн.

Милорд, за нами послали.

Гамлет.

Хотите, скажу вам,— зачем. Таким образом моя догадка предупредит вашу болтливость, и ваша верность тайне короля и королевы не полиняет ни перышком. Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. С самочувствием моим так плохо, что

этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд просто-напросто скопленье вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям. В поступках как близок к ангелу! В воззреньях как близок к богу! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха? Мужчины не занимают меня, и женщины тоже, как ни оспаривают этого ваши улыбки.

Розенкранц.

Принц, ничего подобного не было у меня и в мыслях!

Гамлет.

Что же вы усмехнулись, когда я сказал, мужчины не занимают меня?

Розенкранц.

Я подумал, какой постный прием окажете вы в таком случае актерам. Мы их обогнали по дороге. Они направляются сюда предложить вам свои услуги.

Гамлет.

Играющему королей — низкий поклон. Я буду данником его величества. Странствующий рыцарь найдет дело для своего меча и щита. Вздохи любовника не пропадут даром. Комик кончит свою роль небитым. Над шутом будут надрывать животики все те, у кого они, как взведенные курки, только ждут щекотки. Пускай героиня выкладывает всю душу, не стесняясь стихосложеньем. Что это за актеры?

Розенкранц.

Те самые, которые вам так нравились, — столичные трагики.

Гамлет.

Что их толкнуло в разъезды? Постоянное пристанище было выгоднее в отношеньи денег и для славы.

Розенкранц.

Я думаю, их к этому принудили последние нововведенья.

Гамлет.

Ценят ли их так же, как когда я был в городе? Такие же ли у них сборы?

Розенкранц.

Нет, в том-то и дело, что нет.

Гамлет.

Отчего же. Разве они покрылись ржавчиной?

Розенкранц.

Нет, они подвизаются на своем поприще с прежним блеском. Но в городе объявился целый выводок детворы, едва из гнезда, которые берут самые верхние ноты и срывают нечеловеческие аплодисменты. Сейчас они в моде и подвергают таким нападкам обыкновенные театры, как они их называют, что люди со шпагами не решаются их посещать из страха гусиных перьев.

Гамлет.

Как, разве это дети? Кто их содержит? Как им платят? Что, это их призванье, пока у них не погрубеют голоса? А позже, когда они сами станут актерами обыкновенных театров, если у них не будет другого выхода, не пожалеют ли они, что старшие восстанавливали их против собственной будущности?

Розенкранц.

Сказать правду, много было шуму с обеих сторон, и народ не считает грехом стравливать их друг с другом. Одно время за пьесу ничего не давали, если автор и исполнители не доходили в ней до рукопашной.

Гамлет.

Неужели?

Гильденстерн.

О, голов при этом прошиблено немало.

Гамлет.

И мальчишки одолевают?

Розенкранц.

Да, принц. И Геркулеса с его ношей.

Гамлет.

Впрочем, это неудивительно. Например, сейчас дядя мой — датский король, и те самые, которые строили ему рожи при жизни моего отца, дают по двадцать, сорок, пятьдесят и по сто дукатов за его мелкие изображенья. Чорт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться.

(Трубы за сценой.)

Гильденстерн.

Вот и актеры.

Гамлет.

С приездом в Эльсинор вас, господа. Ваши руки, товарищи. В принадлежности радушья входят такт и светские условности. Обменяемся их знаками, чтобы любезности, которыми, предупреждаю, я осыплю актеров, не показались вам преувеличенными. Еще раз, с приездом. Но мой дядя-отец и тетка-матушка ошибаются.

Гильденстерн.

В каком отношении, милорд?

Гамлет.

Я помешан только в норд норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли.

(Входит Полоний.)

Полоний.

Здравствуйте, господа.

Гамлет.

Слушайте, Гильденстерн, и вы тоже — на каждое ухо по слушателю: старый младенец, которого вы видите, еще не вышел из пеленок.

Розенкранц.

Может быть, он попал в них вторично. Сказано ведь: старый, что малый.

Гамлет.

Для этого не надо быть пророком, но он с сообщеньем об актерах, вот увидите. — Совершенная правда, сэр. В понедельник утром, как вы сказали.

Полоний.

Милорд, у меня есть новости для вас.

Гамлет.

Милорд, у меня есть новости для вас. Когда Росций был в Риме актером...

Полоний.

Актеры приехали, милорд.

Гамлет.

Кудах-тах-тах, кудах тах-тах...

Полоний.

Ей-богу, милорд.

Гамлет.

Прикатили на ослах...

Полоний.

Лучшие в мире актеры на любой вкус, как то: для трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагикомико и историко-пасторальных, для сцен вне разряда и непредвиденных сочинений. Важность Сенеки, легкость Плавта для них не штука. В чтеньи наизусть и экспромтом это люди единственные.

Гамлет.

О Евфай, судья Израиля, какое у тебя было сокровище!

Полоний.

Какое же это сокровище было у него, милорд?

Гамлет.

А как же,

«Единственную дочь растил
И в ней души не чаял».

Полоний.

(В сторону.)

Все норовит о дочке.

Гамлет.

А? Не так что ли, старый Евфай?

Полоний.

Если Евфай — это я, то совершенно справедливо, у меня есть дочь, в которой я души не чаю.

Гамлет.

Нет, ничуть это не справедливо.

Полоний.

Что же тогда справедливо, милорд?

Гамлет.

А вот что:

«А вышло так, как бог судил,
И клад, как воск, растаял».

Продолженье, — виноват, — в первой строфе святочной песни, потому что, видите, в меня вносят сокращенье.

(Входят четверо или пятеро актеров.)

Здравствуйте, господа. Милости просим. Рад вам всем. Здравствуйте, мои хорошие. — Ба, старый друг! Эк какой бородой занавесился с тех пор, как не видались! Приехал, прикрывшись ею, посмеиваться надо мной в Дании? Вас ли я вижу, барышня моя? Царица небесная, вы на целый венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи. Будем надеяться, ваш голос не фальшивит, как золото, изъятое из обращенья.— Милости просим, господа. Давайте, как французские сокольничьи, набросимся на первое, что попало. Пожалуйста, какой нибудь монолог. Дайте нам образчик вашего искусства. Ну! Какой нибудь страстный монолог.

Первый актер.

Какой монолог, добрейший принц?

Гамлет.

Помнится, раз ты читал мне один отрывок, вещи никогда не ставили, или не больше разу, — пьеса не понравилась. Для большой публики это было, что называется, не в коня корм. Однако, как воспринял я и другие, еще лучшие судьи, это была великолепная пьеса, хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и уменьем. Помнится, возражали, что стихам недостает пряности, а язык не обнаруживает в авторе отбора, но находили работу добросовестной, с чертами здоровья и основательности, приятными без изощренья. Один монолог я в ней особенно любил, это где Эней рассказывает о себе Дидоне, и в особенности то место, где он говорит об убийстве Приама. Если он еще у вас в памяти, начните вот с какой строчки. Погодите, погодите.

«Свирепый Пирр, тот, что как зверь Гирканский...»

Нет, не так. Но начинается с Пирра.

«Свирепый Пирр, чьи черные доспехи
И мрак души напоминали ночь,
Когда лежал он, прячась в конском чреве,
Теперь закрасил черный цвет герба
Еще страшнейшим, став мясного цвета.
Теперь он с ног до головы в крови
Мужей и жен, и сыновей и дочек,
Запекшейся в жару горящих стен,
Которые изменнически светят
Врагам хозяев. В кровяной коре,
Дыша огнем и злобой, Пирр безбожный,
Карбункулами выкатив глаза,
Приама ищет».

Продолжайте сами.

Полоний.

Ей-богу хорошо, милорд, с хорошей дикцией и чувством меры.

Первый актер.

«Вдруг он видит старца.

Он грекам не угроза. Ветхий меч,
Дрожа в руках, летит сразмаха наземь.
Неравной силы, — подбегает Пирр,
С плеча замахиваясь на Приама,
Но патриарха уж и свист клинка
Сметает с ног. И тут, как бы от боли,
Стена дворца, пылая до венцов,
Сгибается, и грохотом обвала
Глушит убийцу. Меч над стариком,
Как замахнулись, так и застывает,
Как бы вонзившись в воздух налету.
С минуту, как убийца на картине,
Стоит, забывшись, без движенья Пирр,
Руки не опуская.
Но как бывает часто перед бурей,
Беззвучны выси, стали облака,
Нет ветра, и земля, как смерть, притихла,
Откуда ни возьмись внезапный гром
Раскалывает местность... Так, очнувшись,
Тем яростней возжаждал крови Пирр,
И вряд ли молот в кузнице Циклопов
За ковкой лат для Марса плющил сталь
Бесчувственней, чем Пирров меч кровавый
Пал на Приама.
Блудишь, Фортуна? Дайте ей отставку,
О боги, отымите колесо,
Разбейте обод, выломайте спицы,
И круглый вал скатите с облаков
В тартарары!»

Полоний.

Слишком длинно.

Гамлет.

Это пошлют в цирюльню вместе с вашей бородой. — Продолжай, прошу тебя. Для него существуют только балеты и сальные анекдоты, а от прочего он засыпает. Продолжай. Перейди к Гекубе.

Первый актер.

«Кто б увидал кудлатую царицу...»

Гамлет.

«Кудлатую царицу»?

Полоний.

Хорошо! «Кудлатую царицу» — хорошо!

Первый актер.

«Гася слезами пламя, босиком
Она металась, с тряпкой на затылке
Взамен венца и обмотавши стан,
Иссушенный родами, одеялом,
Случившимся в руках. Кто б увидал
Ее в тот миг, не удержавши яду,
Фортуну бы позором заклеймил.

А если б боги сами подсмотрели,
Как потешался над царицей Пирр,
Кромсая перед нею тело мужа,
То, если чувство им не чуждо, вопль,
Который вырвался у ней, слезами б
Наполнил жаркие глаза небес,
И взволновал бессмертных».

Полоний.

Смотрите, он изменился в лице и весь в слезах! Пожалуйста, довольно.

Гамлет.

Хорошо. Остальное доскажешь после. Почтеннейший, посмотрите, чтоб об актерах хорошо позаботились. Вы слышите, пообходительнее с ними, потому что они обзор и короткая повесть времени: лучше иметь вам скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни.

Полоний.

Принц, я обойдусь с ними по заслугам.

Гамлет.

Нет, лучше, чтоб вас чорт побрал, человече! Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки? Обойдитесь с ними в меру вашего собственного достоинства. Чем меньше у них заслуг, тем больше их будет у вашей щедрости. Проводите их.

Полоний.

Пойдемте, господа.

Гамлет.

Идите за ним, друзья. Завтра у нас представленье.

(Полоний и все актеры, кроме первого, уходят.)

Скажи, старый друг, можете вы сыграть «Убийство Гонзаго»?

Первый актер.

Да, милорд.

Гамлет.

Поставь это завтра вечером. Скажи, можно ли, в случае надобности, заучить кусок строк в двенадцать-шестнадцать, который бы я сочинил и вставил, — можно?

Первый актер.

Да, милорд.

Гамлет

Превосходно. Ступай за тем господином, да смотри, не передразнивайте его.

(Первый актер уходит.)

Простимся до вечера, друзья мои. Еще раз: вы — желанные гости в Эльсиноре.

Розенкранц.

Добрейший принц.

Гамлет.

Храни вас бог.

(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)

Один я. Наконец-то.
Какой же я холоп и негодяй!
Не страшно ль, что актер проезжий этот
В фантазии, для сочиненных чувств
Так подчинил мечте свое сознанье,
Что сходит кровь со щек его, глаза
Туманят слезы, цепенеет облик,
Слабеет голос и во всем — черты
Той выдумки. А для чего в итоге?
Из-за Гекубы!
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к страсти,
Как у меня? Он сцену б утопил
В слезах, и расшатал бы речью своды,
И свел бы виноватого с ума,
А правого потряс и сбил невежду,
И зренье бы и слух поверг во прах.
А я,
Тупой и жалкий выродок, слоняюсь
В сонливой лени и ни о себе
Не заикнусь, ни пальцем не ударю
Для короля, чью жизнь и власть смели
Так подло. Что ж я, трус? Кому угодно
Сказать мне дерзость? Съездить по башке?
Смять бороду и кончик бросить в морду?
Взять за нос? Обозвать меня лжецом
Заведомо безвинно? Кто охотник?
Смелее! В получеьи распишусь.
Не желчь в моей печенке голубиной.
Позор не злит меня, а то б давно
Я выкинул стервятникам на сало
Труп холуя. Блудливый шарлатан!
Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый!
О мщенье!
Ах, я осел! Но это ж — красота!
Я, сын отца убитого, на мщенье
Подвинутый из ада и с небес,
Как проститутка, трачусь в излияньях
И душу сквернословьем отвожу,
Как судомойка!
Тьфу, чорт! Проснись, мой мозг! Я где-то слышал,
Что люди с темным прошлым, находясь
На представленьи, сходном по завязке,
Ошеломлялись живостью игры
И сами сознавались в злодеяньях.
Убийство хоть и немо, выдает
Себя без слов. Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовой смерти. Послежу за дядей, —
Возьмет ли за живое. Если да,

Я знаю, как мне быть. Но может статься,
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих,
Здесь, в записях. Для этого со сцены
Я совесть короля на них поддену.

(Уходит.)

АКТ III

СЦЕНА I

Эльсинор. Комната в замке. Входят король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц и Гильденстерн.

Король.

Так значит вы не можете добиться,
Зачем он напускает эту дурь?
Чем взвинчен он, что, не боясь последствий,
В душевном буйстве тратит свой покой?

Розенкранц.

Он сам признал, что чувствует расстройство,
Но что виной, не хочет говорить.

Гильденстерн.

Выпытыванью он не поддается.
Едва заходит о здоровьи речь,
Он ускользает с хитростью безумца.

Королева.

А как он принял вас?

Розенкранц.

Как джентльмен.

Гильденстерн.

Но с некоторой долей принужденья.

Розенкранц.

Скупился на вопросы, но в ответ
Был разговорчив.

Королева.

Вы его не звали
Развлечься?

Розенкранц.

Как же. Все само сошлось.
Дорогою мы встретили актеров.
Узнав об этом, он был очень рад.
Во всяком случае актеры в замке
И получили, кажется, приказ
Играть сегодня.

Полоний.

Истинная правда.
Он просит августейшую чету
Пожаловать к спектаклю.

Король.

С наслажденьем.
Мне радостно узнать, что у него
Такие интересы. Джентльмены,
И дальше поощряйте эту страсть.
Пусть чаще веселится.

Розенкранц.

Непременно.

(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)

Король.

Моя Гертруда, удались и ты.
За Гамлетом подослано негласно.
Он здесь столкнется как бы невзначай
С Офелией. Шпионы поневоле,
Мы спрячемся вблизи с ее отцом,
И заключим из обстоятельств встречи,
Взаправду ли беда его в любви
Или не в ней.

Королева.

Сейчас. А вам желаю,
Офелия, чтоб ваша красота
Была единственной болезнью принца,
А ваша добродетель навела
Его на путь, к совместной вашей чести.

Офелия.

О, дал бы бог.

(Королева уходит.)

Полоний.

Офелия, сюда.
Прогуливайся. Государь, извольте
Всемилостиво скрыться. Дочь, возьми
Для вида книгу, чтенье оправдает
Укромность места. — Все мы хороши:
Святым лицом и внешним благочестьем
При случае и черта самого
Обсахарим.

Король.

(В сторону.)

О, это слишком верно.
Он этим, как ремнем, меня огрел.
Ведь щеки шлюхи, если снять румяна,
Не так ужасны, как мои дела
Под красными словами. О как тяжко!

Полоний.

Он близко. Отойдемте, государь.

(Король и Полоний уходят.)

(Входит Гамлет.)

Гамлет.

Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Души терпеть уколы и щелчки
Обидчицы судьбы, иль лучше встретить
С оружием море бед и положить
Конец волненьям? Умереть. Забыться.
И все. И знать, что этот сон — предел
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть. И видеть сны? Вот в чем секрет.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот объясненье. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Гонителя насилья, спесь глупца,
Любовь без разделенья, волокиту,
Ругателей приказных и пинки
Нестоящих, лягающих достойных,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала? Кто бы согласился
Кряхтя под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться.
Так всех нас в трусов превращает мысль.
Так блекнет цвет решимости природной
При тусклом свете бледного ума,
И замыслы с размахом и почином
На всем ходу сворачивают вбок,
Лишаясь званья действий.— Но гляди-ко:
Офелия — отрада! — Помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа.

Офелия.

Принц, были ль вы здоровы это время?

Гамлет.

Благодарю: вполне, вполне, вполне.

Офелия.

Принц, у меня от вас есть подношенья.
Я вам давно хотела их вернуть.
Вот, нате их.

Гамлет.

Да нет, с какой же стати?
Я в жизни ничего вам не дарил.

Офелия.

Дарили, принц, вы знаете прекрасно.
С придачею певучих нежных слов,
Их ценность умножавших. Так как запах
Их выдохся, возьмите их назад.
Порядочные девушки не ценят,
Когда им дарят, а потом изменят.
Пожалуйста.

Гамлет.

Ах, так вы порядочная девушка?

Офелия.

Милорд?

Гамлет.

И вы хороши собой?

Офелия.

Что разумеет ваша милость?

Гамлет.

То, что если вы порядочная и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотою.

Офелия.

Разве для красоты не лучшая спутница порядочность?

Гамлет.

О, конечно. И скорей красота стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил когда-то.

Офелия.

Действительно, принц, мне верилось.

Гамлет.

А не надо было верить. Сколько ни прививай добродетель к нашему грешному стволу, старины не выкурить. Я не любил вас.

Офелия.

Тем больней я обманулась.

Гамлет.

Ступай в обитель. К чему плодить грешников? Сам я — сносной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня. Я очень горд, мстителен, самолюбив. И в моем распоряженьи больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазия, чтоб облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить. Какого дьявола типы вроде меня толкутся меж небом и землею? Все мы кругом обманщики. Не верь никому из нас. Ступай добром в обитель. Где твой отец?

Офелия.

Дома, милорд.

Гамлет.

Надо запирать за ним покрепче, чтобы он разыгрывал дурака только с домашними. Иди с миром.

Офелия.
(В сторону.)

Святые силы, помогите ему.

Гамлет.

Если пойдешь замуж, вот проклятье тебе в приданое. Будь непорочна, как лед, и чиста, как снег, не уйти тебе от напраслины. Затворись в обители, говорят тебе. Иди с миром. А если тебе непременно надо мужа, выходи за глупого. Слишком уж знают умные, каких чудищ вы из них делаете. В обитель, говорят тебе. И не откладывай. Иди с миром.

Офелия.
(В сторону.)

Силы небесные, исцелите его.

Гамлет.

Наслышался и про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, а вы себе — другое. Иная и хвостом, и ножкой, и языком, и всякую божью тварь обзовет по-своему, но во что ни пустится, все это одна святая невинность. Нет, шалишь. Довольно. На этом я спятил. Никаких свадеб. Кто уже женаты, дай им бог здоровья, кроме одного. Остальные пусть обходятся попрежнему. Ступай в обитель.

(Уходит.)

Офелия.

Какой большой характер сокрушен!
Меч витязя, замашки дипломата,
Слог мудреца, наш праздник, цвет надежд,
Законодатель вкусов и приличий,
Их зеркало... все вдребезги. Все, все...
А я? Кто я, беднейшая из женщин,
С недавним медом клятв его в душе,
Теперь, когда могучий этот разум,
Как колокол надбитый, дребезжит,
А юношеский облик бесподобный
Изборожден безумьем. Каково
Видать, что вижу, помнить, что — мертво.

(Король и Полоний возвращаются.)

Король.

Любовь? Он поглощен совсем не ею.
К тому ж хоть связи нет в его словах,
В них нет безумья. Он не то лелеет
По темным уголкам своей тоски,
Высиживая что-то поопасней.
Чтоб во-время беду предотвратить,
Пришел я к следующему решенью:
Он в Англию немедля отплывет
За выправкой невыплаченной дани.
Быть может, море, новые края

И люди выбьют у него из сердца
То, что сидит там и над чем он сам
Ломает голову до отупенья.
Что думаете вы на этот счет?

Полоний.

Что ж, это мысль. А думать продолжаю,
Что главный двигатель его хандры —
Несчастная любовь. — Ну что, дочурка?
Не повторяй, что Гамлет говорил.
Слыхали сами. — Что же, ваша воля.
На вашем месте, досмотрев спектакль,
Я раньше свел бы принца с королевой.
Пусть выспросит его наедине.
Хотите, я подслушаю беседу.
Не раскусить и ей его, — ну что ж,
Тогда сплавляйте морем иль сажайте,
Куда рассудите.

Король.

Быть по сему.
Влиятельных безумцев шлют в тюрьму.

(Уходят.)

СЦЕНА II

Там же. Зал в замке. Входят Гамлет и несколько актеров.

Гамлет.

Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее публичному выкликале. Кроме того, не пилите воздуха эдак вот руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре, и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в саженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не желают слышать. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переиродить Ирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого.

Первый актер.

Будьте покойны, ваша светлость.

Гамлет.

Однако и без лишней скованности, но во всем слушайтесь внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движеньям, с тою только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушенье меры отступает от назначенья театра, цель которого во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости, и каждому возрасту и воплощенью его вид и облик. Если тут перестараться или недоусердствовать, непосвященные будут смеяться, но знаток опечалится, а суд последнего, с вашего позволенья, должен

для вас перевешивать целый театр, полный первых. Мне попадались актеры, и среди них прославленные, и даже до небес, которые, не во гнев им будь сказано, голосом и манерами не были похожи ни на крещеных, ни на нехристей, ни на кого бы то ни было на свете. Они так двигались и завывали, что брало удивленье, какой же это поденщик природы смастерил людей, и притом так неважно, до того чудовищным изображали они человечество.

Первый актер.

Надеюсь, у себя, принц, мы как могли это устранили.

Гамлет.

Устраните совершенно. А играющим простаков запретите говорить больше, чем для них написано. Некоторые доходят до того, что хохочут сами, для увеселенья худшей части публики, в какой-нибудь момент, существенный для хода пьесы. Это недопустимо и доказывает, какое дешевое самолюбье у таких шутников. Подите приготовьтесь.

(Актеры уходят.)

(Входят Полоний, Розенкранц и Гильденстерн.)

Ну, как, милорд, желает ли король послушать эту пьесу?

Полоний.

И королева также, и как можно скорее.

Гамлет.

Велите актерам поторопиться.

(Полоний уходит.)

Вы б не пошли вдвоем поторопить их?

Розенкранц и Гильденстерн.

Немедленно, милорд.

(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)

Гамлет.

Горацио!

(Входит Горацио.)

Горацио.

Здесь, принц, к услугам вашим.

Гамлет.

Горацио, ты изо всех людей,
Каких я знаю, самый настоящий.

Горацио.

О, что вы, принц.

Гамлет.

Не думай, я не льщу.
Зачем мне льстить, когда твое богатство
И стол и кров один веселый нрав?
Нужде не льстят. Подлизам предоставим
Безмозглое убранство богача.
Пусть гнут колени там, где раболепье
Приносит прибыль. Слушай-ка. С тех пор,
Как для меня законом стало сердце

И в людях разбирается, оно
Отметило тебя. В тебе есть цельность.
Все выстрадав, ты сам не пострадал.
Ты сносишь все и равно благодарен
Судьбе за гнев и милости. Блажен,
В ком кровь и ум такого же состава.
Он не рожок под пальцами судьбы,
Чтоб петь, смотря какой откроют клапан.
Кто выше страсти? Дай его сюда.
Я в сердце заключу его с тобою.
Нет, даже в сердце сердца. Но постой.
Сегодня королю играют пьесу.
Я говорил тебе про смерть отца.
Там будет точный сколок этой сцены.
Когда начнется этот эпизод,
Будь добр, смотри на дядю не мигая.
Он либо выдаст чем-нибудь себя
При виде сцены, либо этот призрак
Был демон зла, а в мыслях у меня
Такой же чад, как в кузнице Вулкана.
Итак, будь добр, гляди во все глаза.
Вопьюсь и я, а после сопоставим
Итоги наблюдений.

Горацио.

По рукам.
А если вор уйдет неуличенным,
Я штраф плачу за скрытье воровства.

Гамлет.

Они идут. Я дурачком прикинусь.
Займи места.

(Датский марш. Трубы. Входят король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн и другие чины свиты со стражей, несущей факелы.)

Король.

Как здравствует принц крови нашей, Гамлет?

Гамлет.

Верите ли, — превосходно. По-хамелеонски. Питаюсь воздухом, начиненным обещаниями. Так не откармливают и каплунов.

Король.

Это ответ не в мою сторону, Гамлет. Это не мои слова.

Гамлет.

А теперь и не мои.

(К Полонию.)

Милорд, вы играли в свою бытность в университете, не правда ли?

Полоний.

Играл, милорд, и считался хорошим актером.

Гамлет.

Кого же вы играли?

Полоний.

Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня.

Гамлет.

С его стороны было брутально убивать такого капитального теленка. — Готовы актеры?

Розенкранц.

Да, милорд. Они ждут вашего приказанья.

Королева.

Поди сюда, милый Гамлет, сядь рядом.

Гамлет.

Нет, матушка, тут металл попритягательней.

Полоний.

(Вполголоса королю.)

Ого, слыхали?

Гамлет.

Леди, можно к вам на колени?

(Растягивается у ног Офелии.)

Офелия.

Нет, милорд.

Гамлет.

То есть виноват: можно голову к вам на колени?

Офелия.

Да, милорд.

Гамлет.

А вы уж решили,—какое-нибудь мужланство?

Офелия.

Ничего я не решила, милорд.

Гамлет.

А это чудная идея лежать у девушки меж ног.

Офелия.

Что такое, милорд?

Гамлет.

Ничего.

Офелия.

Принц, вы сегодня в ударе?

Гамлет.

Кто, я?

Офелия.

Да, милорд.

Гамлет.

Господи, ради вас я и колесом пройдусь. Впрочем, что и остается, как не веселиться? Взгляните, какой радостный вид у моей матери, а всего два часа как умер мой отец.

Офелия.

Нет, принц, полных дважды два месяца.

Гамлет.

Как? Так много? Ну тогда к дьяволу траур, буду ходить в соболях. Силы небесные. Умер назад два месяца, и все еще не забыт! Тогда есть надежда, что память великого человека переживет его на полгода. Но только пусть жертвует на построенье храмов, а то никто не вспомнит о нем, как о деревянной лошадке, у которой на могиле надпись:

«Где ноги, где копыта.
Заброшена, забыта».

(Играют гобои. Начинается пантомима. Входят король и королева с проявленьями нежности. Королева обнимает короля, а он ее. Она становится на колени перед ним с изъяснениями преданности. Он поднимает ее и кладет голову ей на плечо. Потом ложится на земляную скамью, обсаженную цветами. Видя, что он уснул, она уходит. Тогда входит человек, снимает с него корону, целует ее, вливает в ухо короля яд и уходит. Возвращается королева, видит, что король мертв, и знаками выражает отчаяние. Снова входит отравитель с двумя или тремя носильщиками, давая понять, что разделяет ее горе. Труп уносят. Отравитель подарками добивается благосклонности королевы. Вначале она с негодованьем отвергает его любовь, но под конец смягчается. Уходят.)

Офелия.

Что это означает, принц?

Гамлет.

«Змея подколодная», а означает уголовное дело.

Офелия.

Наверное пантомима выражает содержание предстоящей пьесы.

(Входит Пролог.)

Гамлет.

Сейчас мы все узнаем от этого малого. Актеры не умеют хранить тайн и должны все выболтать.

Офелия.

Он объяснит значенье показанной вещи?

Гамлет.

Да, и любой вещи, которую вы ему покажете. Не стыдитесь только показывать, а он без стыда будет объяснять, что это значит.

Офелия.

Вы злюка, вы злюка. Я буду смотреть пьесу.

Пролог.

Пред нашим представленьем
Мы просим со смиреньем
Нас выслушать с терпеньем.

Гамлет.

Что это, пролог или насечка на перстне?

Офелия.

Действительно коротковато, милорд.

Гамлет.

Как женская любовь.

(Входят два актера: король и королева.)

Король на сцене.

В тридцатый раз на конях четверней

Объехал Феб моря и мир земной,
И тридцать дюжин лун вокруг земли
Двенадцать раз по тридцать раз прошли
С тех пор, как нам сближает все тесней
Любовь — сердца, а руки — Гименей.

Королева на сцене.

Еще раз столько солнце и луна
Могли б пройти, пока любовь сильна.
Но горе мне, — годам наперекор
Болезнен вид ваш с некоторых пор.
Однако опасаться вам, дружок,
Нет надобности ни на волосок.
Страшится или любит женский пол,
В нем все без меры, всюду пересол.
Моей любви изведали вы вкус.
Люблю я слепо, слепо и страшусь.
Где чувство в силе, страшно пустяка.
Где много любят, малость велика.

Король на сцене.

Душа моя, прощанья близок час.
К концу подходит сил моих запас.
А ты и дальше в славе и любви
Существованья радостью живи.
Другой супруг, как знать...

Королева на сцене.

Не суесловь.
Предательством была бы та любовь.
Тогда сгори я заживо до тла!
Живи с другим, кто первого сжила.

Гамлет.

(В сторону.)

Полынь, полынь...

Королева на сцене.

Не по любви вступают в новый брак.
Расчет и жадность — вот его рычаг.
Пускать второго в брачную кровать.
По первом значит память убивать.

Король на сцене.

Мне верится, вы искренни во всем.
Но не всегда стоим мы на своем.
Решимость наша памяти раба:
Сильна до службы, в выслуге слаба.
Что держится, как недозрелый плод
Отвалится, лишь только в сок войдет.
Чтоб жить, должны мы клятвы забывать,
Которые торопимся давать.
У каждой страсти собственная цель,
Но ей конец, когда проходит хмель.

Печаль и радость в дикости причуд
Сметают сами, что произведут.
Печали жалок радости предмет,
А радости до горя дела нет.
Итак, когда все временно и тлен,
Как и любви уйти от перемен?
Кто вертит кем, еще вопрос большой,
Судьба любовью иль любовь судьбой?
Ты пал, и друг лицо отворотил,
Ты всплыл, и ты врагам вчерашним мил.
Нарочно это или невзначай?
Кто дружбой сыт, друзей хоть отбавляй,
А кто в нужде подумает о ком,
Единственного делает врагом.
Но кончу тем, откуда речь повел.
Случайности так полон произвол,
Что в нашей власти в случае нужды
Одни желанья, а не их плоды.
Так и боязнь второго сватовства
Жива у вас до первого вдовства.

Королева на сцене.

Померкни свет, погибни урожай!
И день и ночь покоя я не знай!
Отчаянье заволоки мой взор!
Будь жизнью мне отшельницы затвор!
Недобрый вихрь развей в небытии
Мои надежды и мечты мои!
Малейший шаг ввергай меня в беду,
Когда, вдова, я замуж вновь пойду!

Гамлет.

А ну обманет?

Король на сцене.

Зарок не шутка. Но оставь меня.
Я утомился сутолокой дня
И прикорну немного.

(Засыпает.)

Королева на сцене.

Выспись всласть,
И да минует в жизни нас напасть.

(Уходит.)

Гамлет.

Сударыня, как вам нравится пьеса?

Королева.

По-моему, леди слишком много обещает.

Гамлет.

О, но она сдержит слово.

Король.

Вы знаете содержанье? В нем нет ничего предосудительного?

Гамлет.

Нет, нет. Все это в шутку, отравленье в шутку. Ровно ничего предосудительного.

Король.

Как названье пьесы?

Гамлет.

«Мышеловка». Но как это понимать? Фигурально. Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене. Имя герцога — Гонзаго. Его жена Баптиста. Вы сейчас увидите. Это препакостнейшая проделка. Но нам-то что с того? Вашего величества и нас, с нашей чистой совестью, это не касается. Пусть кляча кидает задом, если зашибла. Наши кости в порядке.

(Входит Луциан.)

Это некто Луциан, племянник короля.

Офелия.

Вы хорошо заменяете хор, милорд.

Гамлет.

Я бы мог быть пояснителем между вами и вашей зазнобой, если б только эти куклы попались мне в руки.

Офелия.

Вы остры, принц, вы остры.

Гамлет.

Вам пришлось бы постонать, чтобы притупить меня.

Офелия.

Час от часу не легче.

Гамлет.

Как в замужестве.—Начинай, убийца. Ну, чума ты этакая! Брось свои безбожные рожи и начинай. Ну! «Взывает к мести каркающий ворон».

Луциан.

Рука тверда, дух черен, крепок яд,
Удобен миг, ничей не видит взгляд.
Теки, теки, верши свою расправу,
Гекате посвященная отрава.
Спеши весь вред, который в травах есть,
Над этой жизнью в действие привесть.

(Вливает яд в ухо спящего.)

Гамлет.

Он отравляет его в саду, чтобы завладеть его престолом. Имя герцога — Гонзаго. История существует отдельно, изложенная отборным итальянским языком. Сейчас вы увидите, как убийца достигает любви жены Гонзаго.

Офелия.

Король встает.

Гамлет.

Испугался хлопушки?

Королева.

Что с его величеством?

Полоний.

Прервите пьесу.

Король.

Посветите мне. Скорей на воздух.

Все.

Огня, огня, огня!

(Уходят все, кроме Гамлета и Горацио.)

Гамлет.

Пусть раненый олень ревет,
А уцелевший скачет.
Где — спят, а где — ночной обход;
Кому что рок назначит.

Ну-с, сэр, если бы другие виды на будущее пролетели у меня к туркам, разве это, да целый лес перьев, да пара провансальских роз на башмаках не доставили мне места в актерской труппе?

Горацио.

С половинным окладом.

Гамлет.

Нет, с полным.

Ты знаешь, дорогой Дамон,
Юпитера орел
Слетел с престола, и на трон
Воссел простой осё — тр.

Горацио.

Вы могли бы и в рифму.

Гамлет.

О, Горацио! Тысячу фунтов за каждое слово призрака. Ты заметил?

Горацио.

Еще бы, принц.

Гамлет.

Когда заиграли отравленье.

Горацио.

Я с него глаз не спускал.

Гамлет.

Ах, ах! А ну, а ну музыку! Ну-ка, флейтисты!

Раз королю не интересна пьеса,
Нет для него в ней, значит, интереса.

А ну, а ну музыку!

(Возвращаются Розенкранц и Гильденстерн.)

Гильденстерн.

Добрейший принц! Можно попросить вас на два слова?

Гамлет.

Хоть на целую историю, сэр.

Гильденстерн.

Король, сэр...

Гамлет.

Да, сэр, что с ним?

Гильденстерн.

Удалился к себе и чувствует себя очень скверно.

Гамлет.

От вина, сэр?

Гильденстерн.

Нет, сэр, скорее от желчи.

Гамлет.

Остроумней было бы сказать это его врачу. Если я примусь чистить его своими средствами, опасаюсь, как бы желчь не разлилась у него еще сильнее.

Гильденстерн.

Добрейший принц, введите свою речь в какие-нибудь рамки, и не чурайтесь так дико того, что мне поручено.

Гамлет.

Пожалуйста. Я весь смиренье и слух.

Гильденстерн.

Королева, ваша матушка, в крайнем удрученьи послала меня к вам.

Гамлет.

Милости просим.

Гильденстерн.

Нет, добрейший принц, сейчас эти любезности ни к селу ни к городу. Если вам угодно дать мне надлежащий ответ, я исполню приказанье вашей матери. Если нет, я попрошу принять мои извиненья, удалюсь и вот весь сказ.

Гамлет.

Не могу, сэр.

Гильденстерн.

Чего, милорд?

Гамлет.

Дать вам надлежащий ответ. У меня мозги не в порядке. Но какой бы ответ я вам не дал, располагайте им, как найдете нужным. Вернее, это относится к моей матери. Итак, ни слова больше. К делу. Моя мать, говорите вы...

Розенкранц.

В таком случае вот что. Ваше поведение, говорит она, повергло ее в изумленье и ошеломило.

Гамлет.

О удивительный сын, так удивляющий свою мать! А не прилипло ли к этому удивленью чего-нибудь повещественней? Любопытно.

Розенкранц.

Она желает поговорить с вами у себя в комнате, прежде чем вы ляжете спать.

Гамлет.

Рады стараться, будь она нам хоть десять раз матерью. Чем еще можем служить вам?

Розенкранц.

Принц, вы когда-то любили меня.

Гамлет.

(Показывая на свои руки.)

Как и сейчас, клянусь этими ворами и загребалами.

Розенкранц.

Добрейший принц! Что причина вашего нездоровья? Вы сами отрезаете путь к своему спасенью, пряча свое горе от друга.

Гамлет.

Я нуждаюсь в служебном повышеньи.

Розенкранц.

Как это возможно, когда сам король назначил вас наследником датского престола?

Гамлет.

Да, сэр, но «пока трава вырастет...» — староватa поговорка .

(Возвращаются музыканты с флейтами.)

А, флейты! Дайте мне одну на пробу. Отойдемте в сторону. Что это вы все вьётесь вокруг да около, точно хотите загнать меня в какие-то сети.

Гильденстерн.

О принц, если мое участие так навязчиво, значит так безоговорочна моя любовь.

Гамлет.

Я что-то не понял. Ну да все равно. Вот флейта. Сыграйте что-нибудь.

Гильденстерн.

Принц, я не умею.

Гамлет.

Пожалуйста.

Гильденстерн.

Уверяю вас, я не умею.

Гамлет.

Но я прошу вас.

Гильденстерн.

Но я не знаю, как за это взяться.

Гамлет.

Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом воздух, и из нее польется выразительнейшая музыка. Видите, вот клапаны.

Гильденстерн.

Но я не знаю, как ими пользоваться. У меня ничего не выйдет. Я не учился.

Гамлет.

Смотрите же, с какою грязью вы меня смешали! Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знанье моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у ней чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя.

(Возвращается Полоний.)

Благослови вас бог, сэр.

Полоний.

Милорд, королева желает поговорить с вами, и немедленно.

Гамлет.

Видите вы вон то облако в форме верблюда?

Полоний.

Ей-богу вижу, и действительно, ни дать ни взять верблюд.

Гамлет.

По-моему, оно смахивает на хорька.

Полоний.

Правильно: спинка хорьковая.

Гамлет.

Или как у кита.

Полоний.

Совершенно как у кита.

Гамлет.

Ну так я приду сейчас к матушке.

(В сторону.)

Они сговорились меня с ума свести. — Я сейчас приду.

Полоний.

Я так и доложу.

Гамлет.

Шутка сказать, «сейчас». — Оставьте меня, приятели.

(Уходят все, кроме Гамлета.)

Теперь пора ночного колдовства.
Скрипят гроба и дышит ад заразой.
Сейчас я мог бы пить живую кровь,
И на дела способен, от которых
Отпряну днем. Итак, нас мать звала.
Без зверства, сердце! Что бы ни случилось,
Души Нерона в грудь мне не вселяй.
Я буду строг, но не бесчеловечен.
Речами, искинжалю, не рукой.
Уста мои, прощаю вам притворство.
Куда б слова ни завели в бреду,
Я в исполненье их не приведу.

(Уходит.)

СЦЕНА III

Комната там же. Входят король, Розенкранц и Гильденстерн.

Король.

Я не люблю его, и потакать
Безумью не намерен. Приготовьтесь.
Сейчас я подпишу вам паспорта
И в Англию его отправлю с вами.
Наш сан не терпит, чтоб из-за угла
Всегда подстерегала нас случайность
Под видом блажи.

Гильденстерн.

Соберемся в путь.
Священно в корне это попеченье
О тысячах, которые живут
Лишь вашего величества заботой.

Розенкранц.

Долг каждого беречься от беды
Всей силой, предоставленной рассудку.
Какая ж осмотрительность нужна
Тому, от чьей сохранности зависит
Жизнь множества. Кончина короля
Не просто смерть. Она уносит в бездну
Всех близстоящих. Это — колесо,
Торчащее у края горной кручи,
Вдоль страшных спиц которого вкладной
Узор из шашек. Эти украшенья
Всех раньше, если рухнет колесо,
На части разлетятся. Вздох владыки
Во всех в ответ рождает стон великий.

Король.

Пожалуйста, скорей сберитесь в путь.
Пора забить в колодки этот ужас,
Гуляющий на воле.

Розенкранц и Гильденстерн

Поспешим.

(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)
(Входит Полоний.)

Полоний.

Он к матери пошел в опочивальню.
Подслушаю пойду-ка за ковром.
Хотя она и даст ему острастку,
Но ваша правда: мать тут не судья.
Она лицеприятна. Не мешало б,
Чтоб был при этом кто-нибудь другой
И вник бы. До свиданья, государь мой.
С разведки этой я еще пред сном
К вам загляну.

Король.

Благодарю вас, друг мой.

(Полоний уходит.)

Грехом моим воняет до небес.
На нем печать древнейшего проклятья:
Убийство брата. Жаждою горю,
Всем сердцем рвусь, — и не могу молиться.
Вина тяжéле тяжести души.
Как бы служа двум поприщам, не знаю,
Какое предпочесть, и не всхожу
Ни на одно. Когда б от братской крови
Раздулю эту руку волдырем, —
Нет разве и тогда дождя у бога
Умыть ее, как снег? То и добро,
Что не боится встречи с преступленьем.
То и молитв двойная власть, что нас
Хранит от зла, а если мы споткнемся,
Прощенье добывает. Выше взор!
Я пал, чтоб встать. Какими же словами
Молиться тут? «Прости убийство мне»?
Нет, так нельзя. Я не вернул добычи.
Со мной все то, зачем я убивал:
Моя корона, край и королева.
За что прощать того, кто тверд в грехе?
У нас не редкость, правда, что преступник
Грозится пальцем в золотых перстнях,
И самые плоды его злодейства
Есть откуп от законности. Не то
Там наверху. Там в подлинности голой
Лежат деянья наши без прикрас,
И мы должны на очной ставке с прошлым
Держать ответ. Так что же? Как мне быть?
Покаяться? Раскаянье всесильно.
Но что, когда и каяться нельзя!
Какой тупик! О грудь, чернее смерти!
О лужа, где, барахтаясь, душа
Все глубже вязнет! Ангелы, на помощь!
Скорей, колени, гнитесь! Сердца сталь
Стань, как хрящи новорожденных, мягкой!
Все поправимо.

(Отходит в глубину и становится на колени.)

(Входит Гамлет.)

Гамлет.

Он молится. Какой удобный миг.
Удар мечом, и он стрелою к небу,
И я отомщен. Отомщен ли? Разберем.
Меня отца лишает проходимец,
А я, как сын, его за это шлю
В небесный рай.
Да это ведь награда, а не мщенье.

Отец погиб с раздутым животом
Весь вспучившись, как май, от грешных соков.
Бог весть, какой еще за это спрос,
Но по всему, наверное, не малый.
Отмщенье ль это, если негодяй
Испустит дух, когда он чист от скверны
И весь готов к далекому пути?
Нет.
Назад, мой меч, до боле страшной встречи.
Когда он будет в гневе или пьян,
В объятьях сна или нечистой неги,
В пылу азарта, с бранью на устах
И чем-нибудь, что только не к спасенью,
Тогда подбрось его ногами вверх,
Чтоб кубарем, весь черный от пороков,
Упал он в ад. — Но мать звала. — Поцарствуй.
Отсрочка это лишь, а не лекарство.

(Уходит.)

Король.

(Поднимаясь.)

Слова парят, а чувства книзу гнут,
А в вышних слов без чувств не признают.

(Уходит.)

СЦЕНА IV

Другая комната там же. Входят королева и Полоний.

Полоний.

Он к вам идет. К стене его прижмите.
Пусть обуздает выходки свои.
Скажите, вы собою заслонили
Его от кары. Я забьюсь в углу.
Пожалуйста, покруче.

Гамлет.

(За сценой.)

Мама, мама.

Королева.

Не бойтесь. Положитесь на меня.
Он, кажется, идет. Вам надо скрыться.

(Полоний становится за ковром.)
(Входит Гамлет.)

Гамлет.

Ну, матушка, чем вам могу служить?

Королева.

Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет?

Гамлет.

Зачем отца вы оскорбили, мать?

Королева.

Ты отвечаешь матери, как неуч.

Гамлет.

Вы спрашиваете, как лицемер.

Королева.

Что это значит, Гамлет?

Гамлет.

Что вам надо?

Королева.

Ты помнишь, кто я?

Гамлет.

Помню, вот вам крест.
Вы королева в браке с братом мужа
И, к моему прискорбью, мать моя.

Королева.

Так пусть с тобой поговорят другие.

Гамлет.

Ни с места. Сядьте. Я вас не пущу.
Я зеркало поставлю перед вами,
Где вы себя увидите насквозь.

Королева.

Что ты задумал? Он меня заколет!
Не подходи! Спасите!

Полоний.

(За ковром.)

Караул!

Гамлет.

(Обнажая шпагу.)

Ах, так? Тут крысы? На пари — готово.

(Протыкает ковер.)

Полоний.

(За ковром.)

Убит!

(Падает и умирает.)

Королева.

Что ты наделал!

Гамлет.

Разве там
Стоял король?

Королева.

Какое беззастенчивое зверство!

Гамлет.

Не больше, чем убийство короля
И обрученье с деверем, миледи.

Королева.

Убийство короля?

Гамлет.

Да, леди да.

(Откидывает ковер и обнаруживает Полония.)

Прощай, вертлявый, глупый хлопотун!
Тебя я с высшим спутал, — вот в чем горе.
Ты видишь, суетливость не к добру.
А вы садитесь. Рук ломать не надо.
Я сердце вам сломаю, если все ж
Оно из бьющегося матерьяла
И пагубные навыки не сплющь
Его от жизни в бронзу заковали.

Королева.

Что я такого сделала, чтоб мной
Так помыкать?

Гамлет.

Вы сделали такое,
Что угашает искренность и стыд,
Шельмует правду, выступает сыпью
На белом лбу нетронутой любви
И превращает брачные обеты
В торг игроков. Вы совершили то,
Что обездушивает соглашенья
И делает пустым набором слов
Обряды церкви. Небеса краснеют
И своды мира, хмурясь, смотрят вниз,
Как в судный день, чуть вспомнят ваш поступок.

Королева.

Нельзя ль узнать, в чем дела существо,
К которому так громко предисловье?

Гамлет.

Вот два изображенья: вот и вот.
На этих двух портретах лица братьев.
Смотрите, сколько прелести в одном.
Лоб, как у Зевса, кудри Аполлюна,
Взгляд Марса, гордый, наводящий страх,
Пропорции Меркурия, с посланьем
Слетающего наземь с облаков.
Собранье качеств, в каждом из которых
Печать какого-либо божества,
Как бы во славу человека. Это
Ваш первый муж. А это ваш второй,
Как колос, зараженный спорыньею,
В соседстве с чистым. Где у вас глаза?
Как вы спустились с этих горных пастбищ
К таким кормам? На что у вас глаза?
Ни слова про любовь. В лета, как ваши,

Живут не бурями, а головой.
А где та голова, что променяла б
Того на этого? Вы не без чувств,
А то б не шевелились. Значит чувства —
В параличе. Ведь тут и маниак
Не мог бы просчитаться. Не бывает,
Чтоб и в бреду не оставался смысл
Таких различий. Так какой же дьявол
Средь бела дня вас в жмурки обыграл?
Глаза глухонемого, слух слепого,
Нюх круглого калеки, орган чувств,
Чуть теплящихся, не дали бы маху
Так очевидно.
Стыд, где огонь твой? Греховодник — ад,
Когда таков ты в матерях семейства,
Прощай девическая чистота.
Пусть млеет, воском тая. Нет позора,
Когда встают от жара на дыбы,
Раз бесятся и в холод, и хмелеют
От умозрений.

Королева.

Гамлет, перестань!
Ты повернул глаза зрачками в душу,
А там повсюду черные угри,
И нечем вывести.

Гамлет.

Валяться в сале
Продавленной кровати, утопать
В испарине порока и кумиться
Среди навоза...

Королева.

Гамлет, пощади!
Твои слова, как острия кинжалов,
И режут слух.

Гамлет.

С убийцей и скотом,
Не стоящим одной двухсотой доли
Того, что тот. С петрушкой в королях.
С карманником на царстве. Он завидел
Венец на полке, взял исподтишка
И вынес под полою.

Королева.

Гамлет, сжалься!

Гамлет.

Со святочной фитюлькою...

(Входит Призрак.)

Под ваши крылья, ангелы небес! —
Что вашей статной царственности надо?

Королева.

О горе, с ним припадок!

Гамлет.

Ленивца ль сына вы пришли журить,
Что дни идут, а он под злую руку
Приказов ваших страшных не свершил?
Не правда ли?

Призрак.

Цель моего прихода вдунуть жизнь
В твою почти остывшую готовность.
Но оглянись на мать. У ней столбняк.
Стань между ней и тем, что в ней. Ужасна
Власть сильных чувств над слабыми душой.
Скажи ей что-нибудь.

Гамлет.

Что с вами, леди?

Королева.

Нет, что с тобой? Ты смотришь в пустоту,
Толкуешь громко с воздухом бесплотным
И пялишь одичалые глаза.
Как сонные солдаты по тревоге,
Взлетают вверх концы твоих волос
И строятся навытяжку. О сын мой,
Огонь болезни надо остужать
Невозмутимостью. Чем полон взор твой?

Гамлет.

Да им же, им! Смотрите, как он бел!
История его и эта бледность
Растрогали бы камень. Отвернись.
Твои глаза мне душу раздирают.
Она рыхлеет, твердость чувств сдает,
И я готов лить слезы вместо крови.

Королева.

С кем говоришь ты?

Гамлет.

Как, вам не видать?

Королева.

Нет. Ничего. Лишь то, что пред глазами.

Гамлет.

И не слыхать?

Королева.

Лишь наши голоса.

Гамлет.

Да вот же он! Туда, туда взгляните.
Отец мой, совершенно как живой.
Вы видите, скользит и в дверь уходит.

Королева.

Все это плод твоих больных мозгов.
По части духов белая горячка
Большой искусник.

Гамлет.

Белая горячка!
Мой пульс, как ваш, отсчитывает такт
И так же бодр. Нет нарушений смысла
В моих словах. Переспросите вновь, —
Я повторю их, а больной не мог бы.
Во имя бога, бросьте ваш бальзам.
Не тешьтесь мыслью, будто все несчастье
Не в ваших шашнях, а в моих мозгах.
Такая мазь затянет рану коркой,
А скрытый гной вам выест все внутри.
Вам надо исповедаться. Покайтесь
В содеянном, остерегитесь впредь
И сорных трав не множьте удобреньем.
Прошу простить меня за правоту,
Как в наше время просит добродетель
Прощенья у порока за добро,
Которое она ему приносит.

Королева.

Ах, Гамлет, сердце рвется пополам.

Гамлет.

Вот и расстаньтесь с худшей половиной,
Чтоб лучшею потом тем чище жить.
Спокойной ночи. Не ходите к дяде.
Нет совести, прикиньтесь, будто есть.
Привычка, этот враг живого чувства,
Кой в чем и друг. В личине доброты
Мы можем сами пристраститься к благу,
Разнашивая нравственный уклад,
Как новый плащ. Сегодня воздержитесь,
И завтра будет легче устоять,
И что ни ночь, то легче все и легче.
Повторность изменяет лик вещей.
Чертей смиряют или изгоняют.
Еще раз доброй ночи. А когда
Сподобитесь благословиться сами,
Меня благословите. А о нем,

(Показывает на Полония.)

О человеке этом, сожалею.
Но, видно, так судили небеса,
Чтоб он был мной, а я был им наказан
И стал бы их карающей рукой.
Я тело уберу и сам отвечу
За эту кровь. Еще раз добрый сон.
Я буду страшен, как ни жалко вчуже.
Пришла беда, а там придет и хуже.
Еще два слова.

Королева.

Что ж теперь мне делать?

Гамлет.

Все, лишь не то, что я вам предлагал.
Поддайтесь королю, в постель юркните,
Подставьте щечку, дайте мышкой звать
И в благодарность за его лобзанья,
Которыми он будет вас душить,
В приливе откровенности признайтесь,
Что не сошел с ума я, но блажу
Для видимости. Правда, проболтайтесь!
К лицу ли королеве-красоте
Скрывать от упыря, кота и жабы
Такие вещи? Нет. Наоборот.
На зло уму и совести, взберитесь
С корзинкою на кровельный карниз,
Пустите птиц и в подражанье стае,
Как обезьяна в басне, бросьтесь вниз
И, пробуя летать, сломайте шею.

Королева.

Верь, если слово заключает вздох,
А вздохи — жизнь, я задохнусь скорее,
Чем выражу, что ты сказал.

Гамлет.

Меня
Шлют в Англию, слыхали?

Королева.

Да, к несчастью.
Я и забыла. Это решено.

Гамлет.

Скрепляют грамоты. Два школьных друга,
По верности не лучше двух гадюк,
Везут пакет и стелют мне дорогу
К расставленным сетям. Пускай, пускай.
Забавно будет, если сам подрывник
Взлетит на воздух. Я под их подкоп,
Будь я неладен, вроюсь ярдом глубже
И их взорву. Ну и переполох.
Когда подвох наткнется на подвох! —
Вот мне кого бы сбыть теперь подальше.
Стащу-ка в сени эти потроха.
Итак, спокойной ночи. А советник,
Действительно, и таен стал и строг.
А в жизни был болтливее сорок. —
Ну, милый мой, пора о вас подумать. —
Спокойной ночи, матушка.

(Расходятся врозь, Гамлет—волоча Полония.)

АКТ IV

СЦЕНА I

Эльсинор. Комната в замке. Входят король, королева, Розенкранц и Гильденстерн.

Король.

В глубоких этих вздохах что-то есть.
Нельзя ль перевести их попонятней?
Где сын ваш?

Королева.

Оставьте нас на несколько минут.
(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)
О, что сейчас случилось!

Король.

Что, Гертруда?
Как Гамлет?

Королева.

Рвет и мечет, как прибой,
Когда он с ветром спорит, кто сильнее.
В бреду услышал шорох за ковром
И с криком «крысы!», выхватив рапиру,
Прокалывает насмерть старика,
Стоявшего в засаде.

Король.

Быть не может!
Так было б с нами, очутись мы там.
Что он на воле — вечная опасность
Для вас, для нас, для каждого, для всех.
А кто теперь в ответе за убийство?
Увы, я сам, чья бдительность могла
Взять бедного страдальца под опеку
И удалить. Всему виной любовь.
Она лишила нас благоразумья.
Мы скрыли, как постыдную болезнь,
Семейное несчастье и загнали
Заразу внутрь. Куда девался он?

Королева.

Пошел куда-то с телом бедной жертвы.
Сквозь порчу проглянула в нем душа,
Как золото сквозь слой чужой породы.
Он плачет о случившемся навзрыд.

Король.

Пойдем, Гертруда. Не успеет солнце
Коснуться гор, он сядет на корабль.
А эту гнусность как-нибудь загладим
Своим авторитетом. — Гильденстерн!
(Возвращаются Розенкранц и Гильденстерн.)

Кого-нибудь возьмите на подмогу.
В горячке принц Полония убил.
Труп вынесен из спальни королевы.
Не раздражая, надо отобрать
И отнести в часовню. Поспешите.
(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)
Пойдем, Гертруда, соберем друзей.
Расскажем им про новости и планы.
Шипенье ядовитой клеветы,
Несущее сквозь поперечник мира,
Как пушечный снаряд, свое ядро,
С их помощью, быть может, нас минует,
Ударив в воздух. Будь со мной, жена.
Душа в тревоге и устрашена.

(Уходят.)

СЦЕНА II

Там же. Другая комната в замке. Входит Гамлет.

Гамлет.

Сдан в целости на место.

Розенкранц и Гильденстерн.
(За сценой.)

Гамлет! Гамлет!

Гамлет.

Откуда шум? Кто Гамлета зовет?
А, вот они.
(Входят Розенкранц и Гильденстерн.)

Розенкранц.

Милорд, что сделали вы с мертвым телом?

Гамлет.

Смешал с землей, которой труп сродни.

Розенкранц.

Скажите, где он, мы снесем в часовню.

Гамлет.

Об этом бросьте даже помышлять.

Розенкранц.

О чем?

Гамлет.

Что я буду действовать в ваших интересах, а не в своих. Да и что это еще за расспросы со стороны туалетной губки? Что отвечать на них сыну короля?

Розенкранц.

Вы меня сравниваете с губкою, принц?

Гамлет.

Да, вас. С губкою, живущей соками царских милостей, наград и попущений. Но на поверку это его лучшие слуги. Король закладывает их за щеку, как обезьяна. Сует в рот первыми, а проглатывает последними. Понадобится то, чего вы насосались, он взял, сдавил вас, и снова вы сухи для новой службы.

Розенкранц.

Я вас не понимаю, принц.

Гамлет.

Тем радостней. В уме нечутком не место шуткам.

Розенкранц.

Милорд, вы должны сказать нам, где тело, и пойти с нами к королю.

Гамлет.

Тело во владеньи короля, но король не во владеньи телом. Да и какую роль играет тут король?

Гильденстерн.

А что же, принц?

Гамлет.

Не более чем ноль. Ведите меня к нему. Гуси, гуси, домой, волк за горой.

(Уходят.)

СЦЕНА III

Там же. Другая комната в замке. Входит король со свитой.

Король.

За ним пошли. Труп велено найти.
Вот как опасен он, пока на воле.
Сурово с ним расправиться нельзя.
Он баловень среди простонародья,
Где судят все на-глаз, а не умом.
Там видят только кару, а не смотрят,
За что она. Для гладкости отъезд
Изобразим служебным назначеньем
Минувших дней. Когда болезнь трудна,
То не боятся трудных операций.

(Входит Розенкранц.)

Ну как у вас там? Что произошло?

Розенкранц.

Где тело, невозможно доискаться.

Король.

А сам он где?

Розенкранц.

За дверью, государь,
Впредь до распоряженья под надзором.

Король.

Ну что ж, введите принца.

Розенкранц.

Гильденстерн!

Введите принца.

(Входят Гамлет и Гильденстерн.)

Король.

Гамлет, где Полоний?

Гамлет.

На ужине.

Король.

На ужине? Каком?

Гамлет.

Не там, где ест он, а где едят его самого. Сейчас за него уселся целый собор земских червей. Червь, что ни говори, единственный столп всякого чиноначалия. Мы откармливаем прочую живность на прокорм себе и сами кормимся червям на выкорм. Возьмете ли толстяка-короля или худобу-горемыку, это только два блюда к столу, два сменных кушанья, а конец один.

Король.

Увы! Увы!

Гамлет.

Можно вытащить рыбу на червяка, который попользовался королем, и попользоваться рыбой, которая съела этого червяка.

Король.

Что ты хочешь этим сказать?

Гамлет.

Ничего, только показать, как король может совершать внутренние объезды по кишкам нищего.

Король.

Где Полоний?

Гамлет.

На небе. Пошлите посмотреть. Если посланный не найдет, поищите сами в другом месте. Во всяком случае, не сыщись он раньше месяца, вы носом почуете его у входа на галлерею.

Король.

(Кое-кому из свиты.)

Наведайтесь, где сказано.

Гамлет.

Он вас терпеливо дождется.

(Свитские уходят.)

Король.

Кровавая проделка эта, Гамлет,
Заставит нас для целости твоей
Молниеносно сбыть тебя отсюда.

Изволь спешить: Корабль у берегов,
Подул попутный ветер, и команда
Ждет не дождется в Англию отплыть.

Гамлет.

Мы в Англию?

Король.

Да, в Англию.

Гамлет.

Прекрасно.

Король.

Так ты б сказал, знай наши мысли ты.

Гамлет.

Я вижу херувима, видящего их. —
Ну что ж, айда в Англию! — Прощайте, дорогая матушка.

Король.

Дорогой отец, хочешь ты сказать, Гамлет?

Гамлет.

Нет, — мать. Отец и мать — муж и жена, а муж и жена — это плоть едина, значит все равно: — прощайте, матушка. — Значит в Англию, вот как!

(Уходит.)

Король.

Нагнать его. Сейчас же на корабль.
Чтоб духу не было его сегодня.
Прощайте. Все изложено в письме.
Формальности в порядке. Торопитесь.
(Розенкранц и Гильденстерн уходят.)
И если, Англия, мою любовь
Ты ценишь так, как я заставить в силе, —
А твой рубец от датского меча
Еще горит, и ты благоговейно
Нам платишь дань, — не думай обойти
Прямую букву моего приказа,
Которым тайно Гамлета тебе
Я в руки отдаю на убиенье.
Исполни это, Англия! Как жар
Горячки он в крови моей клокочет.
Избавь меня от этого огня.
И жизнь не в жизнь и свет не для меня.
(Уходит.)

С ЕНА IV

Равнина в Дании. Входят Фортинбрас, капитан и войско в походе.

Фортинбрас.

Шлю вас с поклоном к королю датчан.
Скажите, капитан, что по трактату

Ждет пропуска по краю Фортинбрас.
Где сборный пункт, вы знаете. Прибавьте,
Что, если бы явилась в нас нужда,
Мы тут как тут по первому желанью.
Запомните?

Капитан.

Так точно.

Фортинбрас.

Шагом марш.

(Фортинбрас с войском уходит.)
(Входят Гамлет, Розенкранц, Гильденстерн и другие.)

Гамлет.

Чье это войско?

Капитан.

Армия норвежцев.

Гамлет.

Куда поход?

Капитан.

На Польшу.

Гамлет.

Кто глава?

Капитан.

Принц Фортинбрас, племянник королевский.

Гамлет.

Всей Польше ли война иль по краям?

Капитан.

Сказать по правде, мы идем отторгнуть
Невзрачный кус, в котором барыша —
Лишь званье, что земля. Пяти дукатов
Я б не дал за аренду, да и тех
Не выручить Норвегии и Польше,
Пусти они в продажу этот клад.

Гамлет.

Какой полякам смысл в его защите?

Капитан.

Туда уж стянут сильный гарнизон.

Гамлет.

Двух тысяч душ, десятков тысяч денег
Не жалко за какой-то сена клок.
Так в годы мира внешне беспричинно
Довольство наше постигает смерть
От внутреннего кровоизлиянья. —
Покорнейше благодарю вас, сэр

Капитан.

Храни вас бог.

(Уходит.)

Розенкранц.

Милорд, пойдемте тоже.

Гамлет.

Ступайте. Я вас тотчас догоню.

(Все уходят, кроме Гамлета.)

Все мне уликой служит, все торопит
Ускорить месть. Что значит человек,
Когда его заветные желанья
Еда да сон? Животное — и все.
Наверно, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
Что тут виной? Забывчивость скота,
Или привычка разбирать поступки
До мелочей, — такой разбор всегда
На четверть — мысль, а на три прочих — трусость, —
Но что за смысл без умолку твердить
О том, что должно если сделать это
И хочется, и можно, и легко?
Нелепость эту только оттеняет
Все, что ни встречу. Например, ряды
Такого ополченья, под командой
Изнеженного принца, гордеца
До кончиков ногтей. В мечтах о славе
Он рвется к сече, смерти и судьбе
И даст отпор безвестности, а дело
Не стоит выеденного яйца.
Но тот-то и велик, кто без причины
Не ступит шага, если ж в деле честь,
Подымет драку за пучок соломы.
Отец убит, и мать осквернена,
И сердце пышет злобой: вот и время
Зевать по сторонам и со стыдом
Смотреть на двадцать тысяч обреченных,
Готовых лечь в могилу, как в постель.
Издалека их гонит призрак славы
В борьбу за землю, где не разместить
Дерущихся и не зарыть убитых.
О мысль моя, отныне будь в крови.
Живи грозой иль вовсе не живи.

(Уходит.)

СЦЕНА V

Эльсинор. Комната в замке. Входят королева и Горацио.

Королева.

Я не приму ее.

Горацио.

Она шумит,
И в самом деле, видно, повредилась.
Вы б сжалились.

Королева.

А что такое с ней?

Горацио.

Отцом все время бредит, обвиняет
Весь свет во лжи, себя колотит в грудь,
Без основанья злится и лепечет
Бессмыслицу. В ее речах сумбур,
Но кто услышит, для того находка.
Из этих фраз, ужимок и кивков
Выуживает каждый по желанью,
Что дело дрянь, нет дыма без огня,
И здесь следы какой-то страшной тайны.

Королева.

Я лучше свижусь с ней. В умах врагов
Нетрудно ей посеять подозренья.
Пускай войдет.

(Горацио уходит.)

Больной душе и совести усталой
Во всем беды мерещится начало.
Так именно утайками вина
Разоблачать себя осуждена.

(Возвращается Горацио с Офелией.)

Офелия.

Где Дании краса и королева?

Королева.

Что вам, Офелия?

Офелия.

(Поет.)

А почем я отличу
Вашего дружка?
Шлык паломника на нем,
Странника клюка.

Королева.

Голубушка, что значит эта песня?

Офелия.

Да ну вас, вот я дальше вам спою.

(Поет.)

Помер, леди, помер он,
Помер, только слег.
В головах зеленый дрок,
Камушек у ног.

Королева.

Послушайте, Офелия...

Офелия.

Да ну вас..

(Входит король.)

Королева.

Вот горе-то, взгляните на нее.

Офелия.

(Поет.)

Белый саван, белых роз
Деревцо в цвету,
И лицо поднять от слез
Мне невмоготу.

Король.

Как вам живется, милочка моя?

Офелия.

Хорошо, награди вас бог. Говорят, сова была раньше дочкой пекаря. Вот и знай после этого, что нас ожидает. Благослови бог вашу трапезу.

Король.

(В сторону.)

Воображаемый разговор с отцом.

Офелия.

Об этом не надо распространяться. Но если бы вас спросили, что это значит, скажите:

(Поет.)

С рассвета в Валентинов день
Я проберусь к дверям
И у окна согласье дам
Быть Валентиной вам.
Он встал, оделся, отпер дверь,
И девушка-хвала
Из теплого его угла
Не девушкой ушла.

Король

Офелия-касатка!

Офелия.

Вот, не побожась, сейчас кончу.

(Поет.)

Какая гадость, сладу нет!
Стоит покуда свет,
Вот так и будут делать вред
По молодости лет?
Пред тем, как с ног меня валить,
Просили вы руки...
А он отвечает:
И обошелся б по-людски,
Не будь вы так легки.

Король.

Давно это с ней?

Офелия.

Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. Спасибо за доброе участие. — Поворачивай, моя карета! Покойной ночи, леди. Покойной ночи, дорогие леди. Покойной ночи. Покойной ночи.

(Уходит.)

Король.

Скорее вслед. Смотреть за нею в оба.

(Горацио уходит.)

Вот яд глубокой скорби. Вся беда
В ее отца кончине. Ах, Гертруда,
Повадятся печали, так идут
Не врозь, а валом. Главные несчастья —
Ее отец и ваш изгнанник-сын,
Кругом повинный в ссылке на чужбину.
Затем народ. Вся муть всплыла со дна,
И все рядит и судит о кончине
Полония. Напрасно мы его
Зарыли втихомолку. Третье горе —
Офелия в той спячке чувств, когда
Мы лишь изображенья или звери.
Но верх всего. Из Франции тайком
Лаэрт приехал, держится поодаль,
Живет молвой и верит болтунам,
А те ему все уши прожужжали
Про смерть отца. Виновных не найти,
За что собак на нас и будут вешать
Кому не лень. Все это, как картечь
По мне, Гертруда, шпарит отовсюду.

(Шум за сценой.)

Королева.

Что это там за шум?

Король.

Швейцарцы где?
Пусть двери охраняют.

(Входит придворный.)

Что случилось?

Придворный.

Спасайтесь, государь. Морской прилив,
Размыв плотины, заливает берег
Не шибче, чем с толпой бунтовщиков
Лаэрт разоружает вашу стражу.
Чернь за него. И будто бы до них
Не знали жизни, не было порядка
И старины, оплота общих чувств,
Они кричат: «Короновать Лаэрта!
Да здравствует Лаэрт!» и в честь его
Кидают шапки вверх и бьют в ладоши.

Королева.

Обрадовались, перепутав след!
Назад! Ошиблись, датские собаки

(Шум за сценой.)

Король.

Дверь взломана.

(Входит вооруженный Лаэрт, за ним датчане.)

Лаэрт.

Где он, король? — Уйдите, господа.

Датчане.

Нет, мы войдем.

Лаэрт.

Прошу вас выйти в сени.

Датчане.

Да ладно, ладно уж.

Лаэрт.

Благодарю.
Займите вход. — Итак, король презренный,
Где мой отец?

Королева.

Бесстрастнее, Лаэрт.

Лаэрт.

Найдись во мне бесстрастья хоть кровинка,
И я — внебрачный сын, отец — рогач,
А мать моя безгрешная достойна
Клейма гулящей здесь между бровей.

Король.

Лаэрт, что значит этот бунт гигантов?
Оставь, Гертруда, он ведь без вреда.
Власть короля в таких руках у бога,
Что сколько враг на нас ни посягай,
Руками не достать. — Итак, признайся,
Откуда это бешенство, Лаэрт.
Ну что же, отвечай. — Оставь, Гертруда.

Лаэрт.

Где мой отец?

Король.

В гробу.

Королева.

Но не король
Тому виной.

Король.

Пусть спрашивает вволю.

Лаэрт.

Как умер он? Но за нос не водить!
Я рву все связи, и топчу присягу,
И подданство к чертям собачьим шлю.
Возмездьем не пугайте. Верьте слову:
Что тот, что этот свет, мне все равно.
Но, будь что будет, за отца родного
Я отомщу!

Король.

А кто вам запретит?

Лаэрт.

Никто, когда моя на это воля.
А средства, — обойдусь и тем, что есть.
Не беспокойтесь.

Король.

Вы б узнать желали
Всю подноготную про смерть отца?
А вдруг, узнав, вы в ослепленьи мести
Сметете разом, точно кучу карт,
Врага и друга, правых и неправых?

Лаэрт.

Нет, лишь врагов.

Король.

Вы их хотите знать?

Лаэрт.

Да. А друзьям открою я объятья
И кровь свою с готовностью пролью,
Как пеликан.

Король.

Теперь вы говорите,
Как добрый сын и верный дворянин.
Что я в утрате вашей неповинен
И сам скорблю, вам станет дня ясней.

Датчане.

(За сценой.)

Дорогу ей!

Лаэрт.

Что там за суматоха?

(Возвращается Офелия.)

Гнев, иссуши мой мозг! Соль слез моих,
В семь раз сгустясь, мне оба глаза выжги!
Свидетель бог, я весом в вес воздам
За твой угасший разум. Роза мая!
Дитя мое, Офелия, сестра!
Где видано, чтоб девушки рассудок
Был не надежней жизни старика?
Любовь способна по природе к жертвам

И расстается с самым дорогим
Для дорогих.

Офелия.

(Поет).

Без крышки гроб его несли,
Скок скок со всех ног,
Ручьями слезы в гроб текли.
Прощай, мой голубок.

Лаэрт.

Будь ты в уме и добивайся мщенья,
Ты б не могла так тронуть.

Офелия.

А вы подхватывайте: «Скок в яму, скок со дна, не сломай веретена. Крутись, крутись, прялица, пока не развалится». Это вор ключник, увезший хозяйскую дочь.

Лаэрт.

Набор слов, почище иного смысла.

Офелия.

Вот розмарин, это для памятливости: возьмите, дружок, и помните. А это анютины глазки: это чтоб думать.

Лаэрт.

Изреченья безумья: память и мысль неотделимы.

Офелия.

Вот укроп для вас, вот водосбор. Вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Ее можно также звать богородичной травой. В отличье от моей носите свою как-нибудь по другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец.

(Поет.)

Но Робин родной мой — вся радость моя.

Лаэрт.

Тоске и страсти и кромешной тьме
Она очарованье сообщает.

Офелия.

(Поет.)

Неужто он не придет?
Неужто он не придет?
Нет, помер он
И погребен,
И за тобой черед.
А были снежной белизны
Его седин волнистых льны!
Но помер он,
И вот
За упокой его души

Молиться мы должны.
И за все души христианские, господи помилуй! — Ну, храни вас бог.
(Уходит.)

Лаэрт.

Видали? Боже!

Король.

Слушайте, Лаэрт.
Давайте вместе взвалим ваше бремя.
Не возражайте. Из своих друзей
Подите выберите самых умных.
Пусть, выслушав, они рассудят нас.
Когда бы против нас нашлись улики,
Прямые или косвенные, мы
Корону, царство, жизнь и все, что наше
Даем вам в возмещенье. Если ж нет,
Извольте уделить нам миг терпенья,
И мы в союзе с вашею душой
Добьемся удовлетворенья.

Лаэрт.

Ладно.
Загадка смерти, тайна похорон.
Отсутствие герба и шпаг над прахом,
Обход обрядов, нарушенье форм —
Все это вопиет с небес на землю
И ждет разбора.

Король.

И его найдет.
А виноватого — на эшафот.
Пожалуйте.

(Уходят.)

СЦЕНА VI

Там же. Другая комната в замке. Входят Горацио и слуга.

Горацио.

Кто хочет говорить со мной?

Слуга.

Матросы.
У них к вам письма, говорят.

Горацио.

Прошу.—
Ума не приложу, кто и откуда
Мне мог бы, кроме Гамлета, писать.
(Входят матросы.)

Первый матрос.

Бог в помощь, сэр.

Горацио.

Дай бог тебе здоровья.

Первый матрос.

Была б его воля, а мы не откажемся.— Вот письмо для вас, сэр. Оно от посланника с корабля, шедшего в Англию,— если ваше имя Горацио, как мне сказали.

Горацио.

(Читает.)

«Горацио, по прочтении сего устрой, чтобы эти люди попали как-нибудь к королю. У них есть письма к нему. Не были мы и двух дней в море, как сильно вооруженный корсар погнался за нами. Уступая им в скорости, мы их атаковали с вынужденной отвагой. При абордаже я перескочил к ним на борт. Но в этот миг корабли расцепились, и таким образом я очутился у них единственным пленником. Они обошлись со мной, как милосердные разбойники. Однако они ведали, что творили. За это я должен буду сослужить им службу. Доставь королю приложенные письма, и поспеши ко мне, как ты бежал бы от смерти. Я тебе скажу на ухо несколько слов, от которых ты онемеешь, хотя им далеко до всей истины. Эти добряки доставят тебя к месту моего нахожденья. Розенкранц и Гильденстерн продолжают путь в Англию. О них тоже много расскажу тебе. Прощай. Твой, в чем ты не сомневаешься, Гамлет».

Пойдем, сдадим оставшиеся письма,
И поспешим к тому, кто их послал.

(Уходят.)

СЦЕНА VII

Там же. Другая комната в замке. Входят король и Лаэрт.

Король.

Теперь ваш долг принять меня в друзья
И в сердце подписать мне оправданье.
Вы видите, что тот же человек,
Что заколол отца у вас, пытался
Убить меня.

Лаэрт.

Я вижу. Отчего ж
Не нарядили следствия по делу,
Столь тяжкого состава, несмотря
На голос безопасности и права?

Король.

Причины две, на ваш, наверно, взгляд
Неважных, для меня же полных силы.
Им не надышится царица-мать.
А хорошо ли, плохо ль,— ваше дело,—
Но нас с женой водой не разольешь:
Душой и телом, как звезда с орбитой.
Другое основанье, отчего
Не предал я суду его открыто,—

Привязанность к нему простых людей.
Его ошибки возведут в заслуги.
В их обожаньи все горит красой,
Как соль ключей, где ветки каменеют.
Нет, это слишком. Стрелы у меня
Оперены не для такого ветра
И могут вспять направить острие.

Лаэрт.

Итак, спустить за смерть отца и ужас,
Нависший над сестрою? Между тем
Ее отличья, если хвастать старым,
Могли б составить гордость всех времен.
Нет, месть моя придет.

Король.

Не беспокойтесь.
Вы думаете, я такой чурбан,
Что, собственной опасности не видя,
Дам ей играть своею бородой?
Потом поймете прочее. Отец ваш
Был другом мне, и я не враг себе,
И этих данных, думаю, довольно...
(Входит вестовой с письмом.)
Ну? Что еще там?

Вестовой.

Письма, государь.
От Гамлета. Вот вам, вот королеве.

Король.

От Гамлета? Кто подал?

Вестовой.

Говорят,
Какие-то матросы. Я не видел.
Мне Клавдио их дал, а у него —
Из первых рук.

Король.

Лаэрт, хотите слушать?
Я вам прочту. — Ступайте.
(Вестовой уходит.)
(Читает.)

«Великий и могущественный, узнайте, что я голым высажен на берег вашего королевства. Завтра я буду просить разрешенья предстать перед ваши королевские очи, где, заручившись вперед вашим благоволеньем, изложу обстоятельства моего внезапного и еще более странного возвращенья. Гамлет».

Что это значит? Все ли возвратились?
Иль это ложь и все идет на лад?

Лаэрт.

Верна ли подпись?

К о р о л ь.

Точный почерк принца.
Вот это «голым» и внизу: «Один»
С припиской. Что вы скажете на это?

Л а э р т.

Не знаю сам. Но встретиться хочу.
Мне легче на душе от предвкушенья
Тех резкостей, что я ему скажу.

К о р о л ь.

Но если так, зачем же дело стало?
Раз так, то все улажено, Лаэрт.
Я буду направлять вас.

Л а э р т.

Направляйте.
Но только не старайтесь помирить.

К о р о л ь.

Мир будет лишь для вас. В виду возврата
Он вряд ли согласится вновь в отъезд.
Поэтому я новое придумал.
Я так его заставлю рисковать,
Что он погибнет сам по доброй воле.
Его конец не поразит молвы,
И даже мать, не заподозрев козней,
Во всем увидит случай.

Л а э р т.

Государь.
Скажу тем тверже: управляйте мною,
Я буду вам орудьем.

К о р о л ь.

Все к тому.
В отлучку вашу вас не забывали.
При Гамлете хвалили вас за то,
Чем вы сильны, и вот, из всех отличий
Завидовал он только вам в одном,
Хотя оно не кажется мне главным.

Л а э р т.

И это?..

К о р о л ь.

Бант на шляпе молодца,
Хоть и уместный. В молодости носят
Небрежно легкий плащ. А пожилой
Заботу о здоровьи облекает
В сукно и мех. Два месяца назад
Здесь был нормандский дворянин. Я видел
Французов и сражался против них.
Им равных нет в езде верхом. Но этот
Был чародей. Он прирастал к седлу
И достигал с конем такой сноровки,

Как будто был до половины слит
С четвероногим. И во сне не снится,
Словами не сказать, что он творил!
Непостижимо!

Лаэрт.

Это был нормандец?

Король.

Нормандец.

Лаэрт.

Так порукой жизнь,— Ламонд.

Король.

Он самый.

Лаэрт.

Как не знать: алмаз известный,
Цвет всей страны.

Король.

Он знает вас, сказал,
И с похвалой большою отзывался
О вашем фехтовальном мастерстве,
Особенно о бое на рапирах,
Где вам, как уверял он, равных нет.
Он уверял,— их лучшие рубаки
Теряют глаз, расчет и быстроту
При встрече с вами. Этот отзыв поднял
Такую зависть в Гамлете, что он
Лишь спал и видел, как бы вас дождаться
И упросить, чтоб вы побились с ним.
Вот и предлог.

Лаэрт.

Предлог? Не понимаю.
Предлог к чему?

Король.

Скажите мне, Лаэрт,
Вы чтите не шутя отцову память,
Иль, как со скорби писаный портрет,
Вы лик без жизни?

Лаэрт.

Странные расспросы.

Король.

Кто отрицает в вас любовь к отцу?
Но всякую любовь рождает время,
И время же, как подтверждает жизнь,
Решает, искра это или пламя.
В самом огне любви есть вещество,
Которое и гаснет от нагару.
Непостоянна качеств полнота
И погибает от переполненья.

Что хочется, то надо исполнять,
Пока не расхотелось: у хотенья
Не меньше дел и перемен на дню,
Чем рук и видов и голов на свете.
Когда же поздно, нечего вздыхать.
Как слезы с перепою эти вздохи.
Итак, здесь Гамлет. Чем, помимо слов,
Докажете вы связь с отцом на деле?

Лаэрт.

Увижу в церкви, глотку перерву.

Король.

Конечно, для убийцы нет святыни,
И месть границ не знает. Но тогда,
Мой дорогой, сидите лучше дома.
Про ваш приезд узнает Гамлет сам,
На всех углах вас будут славословить
Французу в голос. Вас сведут вдвоем.
За вашу жизнь мы выставим заклады.
Как человек беспечный и прямой
И чуждый махинаций, он не станет
Рассматривать рапир, и вы легко,
Чуть изловчась, подмените тупую,
С предохраненьем, голой боевой
И за отца сквитаетесь.

Лаэрт.

Отлично.
Кой-чем вдобавок смажу острие.
Я как-то мазь купил такого свойства,
Что если смазать нож и колупнуть,
То всякий умирает от пореза,
И не спасти от смерти ни травой,
Ни лучшими припарками подлунной.
Я ей рапиру может быть натру.
Его довольно будет оцарапать,
И он погиб.

Король.

Обдумаем полней,
Какие могут ждать нас вероятья.
Допустим, план наш белой ниткой шит
И рухнет или выйдет весь наружу.
Как быть тогда? Нам надобно взамен
Иметь другое что-нибудь в запасе.
Постойте, я смекну.— Готово, есть.
Ага, мы ставим ценные заклады...
Так, так.
Когда вы разгоритесь от борьбы —
Для этого я б участил атаки,—
На случай, если б попросил он пить,
Поставлю кубок. Только он пригубит,

Ему конец, хотя б он избежал
От раны зараженья. — Что за крики?

(Входит Королева.)

Ах это вы, дражайшая!

Королева.

Несчастье за несчастьем, что ни шаг.
Лаэрт, сестрица ваша утонула.

Лаэрт.

Как, утонула? Где? Не может быть!

Королева.

Над речкой ива свесила седую
Листву в поток. Сюда она пришла
Гирлянды плесть из лютика, крапивы,
Купав и цвета с красным хохолком,
Который пастухи зовут так грубо,
А девушки — ногтями мертвеца.
Ей травами увить хотелось иву,
Взялась за сук, а он и подломись,
И, как была, с копной цветных трофеев
Она в поток обрушилась. Сперва.
Ее держало платье, раздуваясь
И, как русалку, по верху несло.
Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды
Или как существо речной породы.
Но долго это длиться не могло,
И вымокшее платье потащило
Ее от песен старины на дно,
В муть смерти.

Лаэрт.

Утонула...

Королева.

Утонула.

Лаэрт.

Офелия, довольно вкруг тебя
Воды, чтоб доливать ее слезами.
Но как сдержать их? Несмотря на стыд,
Природа льет их. Ими вон исходит
Все бабье в нас. Прощайте, государь.
В душе пожар, а эта дурья слабость
Мне портит все.

(Уходит.)

Король.

Гертруда, сколько сил,
Потратил я, чтоб гнев его умерить.
Теперь, боюсь, он разгорится вновь.
Пойдем за ним.

(Уходят.)

АКТ V

СЦЕНА I

Эльсинор. Кладбище. Входят два могильщика с лопатами.

Первый могильщик.

А правильно ли хоронить по-христиански, которая самовольно добивалась вечного блаженства?

Второй могильщик.

Стало быть правильно. Ты и копай ей живей могилу. Ее показывали следователю и постановили, чтобы по-христиански.

Первый могильщик.

Статное ли дело? Добро бы она утопилась в состоянии самозащиты.

Второй могильщик.

Состояние и постановили.

Первый могильщик.

Состояние надо доказать. Без него не закон. Скажем, я теперь утоплюсь с намереньем. Тогда это дело троякое. Одно, я его сделал, другое — привел в исполненье, третье — совершил. С намереньем она, значит, и утопилась.

Второй могильщик.

Ишь ты как, кум гробокопатель...

Первый могильщик.

Нет, без смеху. Вот тебе, скажем, вода. Хорошо. Вот, скажем, человек. Хорошо. Вот, скажем, идет человек к воде и топится. Хочешь не хочешь, а он идет, вот в чем суть. Другой разговор вода. Ежели найдет на него вода и потопит, он своему концу сторона. Стало быть, кто в своей смерти неповинен, тот своей жизни не губил.

Второй могильщик.

Это по какой же статье?

Первый могильщик.

О сысках и следствиях.

Второй могильщик.

Хочешь знать правду? Не будь она дворянкой, не видать бы ей христианского погребенья.

Первый могильщик.

Верно твое слово. То-то и обида. Чистая публика топись и вешайся сколько душе угодно, а наш брат, прочий верующий, и не помышляй. Ну да ладно. Пора и за лопату. А насчет дворян, — нет стариннее, чем садовники, землекопы и могильщики. Их звание от самого Адама.

Второй могильщик.

Разве он был дворянин?

Первый могильщик.

Он первый носил ручное оружие.

Второй могильщик

Полно молоть, ничего он не носил.

Первый могильщик.

Да ты язычник, что ли? Как ты понимаешь Священное писание? В Писании сказано: «Адам копал землю». Что ж он копал ее голыми руками? Ну вот тебе еще вопрос. Только ты отвечай впопад, а то смотри...

Второй могильщик.

Валяй спрашивай.

Первый могильщик.

Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника?

Второй могильщик.

Строитель виселиц. Это помещение перестаивает всех нахлебников.

Первый могильщик.

Ей-богу, умница. Виселица — это хорошо. Но только смотря для кого. Хорошо для того, чье дело плохо. Ты сказал плохо, будто виселица крепче церкви. Вот виселица для тебя и хороша. Давай сначала, только теперь спрашивай ты.

Второй могильщик.

«Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника?»

Первый могильщик.

Вот и говори кто, и отвяжись.

Второй могильщик

А вот и скажу.

Первый могильщик.

Ну?

Второй могильщик.

Не могу знать кто.

(Входят Гамлет и Горацио в некотором отдалении.)

Первый могильщик.

Не надсаживай себе этим мозгов. Сколько осла ни погоняй, он шибче не пойдет. В следующий раз, спросят тебя эту же вещь, — отвечай: могильщик. Его дома простоят до второго пришествия. Ну да ладно. Сбегай, брат, к Иогену и принеси-ка мне шкалик.

(Второй могильщик уходит.)
(Копает и поет.)

Не чаял в молодые дни
Я в девушках души
И думал, только тем они
Одним и хороши.

Гамлет.

Неужели он не сознает рода своей работы, что поет за рытьем могилы?

Горацио.

Привычка ее упростила.

Гамлет.

Это естественно. Рука чувствительна, пока не натрудишь.

Первый могильщик.

(Поет.)

Но тихо старость подошла

И за руку взяла,
И все умчалось без следа
Неведомо куда.
(Выбрасывает череп.)

Гамлет.

В этом черепе был когда-то язык, он умел петь. А этот негодяй шмякнул его óбземь, точно это челюсть Каина, который совершил первое убийство. Возможно, голова, которою теперь распоряжается этот осел, принадлежала какому-нибудь политику, который собирался перехитрить самого господа-бога. Не правда ли?

Горацио.

Возможно, милорд.

Гамлет.

Или какому-нибудь придворному. Он говаривал: «С добрым утром, светлейший государь. Как изволите здравствовать?» Его звали князь такой-то и такой-то, и он нахваливал князю такому-то его лошадь, в надежде напроситься на подарок. Не правда ли?

Горацио.

Правда, принц.

Гамлет.

Да, вот именно. А теперь он с княгиней Нéжитью без челюстей, и церковный сторож бьет его по скулам лопатой. Поразительное превращенье, если б только можно было подсмотреть его тайну. Стоило ли давать этим костям воспитание, чтобы потом играть ими в бабки? Мои начинают ныть при мысли об этом.

Первый могильщик.
(Поет.)

Бери лопату и кирку,
И новый саван шей
И рой могилу старику
На водворенье в ней.
(Выбрасывает другой череп.)

Гамлет.

Вот еще один. Почему не быть ему черепом законника? Где теперь его крючки и извороты, его уловки и умствованья, его казуистика? Отчего принимает он подзатыльники заступом от этого грубияна, и не привлекает его за оскорбленье действием? Гм! В свое время это мог быть крупный скупщик земель, погрязший в разных закладных, долговых обязательствах, судебных протоколах и актах о взысканьи. В том ли пеня на пеню и взысканье по взысканью со всех его земельных оборотов, что голова его пенится грязью и вся набита землею? Неужели все его поручительства, простые и двусторонние, обеспечили ему только надел величиной в одну купчую крепость на двух листах бумаги? Одни его передаточные записи едва ли бы улеглись на таком пространстве. А разве сам владелец не вправе разлечься попросторней?

Горацио.

Нет, ни на одну пядь, милорд.

Гамлет.

Кажется, ведь пергамент выделывают из бараньей кожи?

Горацио.

Да, принц, а также из телячьей.

Гамлет.

Ну так бараны и телята — те, кто ищет в этом обеспеченья. Я поговорю с этим малым. — Чья это могила, как тебя там?

Первый могильщик.

Моя, сэр.

(Поет.)

И рой могилу старику
На водворенье в ней.

Гамлет.

Верю, что твоя, потому что ты лжешь из могилы.

Первый могильщик.

А вы — не из могилы. Стало быть, она не ваша. А я — в ней и, стало быть, не лгу.

Гамлет.

Как же не лжешь? Торчишь в могиле и говоришь, что она твоя. А она для мертвых, а не для живых. Вот ты и лжешь, что в могиле.

Первый могильщик.

Эта ложь в могиле не останется. Она оживет и уйдет от меня к вам.

Гамлет.

Для какого мужа праведна ты ее роешь?

Первый могильщик.

Ни для какого.

Гамлет.

Тогда для какой женщины?

Первый могильщик.

Тоже ни для какой.

Гамлет.

Для кого же она предназначена?

Первый могильщик.

Для особы, которая, сэр, была женщиной, ныне же, царствие ей небесное, преставилась.

Гамлет.

До чего досконален, бездельник! С этим народом надо разговаривать с оглядкой, а то пропадешь от двусмыслиц. Клянусь богом, Горацио, за последние три года я заметил. Время так подвинулось, что мужики упираются носками в пятки дворян, не щадя подагры. — Давно ли ты могильщиком?

Первый могильщик.

Изо всех дней в году с того самого, как покойный король наш Гамлет одолел Фортинбраса.

Гамлет.

Сколько же этому будет теперь?

Первый могильщик.

Аль не знаете? Это всякий дурак знает. Это было как раз в тот день, когда родился молодой Гамлет, тот самый, что сошел теперь с ума и послан в Англию.

Гамлет.

Вот те на. Зачем же его послали в Англию?

Первый могильщик.

Как это зачем? За умом и послали. Пускай поправит. А не поправит, так там и это не беда.

Гамлет.

То есть как это?

Первый могильщик.

А так, что никто не заметит. Там все такие же сумасшедшие.

Гамлет.

Каким образом он помешался?

Первый могильщик

Говорят, весьма странным.

Гамлет.

Каким же именно?

Первый могильщик.

А таким, что взял и потерял рассудок.

Гамлет.

Да, но на какой почве?

Первый могильщик.

Да все на той же, на нашей датской. Я здесь тридцать лет при погосте, с малолетства.

Гамлет.

Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет?

Первый могильщик.

Да как сказать. Если он не протухнет заживо, — сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, то лет восемь девять продержится. Кожевник, этот — все девять с верностью.

Гамлет.

Отчего же этот дольше других?

Первый могильщик.

А видите, сударь, шкура-то у него так выдублена промыслом, что долго устоит против воды. А вода, будь вам ведомо, самый первый враг для вашего брата покойника, как помрете. Вот, например, еще череп. Этот череп пролежал в земле двадцать три года.

Гамлет.

Чей он?

Первый могильщик.

Одного шалопая окаянного, лучше не говорить. Чей бы вы думали?

Гамлет.

Не знаю.

Первый могильщик.

Чтоб ему пусто было, до чего это был чумовой сорванец! Бутылку ренского вылил мне раз на голову, что вы скажете. Этот череп, сэр, это череп Иорика, королевского скомороха.

Гамлет.

Этот?

Первый могильщик.

Этот самый.

Гамлет.

Дай взгляну.

(Берет череп в руки.)

— Бедняга Иорик! — Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумья, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. — Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? Где взрывы твоего заразительного веселья, когда со смеху покатывался весь стол? Ничего в запасе, чтоб позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление? Ну-ка ступай в будуар великосветской женщины и скажи ей, какою она будет, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим пророчеством. — Скажи мне одну вещь, Горацио.

Горацио.

Что именно, принц?

Гамлет.

Как ты думаешь, Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище?

Горацио.

Да, в точности.

Гамлет.

И так же вонял? Фу!

(Кладет череп наземь.)

Горацио.

Да, в точности, милорд.

Гамлет.

К каким низким надобностям нас могут приложить, Горацио! Что мешает вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом, вплоть до того, когда он идет на затычку бочки?

Горацио.

Это значило бы смотреть на вещи слишком предвзято.

Гамлет.

Ничуть не бывало. Напротив, это значило бы почтительно следовать за предметом, слушаясь одних вероятий, примерно, так: Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах — земля, из

земли добывают глину. Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки?

Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли
Торчит затычкою в щели.

Но тише! Станем дальше! Вон король.

(Входит шествие со священниками во главе, за которыми следует: тело Офелии, Лаэрт, провожатые, король, королева и их свита.)

Вон королева. Двор. Кого хоронят?
Как искажен порядок! Это знак,
Что мы на проводах самоубийцы.
Какой-то знатный. Станем в стороне
И поглядим.

(Отходит с Горацио в сторону.)

Лаэрт.

Что вы добавите из службы?

Гамлет.

Вот благородный юноша Лаэрт.

Лаэрт.

Что вы еще намерены добавить?

Первый священник.

В предписанных границах свой устав
Мы уж и так расширили. Кончина
Ее темна, и, не вмешайся власть,
Лежать бы ей в неосвященном месте
До гласа трубного. Взамен молитв
Ее сопровождал бы град каменьев.
А ей на гроб возложены венки,
И проводили с колокольным звоном
До изгороди.

Лаэрт.

Значит это все,
Что в вашей власти?

Первый священник.

Да, мы отслужили.
Мы осквернили бы святой обряд,
Когда б над нею реквием пропели,
Как над другими.

Лаэрт.

Опускайте гроб! —
Пусть из ее неоскверненной плоти
Взрастут фиалки! — Помни, грубый поп,
Сестра на небе ангелом зареет,
Когда ты в корчах взвоешь.

Гамлет.

То-есть как:

Офелия?!

Королева.

(Разбрасывает цветы.)

Сладчайшее сладчайшей.
Спи с миром. Я тебя мечтала в дом
Ввести женою Гамлета. Мечтала
Покрыть цветами брачную постель,
А не могилу.

Лаэрт.

Трижды тридцать казней
Свались втройне на голову того,
От чьих злодейств твой острый ум затмился.
Не надо. Погодите засыпать.
Еще раз заключу ее в объятья.

(Прыгает в могилу.)

Заваливайте мертвую с живым.
На ровном месте взгромоздите гору,
Которая превысит Пелион
И голубой Олимп.

Гамлет.

(Выступая вперед.)

Кто тут горюет
Так выспренно, что при его словах
Того гляди в блужданьи звезды станут
От жалости? К его услугам я,
Принц Гамлет Датский.

(Прыгает в могилу.)

Лаэрт.

Чтоб тебя, нечистый!

(Борется с ним.)

Гамлет.

Учись молиться. Горла не дави.
Я не горяч, но я предупреждаю,
Отчаянное что-то есть во мне.
Ты, право, пожалеешь. Руки с горла!

Король.

Разнять их!

Королева.

Гамлет, Гамлет!

Все.

Господа!

Горацио.

Принц, успокойтесь.

(Их разнимают, и они выходят из могилы.)

Гамлет.

За причину спора
Я с ним согласен драться до конца,
И не уймусь, пока мигают веки.

Королева.

Какого спора, сын мой?

Гамлет.

Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев
И вся любовь их не чета моей.
Скажи, на что ты в честь ее способен?

Король.

Он вне себя.

Королева.

Не трогайте его.

Гамлет.

Я знать хочу, на что бы ты пустился?
Рыдал? Рвал платье? Дрался б? Голодал?
Пил уксус? Крокодилов ел? Все это
Могу и я. Ты слезы лить пришел?
В могилу прыгать мне на посмеянье?
Живьем зарытым быть? Могу и я.
Ты врал про горы? Миллионы акров
Нам на курган, чтоб солнце верх сожгло
И в бородавку превратилась Осса!
Ты думал глоткой взять? Могу и я.

Королева.

Все это взрыв безумья. С ним припадок.
Немного переждать, и он опять
Притихнет, как голубка над птенцами,
И сложит крылья.

Гамлет.

Надо объяснить,
За что вы так со мной небрежны, сударь?
Ведь я любил вас.— Впрочем, все равно:
Хоть выбейся из силы Геркулес,
Как волка ни корми, он смотрит в лес.

(Уходит.)

Король.

Побудьте с ним, пожалуйста, Гораций.

(Горацио уходит.)

(Лаэрту.)

Припомните вчерашний разговор
И потерпите. Все идет к развязке.—
Гертруда, пусть за принцем поглядят.—
Мы здесь живой ей памятник поставим,

Терпеть еще недолго. А потом
Зато тем безмятежнее вздохнем.
(Уходят.)

СЦЕНА II

Там же. Зал в замке. Входят Гамлет и Горацио.

Гамлет.

Как будто всё. Два слова о другом.
Но хорошо ли помнишь ты событья?

Горацио.

Еще бы, принц.

Гамлет.

Мне не давала спать
Какая-то борьба внутри. На койке
Мне было, как на нарах в кандалах.
Я быстро встал. Да здравствует поспешность!
Как часто нас спасала слепота,
Где дальновидность только подводила.
Есть, стало быть, на свете божество,
Устраивающее наши судьбы
По-своему.

Горацио.

На наше счастье, есть.

Гамлет.

Я вышел из каюты. Плащ накинул,
Пошел искать их, шарю в темноте,
Беру у них пакет и возвращаюсь.
Храбрясь со страху и забывши стыд,
Срываю прикрепленные печати
И, венценосной подлости дивясь,
Читаю сам, Горацио, в приказе,
Какая я зараза и гроза
Для Дании и Англии. Другими
Словами: как, по вскрытии письма,
Необходимо, топора не правя,
Мне голову снести.

Горацио.

Не может быть!

Гамлет.

Вот предписанье. После прочитаешь.
Сказать ли, как я дальше поступил?

Горацио.

Пожалуйста.

Гамлет.

Опутанный сетями,
И роли я себе не подыскал,—

Уж мысль играла. Новый текст составив,
Я начисто его переписал.
Когда-то я считал со всею знатью
Хороший почерк пошлою чертой,
И сил не пожалел его испортить,
А как он выручил меня в беде!
Сказать, что написал я?

Горацио.

О, конечно.

Гамлет.

Устами короля указ гласил:
Ввиду того, что Англия наш данник
И наша дружба пальмою цветет,
И нас сближает мир в венке пшеничном,
А также и в виду других причин,—
Здесь следовало их перечисленье, —
Немедля по прочтении сего
Подателей означенной бумаги
Предать на месте смерти без суда
И покаянья.

Горацио.

Где печать вы взяли?

Гамлет.

Ах, мне и в этом небо помогло.
Со мной была отцовская, с которой
Теперешняя датская снята.
Я лист сложил, как тот, скрепил печатью
И положил за подписью назад,
Как тайно подмененного ребенка.
На следующий день был бой морской.
Что было дальше, хорошо известно.

Горацио.

Так Гильденстерн и Розенкранц плывут
Себе на гибель?

Гамлет.

Сами добивались.
Меня не мучит совесть. Их конец —
Награда за пронырство. Подчиненный
Не суйся между высшими в момент,
Когда они друг с другом сводят счеты.

Горацио.

Каков король-то!

Гамлет.

Вот и посуди,
Как я взбешен. Ему, как видишь, мало,
Убив отца и опозорив мать,
Быть мне преградой на пути к престолу.
Еще он должен удочку с крючком

На жизнь мою закидывать украдкой.
Так разве это не прямой мой долг
С ним рассчитаться этою рукою,
И разве не позор давать вреду
Въедаться глубже?

Горацио.

Скоро он узнает
Из Англии про новый оборот.

Гамлет.

Ну да. А остающееся время
Пока — мое, хотя и вся-то жизнь
Не долее, чем сосчитать до разу.
Но я стыжусь, Горацио, что так
С Лаэртом нашумел. В его несчастьях
Я вижу отражение своих,
И помирюсь с ним. Но зачем наружу
Так громко выставлять свою печаль?
Я этим возмутился.

Горацио.

Тише. Кто там?

(Входит Озрик.)

Озрик.

Со счастливым возвращеньем в Данию, ваше высочество!

Гамлет.

Благодарю покорно, сэр. —

(Вполголоса Горацио.)

Знаешь ты эту мошку?

Горацио.

(Вполголоса Гамлету.)

Нет, милорд.

Гамлет.

(Вполголоса Горацио.)

Твое счастье. Знать его не заслуга. У него много земли, и плодородной. Поставь скотину царем скотов, — его ясли будут рядом с королевскими. Это сущая галка, но, как я сказал, по количеству грязи в ее собственности — крупнопоместная.

Озрик.

Милейший принц, если бы у вашего высочества нашлось время, я бы вам передал что-то от его величества.

Гамлет.

Сэр, я это запечатлею со всей бодростью духа. Но пользуйтесь шляпой по принадлежности. Ее место на голове.

Озрик.

Ваше высочество, благодарю вас. Очень жарко.

Гамлет.

Нет, поверьте, очень холодно. Ветер с севера.

Озрик.

Действительно, несколько холодновато, ваша правда.

Гамлет.

И все же, я бы сказал, страшная жара и духота по моей комплекции.

Озрик.

Принц, — неописуемая. Такая духота, что просто не подберу слова. Однако, принц, по приказу его величества довожу до вашего сведенья, что он держит за вас пари на большую сумму.

Гамлет.

Тем не менее прошу вас...

(Принуждает его надеть шляпу.)

Озрик.

Нет, оставьте, уверяю вас. Мне так лучше, уверяю вас. Сэр, на-днях к здешнему двору прибыл Лаэрт, настоящий джентльмен, полный самых законченных достоинств, обаятельный в обращении и прекрасной наружности. Не шутя, если говорить картинно, это справочник и указатель благородства, ибо в нем заключено все, что может нравиться светскому человеку.

Гамлет.

Сэр, он ничего не потерял в вашем определеньи. Хотя, знаю я, описанье его по частям затруднило бы память, заставив ее едва тащиться за его достоинствами, однако, скажу с искренностью прославителя, я считаю его существом высшей породы и такой первозданности, что, по совести, с ним сравнимо только его собственное отраженье, а его подражатели только его слабые тени, не больше.

Озрик.

Ваше высочество говорите о нем очень верно.

Гамлет.

Куда вы гнете, сэр? Зачем оскверняем мы этого джентльмена своим грубым дыханьем?

Озрик.

Сэр?

Горацио.

Нельзя ли сказать все это попрямее. Право, постарайтесь, милостивый государь.

Гамлет.

К чему приплели вы этого джентльмена?

Озрик.

Лаэрта?

Горацио.

(Вполголоса Гамлету.)

Запас его красноречья изсяк. Все золотые слова истрачены.

Гамлет.

Да, Лаэрта, сэр.

Озрик.

Я знаю, от вас не скрыто...

Гамлет.

Я хотел бы, чтобы это не было скрыто от вас, хотя и в таком случае я б ничего не выиграл. Итак, сэр?

Озрик.

Я знаю, от вас не скрыто совершенство, с каким Лаэрт...

Гамлет.

Не смею судить, чтобы не быть вынужденным с ним мериться. Знать хорошо другого значит знать самого себя.

Озрик.

Речь, сударь, о совершенстве, с каким он владеет оружием. По общему убеждению, ему в этом нет равных.

Гамлет.

Какое у него оружие?

Озрик.

Рапира и кинжал.

Гамлет.

Оружье двойное. Что же дальше?

Озрик.

Король, сэр, держит с ним пари на шесть арабских коней, против которых тот, как я слышал, прозакладывал шесть французских рапир и кинжалов с их принадлежностями, как-то: кушаками, портупеями и так далее. Три пары гужей, действительно, сказочной красоты и очень подходят к рукоятям. Чрезвычайно изящные гужи, с остроумными украшениями.

Гамлет.

Что вы называете гужами?

Горацио.

(Вполголоса Гамлету.)

Я предчувствовал, что дело не обойдется без пояснений

Озрик.

Гужи, сэр, — это ремешки к портупеям.

Гамлет.

Выраженье больше шло бы к делу, если бы вместо шпаг мы носили пушки. До тех пор пусть это будут портупеи. Но не будем отвлекаться. Итак, шесть арабских коней против шести французских шпаг, их принадлежностей и трех пар гужей с остроумными украшеньями. За что же все это прозакладовано, как вы сказали?

Озрик.

Король, сэр, утверждает, что из двенадцати соединений его перевес над вами не превысит трех ударов. А он вызывается на девять из двенадцати. Это можно было бы немедленно проверить, если бы ваше высочество соблаговолили ответить.

Гамлет.

А если я отвечу: нет?

Озрик.

Я хотел сказать, милорд: если вы ответите принятьем вызова на состязанье.

Гамлет.

Сэр, я буду прогуливаться по залу. Если его величеству угодно, сейчас время моего отдыха. Пусть принесут рапиры. Если молодой человек согласен и король останется при своем намереньи, я постараюсь, если смогу, выиграть его пари. Если же нет, мне достанется только стыд и неотбитые удары противника.

Озрик.

Можно ли именно так передать ваши слова?

Гамлет.

Именно так, сэр, с прикрасами, какие вам заблагорассудятся.

Озрик.

Поручаю себя в своей преданности вашему высочеству.

Гамлет.

Честь имею, честью имею...

(Озрик уходит.)

Хорошо делает, что поручает.. Никто другой за него бы не поручился.

Горацио.

Побежал, нововылупленный, со скорлупой на головке.

Гамлет.

Он, верно, и материнской груди не брал иначе, как с комплиментами. Таковы они все, он и ему подобные, которые кружат головы нынешним людям. Они подхватили общий тон и преобладающую внешность, род бродильного начала, которое выносит их на поверхность, среди невообразимого водоворота вкусов. А подуть на поверку, пузырей как не бывало.

(Входит лорд.)

Лорд.

Милорд, его величество государь посылал к вам с приветом молодого Озрика, который сообщил, что вы ждете его в зале. Государь послал узнать, остаетесь ли вы при желании состязаться с Лаэртом или думаете отложить.

Гамлет.

Я верен своим решеньям. Они применяются к желаньям короля. Была бы его воля, а я в долгу не останусь. Сейчас или когда угодно, лишь бы я чувствовал себя так же хорошо, как теперь.

Лорд.

Тогда король, королева и остальные сейчас пожалуют вниз.

Гамлет.

В добрый час.

Лорд.

Королева желала бы, чтобы перед состязаньем вы по душам поговорили с Лаэртом.

Гамлет.

Она учит меня добру.

(Лорд уходит.)

Горацио.

Вы проиграете заклад, милорд.

Гамлет.

Не думаю. С тех пор, как он уехал во Францию, я постоянно упражнялся. А тут еще льгота в мою пользу. Я выиграю. Но не поверишь, как нехорошо на душе у меня. Впрочем, пустое.

Горацио.

Нет, как же, добрейший принц!

Гамлет.

Совершенные глупости. И, вместе с тем, род предчувствия, которое остановило бы женщину.

Горацио.

Если у вас душа не на месте, слушайтесь ее. Я пойду к ним навстречу и предупрежу, что вам не по себе.

Гамлет.

Ни в коем случае. Надо быть выше суеверий. Без божьей воли не пропасть и воробью. Если судьба этому сейчас, значит не потом. Если не потом, значит сейчас. Если же этому сейчас не бывать, то все равно оно неминуемо. Быть наготове, в этом все. Раз никому неизвестно, с чем когда-нибудь придется расставаться, отчего не расстаться с этим заблаговременно? Будь что будет.

(Входят король, королева, Лаэрт, Озрик, свита, слуги с рапирами и пр.)

Король.

Стой, Гамлет. Дай соединю вам руки.
(Вкладывает руку Лаэрта в Гамлетову.)

Гамлет.

Прошу прощенья, сэр. Я был неправ.
Но вы, как дворянин, меня простите.
Собравшиеся знают, да и вам
Небезызвестно, что за наказанье
С моим рассудком. Все, чем мог задеть
Я ваши чувства, честь и положенье,
Прошу поверить, сделала болезнь.
Ответственен ли Гамлет? Нет, не Гамлет.
Раз Гамлет невменяем, и нанес
Лаэрту оскорбленье, оскорбленье
Нанес не Гамлет. Гамлет — не при чем.
Кто ж этому виной? Его безумье.
А если так, то Гамлет сам истец,
И Гамлетов недуг — его обидчик.

Прошу во всеуслышанье при всех
Сложить с меня упрек в предумышленьи.
Пусть знают все: я не желал вам зла.
Ошибкой я пустил стрелу над домом
И ранил брата.

Лаэрт.

В глубине души,
Где ненависти, собственно, и место,
Я вас прощу. Иное дело честь.
Тут свой закон, и я прощать не вправе,
Пока подобных споров знатоки
Меня мириться не уполномочат.
Во всяком случае до той поры
Ценю предложенную вами дружбу
И дружбой отплачу.

Гамлет.

Душевно рад,
И с легким сердцем выхожу к барьеру.
Приступим. — Где рапиры?

Лаэрт.

Мне одну.

Гамлет.

Я фольгой буду вам служить. В сравненьи
Со мной ваша выучка, Лаэрт,
Звездою засверкает.

Лаэрт.

Вы смеетесь.

Гамлет.

На отсеченье руку дам, что нет.

Король.

Раздайте им рапиры, Озрик. — Гамлет,
Известны вам условия?

Гамлет.

Да, милорд.
Вы ставите на слабость против силы.

Король.

Неправда. Я обоих вас видал.
Хоть он искусней, да дает нам фору.

Лаэрт.

Другую. Эта слишком тяжела.

Гамлет.

Мне эта по руке. — Равны ли обе?

Озрик.

Да, милый принц.

(Они готовятся к бою.)

Король.

Вина сюда на стол. —
При первом и втором его ударе
И отраженьи третьего палить
В честь Гамлета со всех бойниц из пушек.
Король его здоровье будет пить.
Сейчас в бокал жемчужину он бросит
Ценнее той, которою в венце
Четыре датских короля гордились.
Подайте кубки мне. Пусть гром литавр
Разносит трубам, трубы — канонирам,
Орудья — небу, небеса земле
Тост короля за Гамлета. — Начнемте.
Вниманье, судьи. Просим не зевать.

Гамлет.

Готовьтесь.

Лаэрт.

Бьюсь.

(Бьются.)

Гамлет.

Удар.

Лаэрт.

Отбито.

Гамлет.

Судьи!

Озрик.

Удар, удар всерьез.

Лаэрт.

Возобновим.

Король.

Стой, выпьем. — За твое здоровье, Гамлет.
Жемчужина твоя. — Вот твой бокал.

(Трубы и пушечные выстрелы за сценой.)

Гамлет.

Не время пить. — Начнемте. Защищайтесь.

(Бьются.)

Опять удар. Не правда ли?

Лаэрт.

Удар.
Не отрицаю.

Король.

Сын наш побеждает.

Королева.

Он дышит тяжело от полноты.
На, Гамлет, мой платок. Какой ты потный.
Я, королева, пью за твой успех.

Гамлет.

О, матушка...

Король.

Не пей вина, Гертруда!

Королева.

Я пить хочу. Прошу, позвольте мне.

Король.

(В сторону.)

Бокал с отравой выпила! Пропала!

Гамлет.

Нет, матушка, мне рано с вами пить.

Королева.

Дай оботру лицо тебе от пота.

Лаэрт.

А ну теперь ударю я.

Король.

Едва ль.

Лаэрт.

(В сторону.)

Как совести все это не противно.

Гамлет.

На этот раз, Лаэрт, без баловства.
Я попрошу вас нападать, как надо.
Боюсь, вы лишь играли до сих пор.

Лаэрт.

Вы думаете? Ладно.

(Бьются.)

Озрик.

Оба мимо.

Лаэрт.

Так вот же вам!

Лаэрт ранит Гамлета. Затем, в схватке, они меняются рапирами и Гамлет ранит Лаэрта.)

Король.

Разнять их. Так нельзя.

Гамлет.

Нет, сызнова.

(Королева падает.)

Озрик.

На помощь к королеве!

Горацио.

Они в крови.— Откуда кровь, милорд?

Озрик.

Откуда кровь, Лаэрт?

Лаэрт.

Кулик попался.
Я ловко сети, Озрик, расставлял
И угодил в них за свое коварство.

Гамлет.

Что с королевой?

Король.

Обморок простой
При виде крови.

Королева.

Нет, неправда, Гамлет. —
Питье, питье! — Отравлена! — Питье!

(Умирает.)

Гамлет.

Средь нас измена! — Затворите двери!
Найти концы!

Лаэрт.

Они в твоих руках.
Ты умерщвлен. Спасти тебя нет средства.
Всей жизни у тебя на полчаса.
Улики пред тобой. Рапира эта
В отраве и не предохранена.
Я гибну сам за подлость и не встану.
Нет королевы. Больше не могу.
Всему король, король всему виновник.

Гамлет.

Как, и рапира с ядом? Так ступай,
Отравленная сталь, по назначенью!

(Закалывает короля.)

Все.

Предательство!

Король.

На выручку, друзья!
Еще спасенье есть. Я только ранен!

Гамлет.

Так на же, самозванец-душегуб.
Глотай свою жемчужину в растворе!
Марш к матери моей!

(Король умирает.)

Лаэрт.

И — поделом:
Напиток был его изготовленья.
Ну, честный Гамлет, а теперь давай
Прощу тебе я кровь свою с отцовой,
Ты ж мне — свою!

(Умирает.)

Гамлет.

Прости тебя господь.
Я тоже вслед. Все кончено, Гораций.
Простимся, королева-простота! —
А вы, немые зрители финала,
Ах, если б только время я имел, —
Но смерть — исправный вахтер и не терпит
Отлыниванья, — я б вам рассказал —
Да пусть и так, все кончено, Гораций.
Ты жив. Расскажешь правду обо мне
Непосвященным.

Горацио.

Этого не будет.
Я не датчанин, — римлянин скорей.
Здесь яд остался.

Гамлет.

Если ты мужчина,
Дай кубок мне. Отдай его. — Каким
Бесславием покроюсь я в потомстве,
Покуда все в неясности кругом.
Нет, если ты мне друг, то ты на время
Поступишься блаженством. Подыши
Еще трудами мира и поведай
Про жизнь мою.

(Марш вдали и выстрелы за сценой.)

Что за пальба вдали?

Озрик.

Послам английским, проходя с победой
Из Польши, салютует Фортинбрас.

Гамлет.

Гораций, я кончаюсь. Сила яда
Глушит меня. Уже меня в живых
Из Англии известья не застанут.
Предсказываю: выбор их падет
На Фортинбраса. За него мой голос.
Скажи ему, как это все стряслось,
И что к чему. Дальнейшее молчанье.

(Умирает.)

Горацио.

Разбилось сердце редкостное.— Спи,
В полете хором ангелов качаем. —
Кто это с барабанами сюда?

(Марш за сценой. Входит Фортинбрас и английские послы с барабанным боем, знаменами и свитой.)

Фортинбрас.

Где место происшествия?

Горацио.

Какого?
Печали небывалой? Это здесь.

Фортинбрас.

Стон истребленья жив еще в останках.
В чертогах смерти, видно, пир горой,
Что столько царских трупов без разбору
Нагромоздила.

Первый посол.

Просто страх берет.
Английские известья опоздали.
Закрылся слух того, кто был бы рад
Услышать, что приказ его исполнен
И Розенкранца с Гильденстерном нет.
Кто нам спасибо скажет?

Горацио.

Он — едва ли.
Его б он и при жизни не сказал.
Он никогда не требовал их смерти.
Но раз уж вы сошлись здесь на крови
Дорогами из Англии и Польши,
То прикажите положить тела
Пред всеми на виду, и с возвышенья
Я всенародно расскажу про все
Случившееся. Расскажу о страшных,
Кровавых и безжалостных делах,
Превратностях, убийствах по ошибке,
Наказанном двуличьи, и к концу
О кознях пред развязкой, погубивших
Виновников. Вот что я расскажу
Вам полностью.

Фортинбрас.

Скорей давайте слушать,
И созовем для этого совет.
Не в добрый час я улучаю счастье.
На этот край есть право у меня.
Я предъявлю его.

Горацио.

Я и об этом
Имею слово от лица того,
Чей голос есть судьба голосованья.
Но поспешим, пока умы в чаду
Не натворили новых беззаконий.

Фортинбрас.

Пусть Гамлета к помосту отнесут,
Как воина, четыре командира.

Будь он на царстве, он бы оправдал
Свой сан по-царски. Перенос творите
С военной музыкой, по всем статьям
Церемоньяла. Уберите трупы.
Средь поля битвы мыслимы они,
А здесь не к месту, как следы резни.
Команду к канонаде.

(Похоронный марш.
Уходят, унося трупы, после чего раздается пушечный залп.)

О. Неклюдова

ШАКАЛ

Повесть

1

Пока он был маленький, все удивлялись, какой это был мирный и кроткий ребенок. Он не кричал по ночам, не хворал поносами. У него не было рахита. Это был крепкий кудрявый человечек с серьезным лицом. Так рос он до пяти лет.

Первым резким протестом против действительности был странный выпад: в отсутствие родителей он залил кровать матери керосином. За это был бит. Клок кудрявых волос остался в материнском кулаке. Так в семье началась вражда. В семь лет он стал известен всей улице, на которой жил. Родители прятали детей, кошки кидались в подворотню, собаки поджимали хвосты, когда показывалась издали фигура маленького и злого человечка, вооруженного палками и камнями. Ему дали кличку «Шакал». Так совершилось превращение Кости Лапонина в хищного зверя.

Он был еще очень мал, когда перед ним встала проблема добывания корма. Родители с утра уходили из дому. И Шакал, безрезультатно обшарив буфет, отправлялся на промысел.

— Я пошел, бабка, — говорил он соседке, деловито подтягивая штаны.

Соседка кивала утвердительно. Она ровно ничего не имела против того, чтобы Шакал шел на промысел. Это была чужая бабка, соседка Матвевна. Она выходила на крыльцо и, глядя вслед уходящему Шакалу, щурилась на солнце, прикрыв глаза рукой. Шакал возвращался часа через три и доставал из своего мешка: хлеб, и куски сахара, и сухую воблу, и кусочек сыра.

— Ставь чайник, бабка, — говорил он и усаживался степенно за стол.

Бабка ставила чайник и угощалась вместе с Шакалом, держа в руках блюдце с голубой каймой и глядя неодобрительно в сторону. Они были в общем приятелями, но иногда ссорились. Шакал кидался драться, а бабка верещала. Шакал ни с кем не стеснялся драться, кулаки у него были крепкие.

Когда ему исполнилось восемь, мать повела его в школу. Шакал шумно протестовал. И вечером сердитая учительница привела его домой:

— Невозможный мальчик. Все уроки сорвал. Все перемазал чернилами. Соседа ударил перочинным ножом.

Опять били Шакала. Опять на потных материнских пальцах остались колечки его кудрей.

Слава Шакала росла с годами. Иногда мальчик смирнел на целые месяцы, и все начинали думать, что он исправляется. Однако вскоре он еще более бурно проявлял себя.

У Шакала была сестра Зина, на два года старше его, бойкая и крикливая, как мать. Конечно, они дрались. Отец любил выпить. За это получал от матери встрепку. Так было у Шакала в доме. И он охотно бежал на улицу, где его поджидали отважные, на все готовые сверстники. Они делали набеги на чужие фруктовые сады, потаскивали, что плохо лежит.

В школе, где учился Шакал, директором сидела плоская, сухая женщина, — товарищ Постнова. Год сидела, и два, и три. От жалоб на Шакала отмахивалась, как от мух.

Когда Шакалу исполнилось двенадцать лет, он был в четвертом классе. Однажды он встретил девочку с корзиной, в которой лежали породистые щенята. Один был больше других, черный. Шакал решил дать девочке в зубы и унести большого щенка. Но девочка улыбнулась ему и бесстрашно сказала:

— Мальчик, хочешь щенка?

— Да, — сказал Шакал, — большого. — И щенок стал принадлежать Шакалу. Он назвал его Перуном.

Когда Шакал принес щенка домой, мать крикнула:

— Сейчас вон, зараза чортова! Чтоб я не видала ни тебя, ни твоей собаки!

Шакал спасался у друга, Борьки Рыжего, на чердаке или слонялся по улицам, нося за пазухой щенка. Один раз, вернувшись домой, он улегся на кровать вместе с Перуном.

— Вон из мово дома... — начала было мать.

— Убирайся сама, — ответил Шакал. А Перун зарычал, оскалив зубы.

Из школы получались сведения: Шакал не учится, прогуливает. Мать пробовала подкупать его деньгами. Утром, разбуженный со скандалом, Шакал получал рубль и давал обещание быть в школе. Но он брал рубль и не ходил в школу. Мать жаловалась на свою беспомощность, ходила к соседям плакать, дралась.

Однажды в школу приехал новый преподаватель. Все видели, как шел он с вокзала. У него был большой клетчатый чемодан, старинный, должно быть, тетушки какой-нибудь. Он останавливался, спрашивая улицу, и смущенно протирал очки. Шакал тоже его видел и решил, что на уроках покажет ему себя.

2

На дворе густо растет лебеда. Бродят куры. У Лапониных гости. Отец Шакала пьян, и суровая жена не пускает его в дом. Она обещала: «Напьешься, сниму туфлю, накладу и выгоню».

Отец сидит на траве, и куры доверчиво его обступили. Шакал замечает, что у отца жалкое лицо.

— Степа, — говорит Шакал, — он с детства привык звать отца Степой, — пойди проспись.

Шакалу жалко отца. Но пьяный отец обидчив:

— Я тебе не Степа, щенок. Я твой отец единственный... кормилец и воспитатель.

Из дома доносятся шум, веселые разговоры и пение патефона. Степану очень хочется туда, но жена не пускает. Перун ласкается к Степану. Перуну все равно, что Степан пьян. И Степан орошает пыльную шерсть Перуна пьяными слезами.

Смеркается. Шакалу скучно.

Патефон сменила гитара. На крыльце старушка Матвевна, раскисшая от выпитой водки и воспоминаний, поет:

Ночь навевала прохладу,
Природа в затишье дремала,
В аллее зеленого сада
Я друга себе поджидала.

Ей хочется поделиться переполнившими ее чувствами. Она обращается к Шакалу, который бродит без цели, злой.

— Костенька, — в голосе ее смешная, противная нежность, — в молодости я красивая была. У Шаляпина жила в кухарках. Любил меня, голубчик. «Матвевна, — говорил он, — ты мне истинный друг».

И она льет пьяные старческие слезы.

В небе появляется луна, большая и рыжая. И луна тоже кажется Шакалу пьяной распухшей рожей. Шакалу хочется бежать из дома.

Он идет по улице. Здесь темные прохладные кусты и тишина. Навстречу ему кто-то идет. Человек спотыкается в темноте. Луна отражается в круглых стеклах его очков.

— Вы новый учитель? — спрашивает Шакал.

— Да. Но откуда ты меня знаешь? — удивляется человек в очках. — Я ведь еще не был в школе.

— Ладно, скоро и вы меня узнаете, — загадочно говорит Шакал. Он дерзко оглядывает учителя.

Вот они и сюда доносятся звуки патефона. Это гавайская гитара. У нее вкрадчивый и льстивый голос.

3

В конце концов школа оставалась для Шакала непобежденным злом. В школу ходили и Степка, и Рыжий. Ходил и Шакал. Но к концу первой четверти он продавал все учебники. Шакал никого не уважал в школе. Там было казенно и скучно. На уроках ребята шумели, уроков многие не готовили. Были, конечно, девчонки, которые удавятся, но уроки приготовят. И сядут перед учителем, преданно глядя на него. Таких Шакал терпеть не мог. Он стрелял в них из резинки. Рыжему тоже не хотелось учиться, но окончательно они с Шакалом решили бросить эту волынку из-за «Волка». Так именовался старый и злой учитель русского языка. Он очень был похож на волка, на злого, голодного. Про него говорили, что когда он ходил с зонтиком, то нарочно держал его так, чтобы натыкались прохожие. Когда ребята делали набеги на его фруктовый сад, он бегал за ними с камнями. А сад у него был большой и тенистый. Вот как раз из-за него, из-за этого самого Волка, или, вежливее, Семена Семеновича Духосвятского, Рыжий и Шакал решили со школой покончить счеты.

Семен Семенович не переносил Шакала. И он был единственным человеком, которого Шакал побаивался. Как-то Семен Семенович задал на дом выписать сорок прилагательных мужского рода и все в родительном падеже. Шакал выписал восемь. В этот день он пошел в школу без скандала.

— Лапочкин, — вызвал его Семен Семенович.

Шакал вышел к доске и стал выписывать прилагательные. Он еще не дошел до восьмого, когда Семен Семенович вдруг огорошил его вопросом:

— А в каком падеже будет «Лапонин»?

В классе раздался чей-то угодливый смех.

Этого Шакал не выносил. Смеяться над собой он никому не позволит. Он побледнел от злости и бросил на пол тетрадь.

— Это не пройдет! — крикнул он запальчиво. — Я вам покажу смеяться! Я восемь выписал, и все правильно.

— Ого, — сказал Семен Семенович. — Да ты злой петух. А тетрадь у тебя грязная.

Он поднял тетрадь Шакала и разорвал ее пополам, а потом еще на четыре части. А на обложке тетради Шакалом был нарисован Пушкин. Тогда Шакал крикнул «Волк» и выбежал из класса. Семен Семенович затрясся от злости. Потом Шакала вызвали к директору. Постнова сидела у стола и что-то писала. Она была по-мужски стрижена. Около уха — жировая шишка. Ребята звали ее Сапогом, потому, что у нее были огромные ноги. Она взглянула на Шакала и, пожевав губами, заговорила. Шакал думал, что каждое слово она сначала прожевывает. То, что она говорит, никакого впечатления на Шакала не производит. И у ней самой очень равнодушное лицо. Ей, в сущности, все это совсем безразлично. Она обещает «выгнать» Шакала. «Приказываю» и «выгоню» ее любимые слова. Шакал уходит, сопровождаемый угрозами. Он не боится угроз, но ему очень жалко разорванную тетрадь, где он нарисовал Пушкина, и жалко восемь трудолюбиво списанных прилагательных.

4

В школе появился новый человек. Он был не худ и не толст. У него было румяное лицо и добродушные глаза, глядевшие через очки. Это был новый преподаватель естественных наук, Алексей Михайлович Лобов. Ему было двадцать восемь лет, но выглядел он старше, а когда смеялся, гораздо моложе. Смеха своего он, казалось, стеснялся, потому что, смеясь, закрывал рот рукой, точно хотел спрятать смех в кулак. Но, может быть, он делал это потому, что у него были скверные зубы.

Алексей Михайлович пришел в учительскую и оглядел всех, и все его оглядели. Решили: «невзрачен» — и успокоились. А он приступил к изучению окружающих.

Прежде всего бросился в глаза завуч Хмуров. Он сидел за столом и шопотом читал газету. Изредка бормотанье прерывалось хриплым куплетом: «Полковник Скалозуб, дурак и плут». Потом опять читал. У него обросшее лицо. Ребята дали ему прозвище «Пойди-умойся». Но этого еще не знал Алексей Михайлович.

К Хмурову подошла молодая учительница с испуганным и растерянным видом. Он, презрительно скривив губы, стал обучать ее «педагогической» тактике.

— Понимаешь, ты с ними слишком уж по-товарищески. Что за разговоры? Что за дружба? Ученик такой-то, отвечай — и кончено.

— Нет, — сказал Алексей Михайлович, — это хорошо, по-товарищески.

Он улыбнулся и сейчас же торопливо стер улыбку. Хмуров на него даже глаз не поднял, а у молодой учительницы вдруг от волнения по-

краснел кончик носа. Она стыдливо высморкалась и робко взглянула на Хмурова: «Вот видите».

Потом прозвонил звонок. Ребята ещё топтались в коридорах. Учителя вооружились журналами и разошлись по классам. У Алексея Михайловича первый урок был в пятом классе «Б». Он вошел. К потолку были привязаны жужжащие железные жуки. Жуки, лиловые от чернил. К их лапам были привязаны тряпки, с которых медленно капал чернильный дождь. Один мальчуган, высокий и смуглый, с густыми бровями, громко разговаривал с соседом, иронически поглядывая на Алексея Михайловича. Это был Лапонин.

— Я буду рассказывать, — сказал Алексей Михайлович. — Потише, Лапонин.

— Ладно, валяйте, — позволил Лапонин.

Некоторое время была тишина, а потом раздалось хрюканье. Это был опять Лапонин. Ребята объяснили:

— Шакал заболел свинкой, он не нарочно хрюкает.

— Молчите в тряпочку! — огрызнулся Шакал.

5

Костя дома, за столом. Часы выговаривают: куцы-пуцы. Над столом — висячая лампа, у стены — комод. Комод покрыт вязаной дорожкой, украшен нелепыми бумажными цветами в фарфоровой вазе, изображающей кошку голубого цвета. Над зеркалом засиженная мухами картина — девушка в молитвенной позе, с лубочно красивым лицом. Шакал ощущает эту нереальность. Он с ненавистью относится к девушке и однажды проткнул ей глаза.

Из окна виден закат, и Шакала охватывает беспокойство. Ему давно знакомо это ощущение. Он взял в руки ящик с красками. Это жалкая, тусклая акварель. Торопясь и волнуясь, он стал бросать мазки на бумагу. Но чудесная явь заката ушла. Остался сумрак. Перед Шакалом лист бумаги с грязными расплывшимися красками. На диване валялась Зина. В руках у нее была гитара. Она вызывающе пела: «Я убью ее, стерву рыжую, и опять в исправдом попаду».

6

Постнова очень недовольна новым преподавателем. Он какой-то нелепый, даже наивный. И он со странностями. На уроках ведет посторонние разговоры: кто из ребят что прочел да как понравилось. Если бы он был литератор — куда ни шло, но он биолог. Какое может иметь отношение «Легенда об Уленшпигеле» к зонтичным растениям? Однако ребята были другого мнения. Они повеселели. Они стали лучше сидеть на уроках, и у них с Алексеем Михайловичем завелись какие-то тайные дела. Чего раньше никогда не бывало, ребята стали после уроков сходиться в пионерскую комнату. Приходил туда и Алексей Михайлович. Он был большой любитель шахмат и заразил этой страстью ребят. Собирались ставить комедию Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Говорили о прочитанных книгах. Толя Сомов прочитал «Уленшпигеля». «Там написано, что когда один порошок выпьешь, то заснешь, и во сне увидишь, что с тобой случится. Увидишь такое животное, которое

посылало на землю снег, бураны. Увидишь короля весны. Тиль был герой. Он освободил от рабства Фландрию. Мне тоже хотелось бы быть героем». Вот, что рассказал Толя об «Уленшпигеле». Ни Шакал, ни Рыжий не приходили играть в шахматы.

— Ты дружен с Лапониным? — спросил однажды Алексей Михайлович Толю Сомова.

— Нет, но я хотел бы с ним дружить.

Алексей Михайлович удивился. Толя, такой смирный парень, хотел бы дружить с Лапониным!

— Он очень сильный и умный. Потом он умеет организовывать ребят.

Алексей Михайлович очень серьезно задумался. Он слышал также, что Шакал рисует. Однажды ребята даже показали ему один рисунок Шакала. Это был демон на скале. У него была огромная голова, и во все стороны торчали волосы. Но Алексей Михайлович понял, что Шакал не просто озорник.

Уже наступала весна, и начинались испытания. Алексей Михайлович был назначен ассистентом в седьмом классе «А», к Духосвятскому. Сдавали литературу.

Духосвятский огорашивал ребят бессмысленной старческой болтливостью:

— Говори, что же ты стоишь?

Но едва ученик открывал рот, на него сыпались бессмысленные и обидные шутки.

Слово «характеристика» приводит Духосвятского в негодование.

— Брось. Я это зачеркну, — говорит он ученику Половцеву. — Ха-рак-те-рис-ти-ка. Ты не сломал язык? Покажи. Чего ты боишься? Ты этого слова не употребляй. Ты его никогда в жизни не поймешь. Мудрено. Научно. Тебе до него не дорасти, нет. И не пробуй.

— Коваленко к Беликову нехорошо относится. Он его обзывает всякими словами. — На лице Половцева написана покорность судьбе. Духосвятский громко вздыхает.

— Коваленко Беликова обзывает разными словами...

— Да что ты вперся в это слово — «обзывает» да «обзывает», скажи как-нибудь иначе.

П о л о в ц е в: — Я не знаю, как еще сказать.

Д у х о с в я т с к и й: — Каковы выводы рассказчика?

П о л о в ц е в: Таких человеков в футлярах у нас еще много.

Отвечает Петрова историю написания романа «Мать».

— Горький написал жизнь рабочей слободки, — говорит Петрова, — в городе Миргороде.

Д у х о с в я т с к и й: — Нет. В Миргороде, кроме гусей и свиней, ничего не было. Ну, скажи, каков идейный смысл «Песни о Буревестнике?»

Молчание. Петрова ломает пальцы.

— Ну, скажи хоть, большая она или маленькая? — умоляет Духосвятский. Он изумлен или делает вид, что изумлен ответами учеников. Обращается к Алексею Михайловичу и разводит руками: — Ну, что они так боятся? Можно подумать, что я их пугаю, бью.

Духосвятский опускает голову на руки и будто дремлет.

В классе тишина. Кто-то плачет. Последней отвечает Баритонова. На лице ее написано искусственное оживление. Ей досталось «После бала» Льва Толстого. Начинает с подъемом:

— Бал был роскошный, обширный. Было утрачено, значит, много средств.

— Как была одета Варенька? — строго спрашивает Духосвятский.

— Она была в раскрытом платье и в домашних сапогах. Отец Вареньки был тоже прелестный и вежливый.

— Довольно, — сказал Духосвятский. — Я тебя, Баритонова, и через восемнадцать лет не забуду. Я тебе не прощу, Баритонова, что ты Вареньку в домашние сапоги нарядила. Иди себе, спи. Не думай только сама романов писать.

И Баритонова ушла, растерянно улыбаясь. Духосвятский ставит ей «посредственно». Алексей Михайлович удивился.

— Что с них взять? — говорил Духосвятский.— Почем купил, за то и продаю. Эти программы в печку надо. Какого чорта они там накрутили: идея, композиция. Этим детям! Да они никогда не будут в состоянии понять всей этой мудрости!

Алексей Михайлович сказал Духосвятскому, что это его дело заставить детей понимать, его дело научить их мыслить. Алексей Михайлович также заметил ему, что отвечали «посредственно» и «хорошо» только те ученики, которые отвечали наизусть текст. Остальные не разбираются ни в чем. Понятна ли им роль этих домашних сапог полковника? Духосвятский посмотрел на Алексея Михайловича поверх очков.

— Вам еще нос нянька вытирала, когда я этих сопляков учил. Я директором гимназии был. Я научную работу веду.

Голос его дрожал благородным негодованием.

Духосвятский как-то высказался с совершенной искренностью: «Своих детей я учу ненависти к людям».

«Своих детей учит ненависти, чужих презирает. Дети не имеют права развиваться и мыслить. Негодная старая сова, да какое ты имеешь право пакостить?» подумал Алексей Михайлович. Он решил, что нельзя более терпеть Постнову, которая третирует педагогов, подрывая их авторитет перед учащимися. кричит на них, посылает с поручениями, требует от них выполнения работы, которую они не должны делать. Нельзя терпеть ковыряющего в носу Хмурова с его глупыми куплетами.

7

Постнова решила «принять меры» к удалению Алексея Михайловича из своей школы. Об этом она подала письменное заявление в Отдел народного образования, приписав Алексею Михайловичу массу тяжких обвинений.

В заявлении было отмечено, что Алексей Михайлович ведет «посторонние» разговоры на уроках, что он поднял кампанию против распоряжений администрации и соответственно организует ребят. Наконец, он положительно травит прекрасного, заслуженного учителя с сорокалетним педагогическим стажем — Духосвятского.

Духосвятскому Постнова покровительствовала и даже благоговела перед ним. Его «ученость», которая выражалась в постоянном брюзжании на программы, на методы преподавания, на «тупость» учеников, внушала ей уважение. Когда Алексей Михайлович поделился с ней впечатлениями об испытаниях у Духосвятского и прямо выразил свое возмущение, она сурово поджала губы: «Вы предъявляете вузовские требования», и дала понять, что разговор окончен.

Алексей Михайлович, вызванный в наробраз, наконец, получил возможность высказаться. Он говорил искренно и горячо. Он с возмущением рассказывал о деспотическом самодурстве Постновой, о ее «начальственном» третировании педагогов, о ее равнодушии и ограниченности. И вопрос был решен в его пользу.

— А ведь хороший парень! — воскликнул заведующий наробразом, когда за Алексеем Михайловичем закрылась дверь.

Постнова, Хмуров и Духосвятский исчезли из школы. На месте директора — веселый и стремительный комсомолец — Сергей Иванович Светлов.

8

К Рыжему приехал брат, летчик. Ему двадцать лет. Он показался Шакалу важным и гордым. Шакал и Рыжий сидели и слушали, как он рассказывал про свои полеты, про свою остроносую стальную птицу. Слушая его, Шакал вообразил себя самого сидящим в самолете. Золотым шмелем жужжит пропеллер, и облака проплывают мимо, кудрявые и белые. Шакал выпрямился и взглянул на летчика.

— Я тоже, может быть, буду летчиком или кем-нибудь еще, но не хуже.

И летчик хлопнул Шакала по плечу:

— Обязательно. Только учись, брат.

Прошло лето, и наступила новая осень. Опять ребята шумно расселись за парты. Соблюдены старые традиции: кто любит пускать «галок» и не очень стремится глядеть учителю в глаза, занимает задние парты: там спокойнее. Школа во многом изменилась. Нет Постновой, а на ее месте Сергей Иванович Светлов. Молодой.

Сергей Иванович позвал Лапонина к себе в кабинет. Лапонину не хотелось итти, но он решил «не связываться» и пошел.

Лапонину казалось, что этот человек презирает его за то, что он вихраст и угрюм. И босые ноги, и вихры, и обкусанные ногти в эту минуту смущали Шакала.

Шакал считал, что его непременно надо уважать и, может быть, даже бояться. Поэтому он никогда ни с кем вежливо не разговаривал. Это было бы признанием своей слабости. И сейчас он произнес только одно слово:

— Ну?

Это было и вопросом и угрозой. Директор сказал, что Шакал, срывая дисциплину, поступает как вредитель. Может быть, он делает это не сам? Может быть, за его спиной действует кто-то?

Шакал не слушал того, что говорил директор; он все думал, что директор хочет его унизить. Получив разрешение уйти, Шакал вернулся на урок. Был русский. Лапонин встал со своего места и подошел к столу учительницы. Она с удивлением наблюдала его приближение. Он подошел и, повернувшись к ней спиной, сказал:

— Валентина Федоровна, посмотрите, что у меня за спиной?

Валентина Федоровна, преподавательница русского языка, во времена процветания Духосвятского была им запугана до истерики. Авторитет Валентины Федоровны среди учащихся был подорван тем же Духосвятским, который, заменяя ее во время болезни, издевался над методом ее

преподавания. Теперь ей было трудно работать. Ребята не считались с ней. Лапонина она просто боялась, и он это хорошо знал. Ребята хохотали...

— Что случилось, Лапонин, я ничего не вижу у тебя за спиной?

Шакал сделал лицо заговорщика и сказал свистящим шопотом:

— У меня за спиной вредитель.

Валентина Федоровна беспомощно опустила руки:

— Кто тебе сказал такую глупость, что ты еще придумал?

Тогда в глазах Шакала появилась овечья покорность судьбе, он утомленно вздохнул:

— Директор, Валентина Федоровна. Директор. Я тоже говорю, что нет. Вошь, может быть, блоха, но где же вредитель? Я бы его почувствовал.

Звонок вывел Валентину Федоровну из затруднения. Ребята наслаждались ее растерянностью. В это время в дверь просунулась голова Рыжего. Он позвал Лапонина. И Лапонин ушел, наскоро собрав книжки. Он и так чувствовал себя достаточно утомленным. Сегодня он высидел в школе три урока. От всех этих прилагательных, даже если на них не обращать внимания, здорово портятся мозги.

В небе плавали большие и маленькие облака, и было солнечно, и улицы журчали дневной суетой.

Лапонин очень любил облака, лужи и всю эту чепуху. Он хотел бы быть зверем и жить в лесу, где деревья, норы и пахнет немножко гнилью.

Рыжий был птицелов, охотник и натуралист. Он тоже часто прогуливал уроки и учился плохо. Он сказал родителям: «Позвольте ловить птицу, тогда буду учиться». Птиц ловить позволили, но Рыжий обманул, не учился.

— Шакал, я птицу достал. Помнишь, у меня был рыжий птенец? Этот еще мировее.

Борька достал из кармана птицу и разжал кулак. В кулаке был грачий птенец. Маленький, голый почти.

— Дурак, — сказал Шакал. — Это грач. Мировой дурак.

И он грубо вырвал птицу из рук Борьки. Сегодня Лапонина все раздражало. Шакал мял в руке полумертвого грачонка.

— Отдай, Шакал, — Рыжий почти плакал. Лучше бы его самого мял Шакал, этот Шакал, настоящий Шакал, которого Борька боится, но очень уважает.

Злоба вспыхивает в шакальих зрачках:

— Не хнычь, не подходи, а то задушу его. — И при первом испуганном движении Борьки стиснул пальцы.

Грач был мертв. Борька оцепенел. Он стоял и смотрел на брошенного птенца и на уходящего Шакала и хотел плакать, но было стыдно, потому что Шакал мог обернуться и увидеть, как он ревет.

А вокруг ходили люди, которым было, конечно, наплевать на грачонка.

9

Шакал не взлюбил нового директора. Главная причина была в следующем: однажды Шакал подслушал разговор директора с Алексеем Михайловичем.

«Нет, — говорил директор — Лапонин просто очень неспособный. Думаю, его надо устраивать в ФЗУ. По крайней мере, перестанет безобразничать. Он, конечно, не может учиться в школе, ему не под силу угнаться за товарищами».

«Ну, нет, — сказал Алексей Михайлович. — Лапонин очень толковый парень».

Каким неистовым гневом вспыхнул Шакал! Он глупее, неспособнее других? Да это ж наглая ложь! Ему хотелось как-нибудь сейчас же, сию минуту доказать директору, что это ложь. Первым побуждением было выругаться, надерзить, но Лапонин сдержался. Он стремительно бросился домой, к ящику с красками. Это всегда прибавляло ему силы, поднимало его в собственных глазах. Но краски были выброшены матерью в наказание за то, что он не ходит в школу. Шакал взял карандаш и стал чертить уродов, уродов с огромными головами, с глазами-плошками и ломал карандаш, и плакал. Не выходило. Тогда он схватил учебники: задачник по математике, грамматику. Но и там было все непонятно. В глазах мелькали незнакомые таинственные слова, цифры в своих сочетаниях становились непонятными, как символы. Все было запущено. Шакалу казалось, что мозги его поросли плесенью. Он вдруг устал и на минуту почувствовал горькую обиду. На кого? — Неизвестно. Он решил махнуть на себя рукой и начать буйствовать еще отчаяннее, но вдруг припомнил летчика, голубой самолет, и вдруг появилась упрямая вера в себя. Он нарочно громко крикнул сорвавшимся от волнения дискантом:

— Мы еще почирикаем!

К Алексею Михайловичу Лобову, преподавателю естествознания и новому завучу, Шакал относился двойственно. Он не мог в нем разобраться. Мутит что-то этот очкастый. Вот устроил драматический кружок. Конечно, Шакал не пошел в кружок, но ребята были очень увлечены артистическим делом и даже перестали интересоваться выходками Шакала.

Вечером, когда кончались уроки, они собирались в пионерской комнате, что-то репетировали. Им было весело. Шакал проходил мимо и все это видел. Большинство не обращало на него внимания. Один только Степка, сосед Шакала по парте, однажды позвал его:

— Шакал, иди сюда!

Шакал высунул язык.

— Нужны вы мне, как мертвому клистир.

И прошел мимо.

Гордость Шакала была уязвлена. Шакал перестал быть героем. Он стал просто прогульщиком. Остались около него только Рыжий да Степка. И те как-то «отмежевываются». Рыжий не может простить задушенного птенца. Шакал всеми силами борется с этой дурацкой чувствительностью Рыжего: нарочно у него на глазах отрезал коту хвост. Рыжий неисправим. Шарахается от Шакала. Его, пожалуй, держит только страх. Ну, нет, ему не улизнуть. Их связывают общие «преступления». Кроме того, Шакал умеет повелевать. А драматический кружок работает, и Рыжий смотрит с завистью, но принять участие не смеет. Недавно ставили Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Когда покинули сцену купчихи, стряпчий, отставной чиновник в ветхой чиновничьей шинели, мальчик-распорядитель объявил, что будет показана сценка из «Снегурочки».

И вот на эстраде вырос елочный лес. Стояла зима. Елки блестели борной кислотой, то-есть снегом. Под елкой — девушка. Вся она осыпана снегом, но он не тает. И даже на ресницах что-то блестит. И даже блестят ее маленькие белые туфли. Шакалу не хочется узнавать в ней девочку. Не может быть, чтобы она была такая же, как все девочки, и так же хныкала, если ее ударишь. Это не девочка. Она из настоящего снега. Рядом стоит пастух. Он дует в свирель и поглядывает на Снегурочку лукаво и капризно. «Прикажешь петь?» спросил пастух. «Приказывать не смею, прошу тебя покорно», прожурчала Снегурочка, и Шакал подумал: «Не надо кланяться пастушку. Пусть будет ледяной и гордой».

Образ Снегурочки остался в сердце Шакала маленькой, глубоко спрятанной тайной. Он узнал, что зовут ее Юна. Снилась ему тогда зимняя ночь. Идет он по снежной крыше, а впереди кот. Кот идет осторожно, отряхивая лапки. В небе ночь, как елка, вся в звездах. На крыше сидит старик Крутицкий из пьесы, вчера игранной, и приговаривает: «Вот что я вам, вот что я вам, а вы бранитесь». — «А что вы мне?» спросил Шакал Крутицкого. «Я уйду, а ты останешься, — ответил Крутицкий. — Я декабрь. Ты видишь, какая у меня борода!» И тогда Шакал понял, что он новый январь, и пошел за котом, который уходил все дальше и дальше. Обернувшись назад, он увидел, что Крутицкий все еще сидит на трубе, согнув худые колени, а борода его треплется по ветру как лохмотья грязного паруса. А кот обернулся и промурлыкал в упор, не с лукавством, скорее с угрозой: «Сердце Снегурочки холодное для всех и для тебя любовью не забьется».

Наутро мать дала Шакалу рубль, взяв с него обещание, что он пойдет в школу. Шакал взял рубль и в школу не пошел. Правда, он принес к обеду уворованную телячью ногу. Мать приняла ногу, не спросив откуда. Шакал воровал не потому, что обладал инстинктом приобретательства, а потому, что любил приключения и опасность. Однако, несмотря на телячью ногу, родительница не могла забыть рубля. Шакал цинично отрекался: в школу действительно не ходил, но и рубля не брал. Мать, красная, металась по комнате и оглашала воздух хриплой бранью:

— Морда твоя негодяйская. Зараза проклятая. Не брал! Я тебе докажу валенком по харе, паразитская твоя морда!

В этот момент зоркое материнское око заметило, что дочь Зина, пятнадцатилетняя «свиристелка», торопливо натягивает новое платье, спеша под шумок улизнуть в кино. Стул полетел на пол. Прозвучала пощечина.

— Раздевайся, сукина дочь, голая будешь сидеть. Я такое кино тебе покажу, что своих не узнаешь, гадина, падаль несчастная! Я тебя совсем из дома выгоню! Вон! Куда хочешь. Трепись по улицам!

Потом мать собралась и ушла на работу, еще несколько раз пригрозив «сукиной дочери» смертью и изгнанием. Мать служила кассиршей в продуктовом магазине.

Вскоре ушел и Шакал. Стало тихо. Мирной была тишина. В вечернем небе поднимались розовые и лиловые горы облаков, а солнце уходило на ночь. Зина легла на диван и стала мечтать о том, как она уйдет из дома. Она казалась себе золушкой, бедной падчерицей в семье. Может быть, ее украли и где-нибудь есть настоящий дом и настоящая мать. Потом «он». «Он» явится сюда и увезет ее, бедную замарашку, прямо от грязного очага. Она напевает мечтая: «Пролечу, прогремлю бубенцами

и тебя на лету подхвачу». Она будет стоять на пороге, как сейчас, трепаная, с грязными руками. Вот к ней приближается всадник... Но за ней приходит Любка. У Любки аккуратно выщипаны брови. Как легкое облако, исчезла грусть. Они собираются в кино. Хохочут. Любка не одна. С ней Сашка-симфонист. Шофер. В коричневых штиблетах с американской подошвой, в серой паре. У него тоже выщипаны брови. За углом ждет такси. «Миленькие папочка и мамочка, ваша дочь, стерва, гадина, ушла в кино». Записка положена на стол. Девушки идут в кино. Как от них пахнет духами и как невообразимо мил Сашка-симфонист!

10

У Степки Егорова никого взрослых нет дома. За столом сидят трое ребят. Электричество горит в полнакала. В руках у ребят засаленные карты. Лица у них красные и точно распухли от возбуждения. Степка волнуется и моргает припухшими веками с редкими ресницами. У него даже немного дрожат руки. Он играет честнее других, потому что не умеет плутовать, и все время проигрывает. Рыжий раздувает веснушчатые ноздри, щурится, как кот, и плутует мастерски. Третий игрок — Шакал. Он красивее и заметнее своих курносых товарищей. У него черные брови красивого рисунка и кудрявые волосы. Манеры его небрежны. Он курит. Мурлычит себе под нос: «Любовь оков не знает» — и выбрасывает карты на стол с видом разочарованным и презрительным. Электричество все больше меркнет. В углах комнаты сгущается тьма. На столе шелуха от подсолнухов. В углу неряшливая большая кровать. Шакалу надоело плутовство Рыжего. Он поднимает руку и бьет его кулаком по лицу. Рыжий ревет. Степка сопит носом в нерешительности: он, как хозяин, недоволен поведением Рыжего и боится сделать замечание Шакалу.

— Плутовать, зараза? Я те поплутую!

Рыжий не отпирается. Мир восстановлен. Но Шакалу надоели карты. Он бросает их на стол. В комнате почти темно. Видны только красные волоски в лампочке.

— Айда на улицу, — приказывает Шакал.

Ребята уходят.

Дождь, мгла. Между ребятами идет разговор о собранных «сокровищах». Рыжий хвастает мышеловкой, которую он стянул у соседки. Он вообще болтлив и любит хвастать пустяками. Шакал говорит мало, но веско и авторитетно. Он умеет загадочно молчать. Это внушает ребятам уважение к нему. Точно у него всегда есть что-то, чего он никому не скажет. У Шакала нет друзей. Степка и Рыжий глупее его. Шакалу не хочется говорить с ними ни о чем, что кажется ему серьезным. Встретили девчонок. Набросились на них с гиканьем и гнались. Одна девочка отстала. У ней подвернулась нога. Потирая ушибленную коленку, она серьезно взглянула на Шакала. И Шакал испугался вдруг. Это была Юна — Снегурочка, почти взрослая девочка с золотыми ресницами. Шакал сделал нахальное лицо и свернул руку калачиком:

— Разрешите вас сопровождать, мадам.

Она гордо вздернула голову. Капли дождя блестели на ее красной шапочке. Лицо было мокрое и розовое. Чулок в грязи.

— Разве ты меня не боишься? — спросил Шакал, делая серьезное лицо.

— Ты дурак и хулиган, но бояться тебя мне нечего. Ты ничего не можешь мне сделать.

Она повернулась и пошла медленно, чуть прихрамывая. Гордая, спокойная, важная.

Но нет, он не может этого так оставить, он должен показать себя. Он... Нет, Шакал повернул в противоположную сторону и не пошел за Снегурочкой. Он не смел. В первый раз в жизни почему-то не смел. Ах, если бы она вернулась опять и что-нибудь еще ему сказала! Почему она его не боится? Ведь он может разгвоздить ей нос.

Подошел трамвай. Улица сразу наполнилась народом. Шли с портфелями и с кошолками. Что бы сделать такое, чтобы вся улица сразу остановилась, замерла и со страхом взглянула на Шакала? Что бы сделать такое, чтобы жизнь Шакала вдруг изменилась, чтобы завтра стало другим.

Вот идет директор, Сергей Иванович. В руках у него новенький портфель. Шакал оживляется. Он мигает ребятам, и они, крадучись, идут за директором. Они провожают его до школы, где он живет, и кричат ему вслед:

— Директор-шляпа!

Сергей Иванович оборачивается. Он старается узнать, кто кричит. Шакал показывает ему кулак и орет еще пронзительнее.

— Клистирная обезьяна!

Директор скрывается за дверь. Жаль, что он не погнался за ними. Шакал любит убегать от опасности.

Уже поздно. Редкие прохожие спешат домой. Ребята разошлись, и Шакал идет один. Он запевает во все горло: «Ах ты, Маша, ты, Машуха, я те в рыло, я те в ухо».

Звонкий мальчишеский голос рвет тишину. Около фонарей — снопы дождевых искр.

11

В школе кипит кружковая работа, растет кружок юных натуралистов, работу с драматическим кружком ведет Юна, ученица восьмого класса. Она отличница учебы и комсомолка.

Алексей Михайлович думает летом организовать экскурсию. Ребята мечтают о ней давно. Алексей Михайлович чувствует, что налаживается дисциплина, налаживается серьезная, дельная и веселая школьная жизнь. Немножко беспокоит его мальчишеская беспечность Сергея Ивановича. Он стремителен и нетерпелив, грубоват с учителями; недавно рассердился на Бродскую, которая обвиняла его в легкомысленном отношении к вопросу о дисциплине.

Алексей Михайлович не теряет надежды с ним сработаться и немножко его переделать. Еще больше беспокоит Алексея Михайловича Шакал. Алексей Михайлович был у него в доме. Его поразили родители—вечно пьяный отец и грубая, сварливая мамаша. Жалко Шакала и жалко девочку — его сестру, которая в этом году окончила семилетку. Она не хочет ни учиться, ни работать и связалась с дурной компанией. Алексей Михайлович решил поручить ее Юне. Шакал удрал, когда услышал, что

идет Алексей Михайлович. Он всячески его избегает. Но Алексей Михайлович «себе на уме». «Если я из Лапонина не сделаю человека, — думает он, — вся моя деятельность ничего не стоит. Мне помогут наши комсомольцы: Юна, Толя Сомов».

12

Весна полна щебетанием птиц. Алексей Михайлович ходит утром в лес и слушает, как разговаривают птицы. Всюду пестро от солнечных пятен. В сырых местах — шелковистые листья ландышей, гладкие, как перчаточная лайка. Алексей Михайлович любит запах земли и колючий ветер.

Однажды, во время лесной прогулки, до него донеслась пронзительная мальчишеская песня: «Пришла курица в аптеку, закричала: Кукареку! Дайте пудры и духов, для приманки петухов». Потом стало опять тихо, и снова перекликались птицы.

Пройдя несколько шагов, Алексей Михайлович увидел рыжего мальчика, стоявшего под деревом, задрав голову. Это Борис Жуков, Рыжий, друг Лапонина. Алексей Михайлович подкрался к Жукову и огорошил его вопросом:

— Птиц любишь?

Рыжий вздрогнул от неожиданности и хотел бежать. Потом раздумал и остался.

— Люблю.

Алексей Михайлович продолжал допрашивать.

— Ловишь птиц?

— Ловлю, — нерешительно ответил Рыжий.

— И мучишь, чего доброго?

— Нет, — обиделся Рыжий. — Я птиц люблю.

— Хочешь, я расскажу тебе о птицах? — предложил Алексей Михайлович.

Рыжий выразил согласие, и они пошли вместе. Алексей Михайлович хорошо умеет различать птичьи голоса. Он объяснил Рыжему, какая птица как кричит. И Рыжий тоже начал делиться своими наблюдениями.

— Грач серьезная, важная птица. Степенный, как школьный сторож, такой же старый ворчун. Скворец — симпатичный парень, но какой избалованный! Он хочет, чтобы ему домик выстроили. А сам прилетает на готовое. Жаворонок — ужасный чудак. Поет во время полета. Это хорошо — лететь и петь.

И Рыжий вскинул руки и подпрыгнул.

— А разве птицы не устают так долго без отдыха летать?

Потом он рассказал Алексею Михайловичу о своих наблюдениях над соловьем. Он, оказывается, давно присматривается к птицам; собирает их яйца, наблюдает за их жизнью.

— Очень интересно, из чего у них сделаны гнезда. Соловей такой обманщик! Когда искали его гнездо, перепрыгивал с ветки на ветку, опустил крыло, как будто подшибленный. Мы пошли за ним, а он опять стал перепрыгивать с ветки на ветку и пищать жалобным голоском. Воротились мы на прежнее место и нашли гнездо. Там оказалось четыре яйца. Одно большое, серое, с черным пятном. Мы так и поняли: в соловьином гнезде — подкидыш-кукушонок. Когда пришли раз, птенцов

уж не было. Они добывали себе пищу. А большой, малооперенный кукушонок остался. Мы наложили ему в рот червей. Пришли опять через пять дней. Гнездо развалено. Кукушонок сидит на ветке и кричит: «Спасибо чужой маме за мое воспитание».

Потом Рыжий вынул из кармана бумагу и подал ее Алексею Михайловичу.

— Вот, прочтите, тут еще наблюдения.

Бумага начиналась так: «Мы, страстные любители природы, ходим по лесу, когда пахнет ароматным запахом трав».

— Кто же мы? — спросил Алексей Михайлович.

— Я и брат Андрей.

— А Лапонин?

Рыжий нахмурился.

— Лапонин не знает, если сказать ему — засмеет.

И еще рассказал Рыжий, что в школе сейчас военная игра, в которой он тоже не может принимать участия из-за Шакала. Шакал сам не играет и не позволяет ему. А ему очень хочется. Степка — командир. Эх и злой! Он поддерживает суровую дисциплину на военных занятиях. «Ты, говорит, у меня повертись, ты у меня не на уроке». И еще рассказал Рыжий, что его зовут «Куриным доктором». Девчонки — крысы проклятые! — придумали. Он раз курицу от клещей вылечил. А вообще ему в школе скучно, но он все-таки ходил бы, если бы не Шакал. Все Шакал...

— Да ты любопытный человек, — сказал Алексей Михайлович.

Рыжему это было очень лестно. Удовольствие отразилось на его веснущатой мордочке.

— Вот ты птиц любишь. Давай собирать яйца разных птиц, а потом пошлем на выставку.

Рыжий обрадовался и крикнул:

— Давай!

Он забыл, что учителям надо говорить «вы».

Алексей Михайлович пожал ему руку и взял с него слово притти к нему в гости и привести Лапонина. Рыжий шел домой, засунув руки в карманы, и думал, что начнет новую жизнь и к чорту Шакала. Вот он скрылся из виду, и до Алексея Михайловича донеслась издали его песня: «Не страдай, король бубновый, у меня страдатель новый».

13

Когда Рыжий рассказал Шакалу о своей встрече с Алексеем Михайловичем, Шакал сплюнул сквозь зубы и с презрением посмотрел на него. Рыжий после этого не посмел сказать, что еще два раза был у учителя в гостях.

— Ну, что ж, иди к нему, подлизывайся, а мне не нужен твой очкастый слизняк, тетя слюнявая.

Рыжий — никогда прежде этого не было — обиделся и ушел. А Шакал вдруг понял, что брошен покорными и преданными друзьями. Он оставлен, покинут. С ним никто не водится. Он да Перун. И кто же его враг и соперник? Учитель. Человек в очках. Шакал стискивал кулаки и скрипел зубами: «Сволочь». Была еще одна рана в мальчишеском сердце. Он тосковал... о Юне. Он сам от себя скрывал, что ищет ее всюду. И однажды он встретил ее с толпой подруг, и с ними была его сестра Зинка.

Юна посмотрела на него с такой насмешкой и вдруг запела скороговоркой: «Очень надо, очень надо, не водись со мной, не надо, не водись, пожалуйста, я совсем не жалуюсь». И все девчонки, Зинка в том числе, захохотали. Шакал почувствовал, что ему мешают руки и ноги, что некуда смотреть, что лицо у него не такое, как надо. Он прошел мимо, а в спину ему, как град мелких камешков, ударил хохот.

Дома было тяжело, скверно попрежнему. Зинка на целые дни исчезала куда-то. Шакал страдал от одиночества, от обидной пустоты вокруг.

Были два человека, на которых сосредоточились все помыслы Шакала: Юна и Алексей Михайлович. Но когда случалось встречаться с учителем, он старался убежать поскорее.

Однажды встреча с Алексеем Михайловичем состоялась у оврага. Там Шакал лежал и курил. Алексей Михайлович спросил, что он тут делает.

— Наслаждаюсь природой, — ответил Шакал и взглянул с насмешкой на учителя.

Шакал присмирел в своем одиночестве. Он окружил себя оравой маленьких ребят от пяти до семи лет. Шакал таскал из дому крупу, мясо, сам варил ребятам похлебку на кирпичах у сарая. Вот и опять у него было войско, но какое жалкое! К малышам Шакал чувствовал жалость и симпатию сильного, но все же потребность властвовать была в какой-то степени удовлетворена. Маленький Колька посвящал его в свои гордые планы будущего, которое казалось ему уже свершившимся:

— Ты знаешь, я уже стал летчиком. — Колька смотрел серьезно и вдумчиво.

— И с парашютом прыгал? — спрашивал Шакал.

— Прыгал, — уверенно отвечал Колька. — Сколько раз. Я привык уже.

Шакал придумал странную игру. Она называлась «играть в покойника». Ребята копали яму. Шакал ложился в нее, изображая покойника. Ребята с плачем украшали его цветами и листьями. Они громко ревели, а Шакал неподвижно лежал в неглубокой канавке с закрытыми глазами и думал о том, как страшно и досадно умереть по-настоящему. Солнце заливало его теплом. Хотелось спать. Ребята уставали плакать и, забыв о похороненном Шакале, уходили играть. Около Шакала одиноко сидел Перун и терпеливо ждал, когда хозяину надоест изображать мертвеца. Наконец, Шакал угрюмо вставал и шел в дом.

Ему хотелось быть одному и петь грустные песни. И ему хотелось как-нибудь героически погибнуть.

14

В лесу пахнет хвоей, сыростью, землей. Темнеет. Участники экскурсии сидят у костра. Пляшет огонь, и брызги его с треском разлетаются вокруг.

— Находил я там тьму-тьмущую чортовых пальцев, — говорит Степка.

Сегодня день прошел не зря. Искали фосфориты. Сколько было интересных находок! В долине реки оказались пласты секона, увенчанные фосфоритными слоями. Степка нашел зуб акулы. Когда-то плескалось здесь море, и косматые волны выбрасывали восемнадцатиметровые скелеты ихтиозавров. Алексей Михайлович сказал, что здесь каждый год находят окаменевшие кости меловых селяхий и ящеров. Ребята мечтали, что найдут много фосфора и построят фосфоритный завод из местного

кирпича на местном торфе. Попался овраг, который назвали «Оврагом неожиданностей». Он состоял из оползней красной ледниковой глины.

Сейчас отдыхают. Ужинают картошкой. Много раз подряд кукует кукушка. Юна спит. Пол-лица освещено костром. Глаза в тени. За пазухой у Рыжего соня — серый зверек, похожий на мышь и на белку. У Степки грозный вид: кривой нож за поясом и войлочная шляпа. Он ко всему готов.

— Знаете, Алексей Михайлович, — говорит Сергей Иванович, — я ведь тоже немножко ваш воспитанник. Я нехороший сюда пришел. Думал, как бы покомфортабельней устроиться. Неладилась дисциплина, — а чорт с ней, сама наладится! Вы меня никогда не убеждали, не уговаривали. Вы просто работали за меня и претензий ко мне не предъявляли. Я как-то вдруг сообразил: я же ведь директор, я отвечаю за школу. Вспомнил Постнову. Стал хлопотать о постройке нового здания, а потом с ребятами сдружился. Хороший они народец.

Ребята ушли в глубь леса. Степка размахивает кривым ножом: с кем сразиться?!

— Пойдемте искать ребят, — позвал Алексей Михайлович директора. Они пошли. В кустах шарахнулись, и кто-то крикнул: «Шухер!» (значит «Берегитесь!»), — там курили.

Утром проснулись вместе с солнцем. В золотистых от солнца вершинах огромных сосен — птичья суматоха. Рыжий задрал голову и смотрит вверх. Незабудковые его глаза отражают небо, и птичий полет, и детскую утреннюю радость.

15

Алексей Михайлович любил посидеть один в сумерках. Сумерки полны раздумья и тишины. Каждый шорох, нарушающий их, отчетливо слышен. И неожиданно кто-то засопел под дверью. Послышалось нерешительное топтанье. В дверь просунулись вихры Рыжего.

— Можно с Шакалом?

Они вошли. Лапонин был одет неряшливо. Широкие длинные брюки слабо держались на его бедрах. Он подтягивал их движением живота. Рыжий нехотя ушел. Так было договорено заранее. Шакал рванулся было за ним, но одумался и сел. Оба молчали. Алексей Михайлович быстро перебирал в памяти все, о чем можно было бы заговорить с ним. Помог футбольный мяч, лежавший на диване. Какой же мальчик в тринадцать лет не интересуется футболом? Но Шакал, оказывается, не любил спорта, а может быть врал, чтобы казаться ни на кого непохожим. За окном раздался хриплый собачий бас. Шакал улыбнулся и дернулся к окну.

— Это собака моя, Перун.

— Если хочешь, позови ее сюда.

— Пусть там остается, — сказал Шакал.

Черный лохматый пес с грозной мордой положил лапы на подоконник.

— А ты знаешь, кто такой Перун?

— Знаю. Я читал об этом.

Разговор перешел на книги. Сердито и застенчиво он признался:

— Я люблю книги про войну и про смерть.

Алексей Михайлович решился на риск.

— А ну-ка, расскажи, как это Жукову удалось привести тебя, ведь ты ни за что не хотел ко мне приходить?

Шакал нахмурился, и пес, сидящий у двери, заворчал.

— С Жуковым дела не имею. Я теперь один. И к вам я сам пришел. Рыжий просто случайно на дороге попался. Я пришел... — И вдруг рассердился. — А коли хотите, уйду. Ведь вы меня сейчас учить чему-нибудь будете, будете уговаривать ходить в школу? У вас ничего не получится. — Потом вдруг вскочил с места и крикнул злобно: — Прощевайте, до свиданьица, — и скрылся за дверью. Собака радостно помчалась за ним.

16

После посещения Алексея Михайловича все для Шакала осталось по-прежнему: игра в покойника, погоня за Юной, одуряющая тоска ничегонеделания и — одиночество. Рыжий ушел окончательно.

Ребята собираются вечерами у Алексея Михайловича. Там и Рыжий, и Степка. Шакал, подслушивая под окнами, слышит их веселый хохот. Да, он ходит подслушивать и стоит, тоскуя, замученный одиночеством, распаляясь гневом. Ему очень хочется к ним. Он мечтает о них. Он даже Рыжего стал уважать за то, что он с ними, и они его любят и не бьют, не обижают, как он, Шакал, когда Рыжий был его другом. Но как быть? Они не знают, что он здесь, да и невозможно Шакалу выдать себя.

Однажды заскулил Перун — прямо под самым окошком. И выглянула Юна. Она его видела, Шакал был в этом уверен, хотя и прижимался к стене, стараясь быть незамеченным. Она обернулась в комнату и громко сказала: «Никого, Алексей Михайлович, вам показалось». И он ушел, не решаясь больше оставаться. Вот ворваться бы к ним с оскаленным, рычащим Перуном, крикнуть бы им: «Эй вы, сброд! Вы думаете, я Рыжий? Вы думаете, со мной можно так? Я покажу вам, какой я».

Но случилось все не так, как предполагал Шакал. Он пришел сам. Ввалился в комнату. С ним Перун Оба были взлохмачены, робки и неловки. Обоих ослепил свет, и они сощурились. По радио передавали песню про Москву. На диване сидела Юна и еще кто-то. Чьи-то длинные ноги протянулись по полу. Рыжий с Алексеем Михайловичем играли в шахматы. Разве Рыжий умеет? Раньше не играл. Толя Сомов и Степка стояли около Юны. В комнате было очень тесно. Все посмотрели на Шакала, и всем стало неловко. Алексей Михайлович поднял голову.

— Здравствуйте, товарищ. Приятно, что зашли. Присаживайтесь. — И опять стал играть.

Никто не обращал внимания на Шакала. Все занимались своим, а он с Перуном продолжал стоять посреди комнаты. Возобновился прерванный разговор.

— Пусть каждый покажет, на что он способен, — говорила Юна. — Вот мы все, кроме Борьки, только что стали комсомольцами. Все мы неплохо учимся. А раньше мы хрюкали, как поросята, мычали, как коровы, и не хотели знать никаких обязанностей, никакой науки. Давайте, ребята, устроим смотр нашим силам. Пусть каждый покажет, что он несет в комсомол. А может, мы такой никчемный народишко, что и комсомолу от нас прибыли мало?

Ребята приняли предложение Юны.

Степка сказал, что он ничего не умеет. Но у Толи Сомова взволнованно заблестели глаза. Он-то уж покажет себя! А Шакал все стоял, и казалось, — он деревянный и не может шевельнуть ногами. Лицо его застыло в каком-то недоумении.

— Ну, а ты, парень, можешь чем-нибудь показать себя? — спросил Алексей Михайлович.

Шакал молчал, но за него ответила Юна:

— Да он, пожалуй, покажет свою удаль: выбьет окна, отрежет кошке хвост.

Все посмотрели на нее с укором, а Шакал побледнел. Он сказал глухо:

— Я рисовать могу. Я принесу. Я сделаю. — И, как всегда, внезапно распаляясь, закричал: — Я еще получше вас буду!

Шакал дрожал и казался просто больным.

— Ступай домой, — сказал Рыжий, — бей стекла на улицах, если другого ничего не умеешь. А я тебе больше не друг.

17

Вечером, в назначенный день, ребята собрались у Алексея Михайловича. Каждый принес свое. Юна явилась с корзиной, наполненной сочными и спелыми плодами из своего огорода. Там была золотистая спелая дыня, выращенная на тыкве, большой арбуз. В кувшине из толстого прозрачного стекла — душистый золотой мед из пчельника. Юна была в белом платье, с пестрой косынкой на плечах.

— Я могла бы придумать что-нибудь интересней, но такой маленький срок. К тому же вы нуждаетесь в угощенье.

Ее подарок одобрили.

Затем выступил Толя Сомов со стихами, сочиненными по поводу проведенной экскурсии.

Рыжий принес прекрасно оформленный альбом своих наблюдений над птицами. Двенадцатилетний натуралист всех удивил: это был результат серьезной и кропотливой работы.

Все ждали Шакала. Лил дождь.

— Он не придет, — сказал Рыжий. — Что он может? — Развенчав своего бывшего друга, Рыжий не хотел верить в его силы. Его смущало отношение Алексея Михайловича к Шакалу: что он за ним гоняется?

Но вот отворилась дверь, и степенно вошел Шакал, сопровождаемый Перуном. На нем была чистая рубаха. У Перуна на шее — гремящий ошейник. Шакал нес в руках что-то, свернутое в трубочку. Он остановился посреди комнаты, обвел глазами присутствующих и развернул трубочку. Это был рисунок. Руки у Шакала дрожали, и бумага прыгала так, что ничего нельзя было разобрать. Алексей Михайлович взял рисунок и стал разглядывать. Все окружили его. Шакал стоял неподвижно, один, и хрустел пальцами.

Рисунок изображал комнату Алексея Михайловича, Шакала с Перуном посреди комнаты, Юну, Рыжего за шахматами. Портретное сходство было схвачено. Даже сам Шакал с опущенной вниз головой, с гривой свисавших на лоб волос был точь-в-точь настоящий. Правда, у Юны был кривой нос и губы некрасиво сведены.

— Я не такая! — закричала обиженная Юна.

— Ты такая, когда злишься, — пробурчал Шакал.

— Перун непохож, Перун вроде теленка, — придрался Рыжий.

— Врешь, — отрезал Шакал.

Особенно удался сам Алексей Михайлович. Это было его милое, доброе лицо, его снисходительная усмешка и теплые глаза в очках, устремленные на Шакала. В окно гнулись костлявые деревья.

Все поняли, что это талантливый рисунок. Правда, Юна была криворотая, у Рыжего слишком велика голова, а Перун размерами с тигра, но у всех хорошо вышли глаза.

Вот оно, по-настоящему заслуженное первенство. Как он был горд! Какая радость сверкнула в глазах и сейчас же застенчиво спряталась.

— Шакалик, милый зверь, садись кушать дыню, — сказала Юна.

А Перуну дали горбушку с медом.

18

Сегодня первый день отпуска Алексея Михайловича. Ночью он с ребятами ходил ловить рыбу. Падали звезды. Была тишина. Пахло водорослями. Наловили мелочи, но зато какое удовольствие провести ночь в лодке с удочками! Шакал заявил, что он поедет в Москву. Завтра же. Почему в Москву? Разве нельзя учиться здесь? Нет, он поедет. Он поступит в художественную школу и будет учиться рисовать. Здесь он, может быть, опять не будет ходить в школу. Он поедет один, без всяких взрослых помощников и покровителей. Ему некогда ждать. Он должен сейчас же начать рисовать. Ребята разъезжаются на каникулы. Рыжий послан в Артек, как лучший юннат. Юна едет с отцом в Ялту. Она обещала писать Алексею Михайловичу, обещала привезти камешков, обещала загореть «под орех».

Провожали Шакала. Он простился со всеми неприветливо. Он стоял у окна вагона и хмурился. Шакал хотел показать свою независимость. Алексей Михайлович попросил его написать о своих успехах. «Ладно, может быть». Но Алексею Михайловичу на сохранение оставлен Перун, а это большое доверие.

Поезд тронулся. И все провожающие вдруг ужасно заторопились, точно еще не все сказали, хотя перед этим стояли молча, со скучающим видом. А поезд уходил и тоже торопился. Был ясный вечер. На фоне золотого неба — круглая голова Шакала, высунувшегося из окна. Волосы его стоят дыбом. Алексей Михайлович думал, что он махнет ему рукой, но он не обернулся. Он смотрел вперед.

А. Козачинский

ФОНЯ

Рассказ

Уже несколько дней шел дождь — тот особый московский дождик, который льет только над столицей, строго придерживаясь городской черты.

Нигде, кроме Москвы, такого дождя, кажется, не бывает.

Серое небо лежит низко, на уровне пятых этажей. Город живет в полумраке, как при свечах. Под ногами журчит вода. Дождь клубится в воздухе. Он не каплет, не брызжет, не сеет, не моросит. Он невидим. Неизвестно, откуда он берется. Он не падает сверху, а как бы сочится из тротуаров и мостовых и поднимается от земли облаком водяной пыли.

Вода везде: в трамваях пар и слякоть; спички отмокают в карманах; ржавчина забирается под крышки часов; кажется, что в городе не осталось ни одной сухой вещи.

В такой день Москва грязна, зла и неприветлива.

Но только до вечера. Удивительно: невидимый московский дождик настолько же украшает город вечером, насколько омрачает его днем.

Мокрый асфальт удваивает ряды уличных фонарей, отражая их, как река. Огни кажутся желтыми и лишенными сияния, будто пар, стоящий над землей, впитал их лучи. Свет, слившийся с водяной пылью, становится плотным и вещественным. Так, собственно, должно было бы выглядеть дождевое облако, освещенное изнутри, в котором поместился город с вереницами автомобилей и толпами гуляющих. Сквозь золотистый туман, наполняющий улицы, автомобили кажутся сверкающими, здания величественными, одежды нарядными, девушки хорошенькими. Злые, промокшие москвичи куда-то исчезают с тротуаров, как будто поворот рубильника, зажегшего фонари, сгоняет с улиц толпу усталых, озабоченных деловых людей и вызывает на ее место притаившуюся где-то в засаде нарядную и жизнерадостную толпу весельчаков, только и ждавших этого сигнала, чтобы ринуться в театры и рестораны, на свидания и товарищеские пирушки.

Под выходной день толпы весельчаков особенно жадны, шумливы и многолюдны. Между семью и девятью они завладевают всем городом; не остается ни одного билета в кино, ни одного столика в ресторане, ни одного таксомотора, которые не были бы захвачены ими.

Город настроен легкомысленно.

Когда вечерний автобус, мчащийся куда-нибудь на Усачевку, подпрыгивает на выбоине, из разных его углов раздается звон стекла. Свеже выбритые молодые люди бережно везут на коленях продолговатые пакеты в одинаковой обертке, одинаковой формы, в которых, несмотря на различный объем, можно обнаружить нечто вроде фамильного сходства.

Все эти свертки — из «Гастронома» № 1, мимо которого недавно проезжал автобус. Молодые люди, несомненно, едут пировать.

В эти же часы кучки тщательно выбритых людей скопляются у входов в метро. Они никуда не едут; они пришли на свидания. Они стоят у колонн плечом к плечу, скромные и щеголеватые, невзрачные и красавцы, юноши и мышиные жеребчики, терпеливо вглядываясь в темноту; время от времени оттуда появляется девушка и со смущенной улыбкой выхватывает кого-нибудь из кучки. Оставшиеся смыкают ряд, как солдаты шеренгу, пробитую ядром. Но не все ожидают снаружи; в верхнем вестибюле стоит такая же кучка — менее пылкие, более зябкие; и еще одна кучка обособляется внизу, в нижнем зале. Внизу совсем тепло; но зато девушка, которую ожидают здесь, может проникнуть к своему возлюбленному, лишь заплатив тридцать копеек за билет.

Если забрести в этот час в тихий московский переулок, остановиться и прислушаться, можно услышать, как верещит какой-нибудь приземистый старый дом. Дом издает неясное комариное жужжанье, поверхность его вибрирует, как крышка рояля; изнутри доносится заглушенный стенами и двойными рамами хаотический контрапункт — смех, голоса, звон посуды, бренчанье гитары, дружный хор из двух десятков репродукторов и — откуда-нибудь из полуподвала — всепобеждающий лейтмотив шумной вечеринки. Везде гости. И если некоторые окна темны, то, несомненно, только потому, что хозяева ушли в театр или в гости, в другой старый дом, другой тихий переулок.

Часам к десяти толпа редеет; весельчаки исчезают с тротуаров; все уже у цели. На улицах остаются скучные и озябшие люди — обыкновенные прохожие.

В один из таких дождливых ноябрьских вечеров на станции метро «Охотный ряд» появилась очень странная личность. Побродив по вестибюлю, вошедший присоединился к кучке франтов, сплотившихся на небольшом пространстве между колоннами, против входа. Среди них произошло замешательство, какое можно наблюдать в стае зверей, к которым приблудилось животное чужой породы.

Впрочем, к франтам он примкнул в какой-то мере против собственной воли. Сначала он сделал несколько бессмысленных зигзагов в разных направлениях: сунулся к кассам, потоптался у телефонных автоматов и киоска Тэжэ; попал в людской поток, хлынувший снизу; был им подхвачен, отнесен к выходу и выброшен на постового милиционера; метнулся снова к кассам, где его всосало в клубок очередей, закружило у окошек и выплеснуло на спокойный островок, к франтам.

Вошедший был босяк и, — что удивительнее всего, — молодой босяк. Босяки исчезли с наших улиц давно и как-то незаметно. Они еще, кажется, попадались изредка, когда Охотный ряд был замощен булыжником и загорожен церковью, когда милиционеры носили красно-желтые петлицы и мерлушковые кепи, когда по улицам бегали такси «Рено» — в те далеко отошедшие годы, которые уже можно назвать советской стариной. Если сейчас на улице встречается каким-то чудом сохранившийся босяк, он привлекает всеобщее внимание, на него оглядываются, как на красивую женщину.

Это был босяк грязный, жалкий, но не отвратительный, не классический оборванец в бесформенных лохмотьях, как бы растущих прямо из

тела, как оперение чудовищной птицы, а босяк, сделавший уступки времени, поблекший, утративший внешнее великолепие, былую развязность и самодовольство, который в другом месте, в другой толпе, может быть, сошел бы просто за неважно одетого человека. Но в мраморном зале метро, среди сверкающих огней, в шеренге чинных кавалеров, он выглядел настоящим бродягой.

Голова его вместе с ушами глубоко ушла в кепку странного и гнусного цвета, какого нет, конечно, в солнечном спектре и какой создан, вероятно, специально для того, чтобы усугублять бедствия людей, гонимых судьбою. Брюки и куртка, наоборот, утратили всякий цвет, вернее, приобрели цвет грязи, унесенной из всех трущоб, где приходилось спать бродяге. Поверх двубортного твинчика он был подпоясан веревочкой, которая должна была согревать его, прижимая к телу полы куртки. Галоши, надетые на босу ногу, тоже были подвязаны веревочкой.

Он озирался кругом, как волк, забежавший на деревенскую улицу. Но это не был взгляд дерзкий и угрожающий: скорее, это был взгляд животного, которое часто бьют.

Это был вор — серый, провинциальный вор-неудачник, опустившийся, дошедший до крайности, прибывший в Москву только сегодня поездом с юга. Он приехал, как приезжают десятки тысяч людей из провинции, стремящихся сюда, чтобы учиться, работать, пробиваться вперед; но он собирался здесь воровать.

Последний вор своего городка, он покинул его, теснимый наступающей со всех сторон честностью. Его товарищи либо добровольно оставили свое ремесло, либо покинули город с помощью правосудия. Уцелел он один, — может быть, благодаря случаю, может быть, благодаря тому, что, будучи посредственным вором, всегда оставался в тени. С течением времени в городе не только прекратились кражи, но даже вошло в обычай возвращать находки, о чем в местной газете каждый раз сообщалось под заголовком «Честность». Единственный городской агент угрозыска отлично знал своего единственного вора и при встречах смотрел на него так выразительно, что он вынужден был прекратить кражи в черте города и лишь изредка позволял себе похитить что-либо в окрестных деревнях. Но и это не обеспечивало ему спокойствия; он стал опасаться, чтобы кто-нибудь из жителей или его раскаявшихся друзей не впал в соблазн и не совершил какого-либо неблаговидного действия, за которое, несомненно, пришлось бы расплатиться ему, как единственному вору городка. В конце концов, не выдержав бремени постоянных опасений за добропорядочность сограждан, он решил покинуть этот город, где, как ему казалось, остановилась жизнь. Он перебрался в соседний, более крупный городок, но сразу же попался на каком-то пустяке и был арестован.

Он был человек темный, почти неграмотный, робкий и неумелый вор, с тусклой и невыразительной кличкой Фоня. Воровством он занимался с детства. Однако к преступной жизни его влекла не врожденная порочность, как можно было бы думать, а как раз те черты характера, которые ценятся в других людях: прилежание, послушание и скромность. Послушание заставляло его беспрекословно подчиняться наставлениям родителей, старых рецидивистов; скромность мирила его с бедной и скучной жизнью мелкого вора; отсутствие фантазии и какого-либо представления о другой, не воровской жизни удерживало его от поисков чест-

ной дороги. Родителей его выслали, общество профессионалов распалось, и он остался вором-недоучкой, забытым угрозыском, прозябающим в бедности и одиночестве. Как всякий плохой вор, он не имел специальности: он мог влезть в окно, очистить курятник, забраться в карман, раздеть пьяного, утащить с воза кнут. Он не гнушался даже работой «на цып»: следил за какой-нибудь лавкой, заметив, что продавец ушел в заднюю комнату, прокрадывался на цыпочках внутрь, хватал с прилавка первый попавшийся предмет — кусок колбасы, мыло или даже просто гирю и так же тихо, на цыпочках, выходил на улицу. Опытные воры презирали работу «на цып», и если в трудную минуту и занимались ею, то никогда не признавались друг другу в этом. Фоня жил на краю города, у старой, глухой бабки, бывшей самогонщицы; ни с кем не встречался, ни о чем не задумывался, ничего не знал о жизни. К сожалению, и в тюрьме, благодаря своей незначительности, он остался как-то в тени; его не заметили, не занялись им по-настоящему. Он просидел только три недели и не успел вынести из тюрьмы ничего, кроме двух новых стальных зубов и начатков знания игры на домре.

Однако в тюрьме он наслушался разговоров о Москве, и здесь у него зародилась мысль о поездке в столицу. Он выпросил у бабки денег на билет и отправился в дорогу.

Москва его разочаровала: холод, дождь, суета и милиционеры в невиданном количестве.

Все, что он мог здесь украсть, было слишком крупно, ценно и доброкачественно. Его глаз и рука не привыкли к предметам, которые его здесь окружили, и плохо повиновались ему. С самого утра он пытался что-нибудь украсть — но безуспешно. Возможностей было сколько угодно, но он их упускал. В одном магазине какая-то женщина, расплачиваясь у кассы, сама дала подержать ему новый патефон; но, привыкнув к добыче, которую он находил в деревенских сараях, курятниках и погребах, Фоня не решился унести эту вещь. Случайно он попал на большой рынок, где торговали старыми вещами; здесь он почувствовал себя увереннее, но вдруг явственно ощутил, что чья-то рука обшарила его карманы. Он был так испуган и взволнован, что поспешил покинуть рынок, не догадываясь о природе этого чувства, которое было ничем иным, как пробудившимся на секунду инстинктом собственника.

Между тем что-нибудь украсть ему было совершенно необходимо, ибо от аванса старой бабки у него не осталось ни гроша, и он был голоден. Лишь под вечер ему удалось украсть у мальчика на бульваре игрушку «три свинки» — плоскую коробочку с маленькими свиными тушками под стеклянной крышкой. Но этот предмет был ему бесполезен.

Фоня ходил по улицам весь день. Он был бродягой и привык к невзгодам; но он был южным бродягой и потому страдал от холода. Невидимый московский дождик промочил его до костей. Он потерял надежду украсть что-либо и уже только мечтал об убежище, где мог бы обсохнуть и согреться.

Так он забрел в метро.

Как только Фоня появился на станции метро, дежурный милиционер устремил на него пристальный взгляд. Он смотрел на него с молчаливой корректностью, свойственной подземным милиционерам, решая, пови-

димому, вопрос, совместимо ли пребывание Фони в вестибюле с правилами пользования московским метрополитеном.

Москвичи знают, что молчаливость отличает милиционеров метро от всех прочих милиционеров — от словоохотливых орудовцев, непрерывно расшаркивающихся и козыряющих направо и налево, от голосистых речных милиционеров, бороздящих водные просторы на оглушительно ревущих моторных лодках. Подземные милиционеры не жестикулируют, не свистят. Охрана входов в туннели предрасполагает к созерцательности. Они не кричат, как на реке, не размахивают руками, как на перекрестке. Они стоят и думают о чем-то своем, милицейском; и если в поле их зрения случается какой-нибудь непорядок, обычно бывает достаточно их неторопливого приближения, чтобы все уладилось само собой.

В течение двух часов милиционер пристально разглядывал Фоню. Пока Фоня находился среди франтов, он превозмогал страх перед этим неподвижным взглядом. Мысль о холоде и дожде приковывала его к месту. Но когда девушки увели всех, кто был вокруг него, и он остался наедине с милиционером, он не выдержал и бросился к выходу.

На улице его встретил тот же дождь, но стало еще холоднее. Было около десяти часов вечера. Фоня снова зашагал по улицам, не обращая внимания на витрины магазинов, на неоновые вензеля, на двухэтажные троллейбусы и подметальные машины; равнодушный к чудесам большого города, он ничего не замечал и ничему не удивлялся, хотя ноги его сегодня впервые ступали по асфальту.

Он шел все вперед и вперед, мелкой воровской походочкой, по которой опытные агенты узнают вора за сто шагов, подняв воротник, втянув голову в плечи, согревая руки подмышками, не сворачивая ни направо, ни налево и разглядывая только то, что оказывалось у него под ногами, — лужи, подворотные тумбы, бордюры тротуаров, трамвайные пути. Из под нахлобученной кепки был виден кончик его носа и куски посиневших щек. Очарование этого вечера не коснулось его; светящийся туман не золотил его одежды, как будто он гасил фонари, мимо которых проходил.

Со всех сторон его окружали те, кого он причислял вместе с огромным большинством человечества к категории потерпевших. Они были тепло одеты, сыты, довольны и знали, куда идут. Они вышли из домов и шли в дома. Их жизнь была легка. Они никого не боялись. Им никто не угрожал, кроме Фони. Фоня же боялся всех, и все ему угрожали. Самый бедный из них был богаче, чем он; самый несчастный — счастливее; самый ничтожный — значительнее. Но он не думал об этом, не жаловался, не спрашивал себя, почему только он обречен на жизнь, полную страха и лишений; почему среди всей массы спокойных и довольных людей, которых он называл потерпевшими, только на его долю выпал труд такой тяжелый, неблагодарный и опасный. Подобные мысли не приходили ему в голову. Его ум регистрировал только физические ощущения: замерзли пальцы, промокли ноги, бурлит в животе. Он ничего не знал о причинах своего несчастья; он понимал в них столько же, сколько понимает в случившейся беде дождевой червь, которого окуривают табачным дымом. У него теперь была одна надежда, одно желание: чтобы поскорее погасли огни в окнах, чтобы поскорее пришла испытанная союзница — ночь.

По случаю выставки картин Рембрандта Центральный музей живописи и скульптуры охранялся особенно тщательно. Впрочем, и в обычное время никакой злоумышленник — будь то искуснейший взломщик с европейской славой, будь то одухотворенный маниак — похититель картин — не смог бы проникнуть сквозь двойную цепь охраны, круглые сутки дежурившей снаружи музея и внутри, сквозь массивные решетки и тяжелые двери, надежно замыкавшие все входы и выходы, и, наконец, сквозь недавно устроенную систему фотоэлементов, от бдительности которых не могла бы ускользнуть и мышь.

В эту ночь на посту наружной охраны дежурил пожилой милиционер Сафронов.

Он бодро расхаживал взад и вперед перед главным фасадом и вдоль боковых крыльев, притопывая, пританцовывая и похлопывая рукавицей о рукавицу, — не столько, впрочем, от холода, сколько от хорошего настроения и от избытка сил.

Сафронов был доволен своей жизнью и положением. Он был женат, но бездетен; жалованье, правда, получал маленькое, но зато имел казенное обмундирование и квартиру почти даром. А жена-ткачиха зарабатывала втрое больше его. Сафронов жил спокойно, чисто, привык к комфорту, к стенным шкафам, к газовой колонке, к диэтической столовой, брил бороду ежедневно, а затылок через день; любил музей, уважал искусства и, закаленный дежурствами на свежем воздухе, не знал болезней. Сегодня он испытывал особое чувство благополучия и довольства жизнью, в основе которого, как это часто бывает, лежал факт совершенно незначительный: новые черные валенки с галошами, полученные утром в цейхгаузе.

Несмотря на ненастье, в добротной зимней одежде ему было ладно и тепло, как в уютном маленьком домике. Под курткой у него был теплый свитер, а сверх шинели — прорезиненная пелеринка. Шерстяные рукавицы хорошо грели руки, а ногам было тепло в новых валенках.

Сафронов был отличный милиционер, исправный и надежный; старый кадровик, еще из дореформенных «снегирей», носивших черные шинели с красно-желтыми петлицами. Все двенадцать лет своей службы он охранял музей; по соглашению с дирекцией, высоко ценившей его исполнительность, начальство не откомандировывало его ни на какие другие посты.

Он сжился с музеем, знал в нем каждую вещь, изучил наизусть путеводители. Не раз ему случалось во время дежурств на внутреннем посту, вежливо козыряя, давать экскурсантам разъяснения по поводу того или иного произведения искусства. Впрочем, не все искусства были одинаково близки ему. К живописи Сафронов был равнодушен, так как обладал особым, часто встречающимся устройством зрения, которое мешало ему понимать перспективу и воспринимать глубину на плоскости. Человек, поставленный в профиль, казался ему лишенным руки, уха, глаза и всех тех частей тела, которые живопись, не будучи искусством объемным, не в состоянии изобразить. Рассматривая картину, он ощущал потребность заглянуть за раму, обойти ее сзади, чтобы найти эти недостающие части тела.

Его любимым искусством была скульптура. Он отлично знал каждое изваяние музея. Особенно ему нравились скульптуры мужественные, или, вернее, молодцеватые. Подобно тому, как мы усваиваем манеры, инто-

нации и привычки людей, с которыми долго живем и даже с течением времени становимся похожи на них лицом, Сафронов, проведя значительную часть своей жизни в музее, приобрел многие внешние черты своих любимых скульптур эпохи Ренессанса. Может быть, и случайно, но его густые усы были точной копией усов легендарного короля Артура; может быть, бессознательно, но он часто становился в позу, повторявшую изгиб талии короля Теодориха, работы Петра Фишера. Находясь на внутреннем посту, он обыкновенно выбирал место между конными статуями Коллеони и Гаттамелаты и осененный их могучими силуэтами, расправлял плечи, упирал подбородок в ремень своего шлема и чувствовал себя так, будто стоит с ними в одном карауле.

Это был милиционер, которого не коснулась грубая сторона жизни. Искусства были ближе к нему, чем преступность. Его рука никогда не прикасалась к плечу злоумышленника. Даже пьяные избегали музея, быстро трезвея в его торжественной тишине.

Двенадцать лет расхаживал Сафронов по этому тротуару, на котором ему была знакома каждая трещина. Как всегда, он заглядывал в слабо освещенные окна полуподвального этажа, где были размещены египетский и греческий отделы. Погруженный в полумрак и тишину, скульптурный отдел, наполненный голыми, бледными, скорченными фигурами, окоченевшими, опрокинутыми навзничь, с оторванными членами, отбитыми головами, — напоминал мертвецкую или анатомический театр. Узкоплечий Перикл в шлеме, почти таком же, как у Сафронова, смотрел на него снизу пустыми глазами; дальше замер в изнеможении Лаокоон; Фарнезский бык взвился на дыбы над несчастной Дирцеей; сплелись в последней схватке разбитые на куски боги и гиганты Пергамского фриза.

Сафронов шагал, оглядывая пустые тротуары и ряды окон, в которых между неподвижными изваяниями иногда мелькала фигура внутреннего сторожа Ивана Ефимовича, и размышлял о разных разностях, в частности о том, что для того, чтобы постовым милиционерам было тепло, изобретены особые электрические валенки.

Фоня появился перед музеем в тот момент, когда спина Сафронова только что скрылась за углом. Было около двух часов ночи. Погода переменилась. Начало подмораживать, тротуары обледенели, сверху сыпалась снеговая крупа; ветер мел у самой земли. Остановившись перед музеем, Фоня стал оглядываться по сторонам, поворачиваясь всем корпусом, не двигая шеей и не отводя щек от поднятого воротника, как делают это сильно замерзшие люди. Затем он пошел вслед за Сафроновым и минуты через четыре вернулся на то же место, обойдя здание кругом. Потоптавшись на площадке перед входом, он повторил свой маневр. Так он обошел музей несколько раз, не встретившись с Сафроновым. Они двигались по кругу, как две планеты по одной орбите, примерно с равной скоростью, разделенные музеем, поочередно появляясь перед главным фасадом и исчезая за углом, уверенные, что, кроме них, здесь нет никого.

Затем Фоня стал заглядывать в окна первого этажа. Он увидел ряд небольших комнат, неярко освещенных, обставленных на один манер:

кое-где стояли кресла, столики, на стенах висели картины. Собак, кроватей со спящими людьми не было. В доме, повидимому, было мало жильцов.

Не раз уже заглядывал в окна Фоня этой ночью, но в освещенных комнатах он видел людей, а в темные лезть не решался.

Фоня боялся темноты; не так, как боятся ее дети, а так, как может бояться ее только вор. Это не был невинный страх ребенка, которому мерещится в темном углу серый волк или Баба-Яга, и не страх неврастеника, которого одолевают ночные видения. Темнота у себя дома, на улице, в степи, даже в дремучем лесу не пугала его; его пугала темнота в чужой квартире. В каждой ночной краже была минута мучительного страха, в течение которой нужно было открыть окно, просунуть голову внутрь и затем погрузиться в угрожающую темноту чужой квартиры, где на каждом шагу ему мерещились невидимые ловушки и спасности: спящие люди, которые могли проснуться; цветочные горшки, которые могли упасть от легкого прикосновения; собаки, которые могли вцепиться в горло и поднять лаем весь дом; и даже игрушечные детские гудки, брошенные на пол, на которые можно было наступить, о чем Фоне рассказывал в тюрьме вор, ставший жертвой подобной случайности: хозяева, проснувшиеся от рева рожка, на который тот нажал ногой, должны были отпаивать его валерьянкой. Иногда Фоне казалось, что из враждебной темноты чужого дома к нему протянется косматая лапа с острыми когтями и схватит его за лицо, или что ему на затылок прыгнет притаившийся в углу громадный тяжелый зверь. Словом, Фоня принадлежал к той категории воров, которые любят влезать в освещенные помещения, хотя на родине, где он почти всегда воровал из темных сараев и овинов, ему редко удавалось следовать этой наклонности.

Ночь близилась к концу. У Фони не было выбора. Приходилось лезть в какое-нибудь окно, пока не наступило утро. Но страх гнал его от дома к дому, из переулка в переулок.

Музей, окруженный глухими, безлюдными улочками, с окнами, расположенными на удобной высоте, показался Фоне самым доступным, мирным и беззащитным зданием в городе; он был пуст, освещен и одинок; более счастливого стечения обстоятельств нельзя было и желать.

Перед ним было большое окно с тяжелой, железной решеткой между рамами, украшенной поверх перекладин художественным литьем. По краям ее обрамлял простой геометрический узор — меандр, состоящий из ряда незаконченных, переходящих друг в друга квадратов; середина была занята превосходным растительным орнаментом из листьев, стеблей и усиков аканфа.

Привыкнув мысленно примерять свое тело к различного рода отверстиям, Фоня с одного взгляда убедился, что его голова и рука легко пройдут в один из квадратов нижнего ряда, смежного с меандром, почти свободный от орнамента. По опыту он знал то, чего простительно было не знать художнику, изготовлявшему рисунок решетки: что если в прямоугольное, немного вытянутое отверстие проходят голова и рука, то за ними пройдет и все тело.

Два чугунных лепестка аканфа входили в квадрат из противоположных углов, чтобы уменьшить отверстие и сделать его недоступным для воров. Но диагональное расположение лепестков не могло помешать

Фоне, ибо его тело должно было поместиться в квадрате также по диагонали — именно по той, которая оставалась свободной.

Он вытащил из кармана фомку; замерзшие пальцы не гнулись, фомка показалась ему теплой. Не теряя ни секунды, он подковырнул ею раму; нельзя медлить у окна, которое взламываешь. Рама отошла со звоном и дребезжанием, дергая по фрамуге опущенным шпингалетом.

Сафронов между тем неумолимо приближался к месту преступления; он находился уже в тридцати шагах от Фони, за углом. Но Сафронов ничего не услышал. Ночная тишина не донесла до него звона стекла и дребезжания оконной рамы — тревожного звука, который должен был столько сказать уху милиционера.

Произошла одна из тех мимолетных, неуловимых случайностей, которыми наполнена жизнь, проходящих бесследно, но часто незаметно для нас управляющих ходом событий и судьбой людей; одна из тех незримых мелочей, которые почти всегда лежат в основе того, что мы называем непонятным и что на самом деле является лишь непонятым. Какой следователь не объяснил бы случившегося необыкновенным искусством злоумышленника? А между тем только ничтожная, навсегда утерянная подробность — почти бессознательный жест Сафронова, которого не заметил, не запомнил и не связал с происшедшим он сам, могла объяснить то, что произошло.

Случилось так, что как раз в тот момент, когда Фоня взламывал окно, Сафронов решил опустить маленькие потайные наушнички, которые имеются под шлемами милиционеров и, не вредя их молодцеватости, согревают уши в морозную погоду. Шуршанье грубой колючей ткани в одном сантиметре от уха Сафронова прозвучало, как грохот, и заглушило звон рамы, которую Фоня взламывал самым грубым, самым варварским способом, прокладывая себе путь в музей, как в деревенскую конюшню или курятник. Давно оставившее его воровское счастье как будто решило вознаградить его за все неудачи. Опустив наушники, Сафронов пошел в обратном направлении.

Вторая рама легко поддалась внутрь, так как шпингалеты даже не были задвинуты; небрежность, легко объяснимая уверенностью в надежности решетки. Бросив фомку на землю, Фоня всунул внутрь голову и вытянутую вперед руку, другую руку тесно прижал к боку и, сокращая и выпрямляя тело, движениями ползущей гусеницы стал вдвигаться меж прутьев решетки. Острый чугунный лепесток аканфа царапал спину Фони и грозил затормозить движение; но, пройдя поясницу, так удачно совместился с контурами его тела, что оно ладьей скользнуло вперед.

Фоня почти влетел в музей, с трудом удержавшись на подоконнике.

Глуховатый сторож Иван Ефимович был одним из тех преданных делу стариков, которые не только, как говорится, живут своим делом, но и досконально его знают.

Дело, к которому был приставлен Иван Ефимович, была живопись. Уже тридцать лет охранял он картинную галлерею музея. Сведения о живописи, которыми он обладал, были обширны, но своеобразны.

Иван Ефимович полагал, что цель искусства заключается в достижении наибольшего сходства с натурой. В этом не было бы ничего не-

обычного, ибо так думает большинство людей. Но Иван Ефимович суживал этот принцип до такой степени, что признавал за каждым художником способность изображать только один какой-нибудь предмет — тот, который, по его мнению, получался наиболее натурально. У Воувермана он одобрял только белых коней, у Терборха — атласные юбки, у Ван дер Вельде — песчаные овраги, у Деннера — морщины стариков и старух, у Ван дер Пуля — пожары, у Ван дер Хейдена — кирпичи на зданиях. В пределах этой узкой классификации, которая почти всегда правильно отражала преобладающую специальность художника, Иван Ефимович прекрасно ориентировался и обладал массой сведений. Он никогда не спутал бы кирпичей Ван дер Хейдена с атласными юбками Терборха, не смешал бы морщин Деннера с оврагами Ван дер Вельде и не приписал бы белых лошадей Воувермана любителю пожаров Ван дер Пулю.

Иван Ефимович проводил в залах музея целые дни, но не имел возможности рассматривать картины: он обязан был сидеть на стуле и наблюдать за публикой. Изучением живописи он занимался во время ночных дежурств. Надев на нос роговые очки, мягко ступая неподшитыми валеночками, Иван Ефимович расхаживал по опустевшим залам, время от времени задерживаясь у какого-нибудь холста и разглядывая его при неверном электрическом свете.

В эту ночь он чаще, чем где-либо, останавливался у недавно открытой под позднейшей записью и реставрированной «Форнарины» Джулио Романо. Эта находка взволновала знатоков. Иван Ефимович был также очень заинтересован ею. Подлинные работы лучшего ученика Рафаэля открывают не часто. К тому же «Форнарина» была первой картиной Романо, которую увидел Иван Ефимович.

Теплые красноватые телесные тона и дымчатые тени, отличающие этого художника, погружали Ивана Ефимовича в задумчивость. Нежная и слегка утомленная кожа, какая бывает у женщин, обязанных своей красотой не только природе, но и различным кремам и притираниям, складки легкой одежды — все это отмечалось и взвешивалось Иваном Ефимовичем с одной целью — найти для незнакомого мастера подобающее место в созданной им системе.

Строгий и задумчивый стоял Иван Ефимович перед «Форнариной», а в это время, за четыре зала от него, на подоконнике сидел Фоня, прислушивался и озирался по сторонам.

Было так тихо, что ухо само рождало призраки звуков; казалось, что где-то раздается шорох перьев по бумаге, что где-то бегают невидимые цыплята, стуча лапками по твердому паркету.

Сквозь дверь, расположенную против подоконника, был виден большой скульптурный зал; налево, в длинной галлерее, была размещена вся русская коллекция Рембрандтов, привезенная из Эрмитажа. «Блудный сын» и «Снятие с креста» мерцали против входа. Их сумеречные тона сливались с глубокими тенями полуосвещенного зала; края досок расплывались в темноте. Комната, в которой находился Фоня, была невелика и казалась лучше освещенной. На двух ее стенах расположились маленькие голландцы; на третьей висели натюрморты Снейдерса.

Фоня сидел на подоконнике, восхищенный роскошью помещения, удивленный его обширностью и огорченный пустотой. Фоню ободрила необитаемость дома и царящая в нем тишина, но смутила обманувшая его ожидания скудная обстановка. Он соскочил на пол и обошел ком-

нату, прислушиваясь, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что ему встречалось на пути.

Освидетельствовал обитую шелком кушетку, два кресла, маленьких голландцев, натюрморты; заглянул в зал Рембрандта, в скульптурный зал; отпрянул оттуда, слегка испуганный неподвижностью белых фигур.

Осмелев, он расхаживал по комнате среди фотоэлементов, не подозревая об опасности, как легкомысленный рыболов-любитель, резвящийся с удочкой на минном поле. Пренебрегая их бдительностью, он останавливался у картин, водил пальцем по золоченым рамам, зевал и даже почесывался. Затем, шлепая по паркету подвязанными галошами, стал шарить по углам, ища подходящей добычи.

Но подходящей добычи не было.

Тогда он снова стал разглядывать натюрморты; никогда еще дичи Снейдерса не угрожал столь жалкий браконьер. Окинул взглядом маленьких голландцев; покосился на полотна Рембрандта. Ничто, казалось, не могло теперь помешать судьбе, которая решила вознести его на высоту, где доселе пребывал лишь гений похитителя Джиоконды. Это должно было произойти даже против его воли, помимо его желания. Если бы в этой комнате стояла пара сапог, он, несомненно, унес бы сапоги; это было бы естественно, ибо в его городке никогда не похищали картин, и он никогда не слышал, чтобы их продавали с выгодой. Но здесь не было ничего, кроме картин; казалось, он не мог отсюда вынести ничего, кроме Рембрандта, Снейдерса, Терборха или Метсю.

И действительно, Фоня снял со стены «Больную» Метсю, затем жемчужину собрания — «Бокал лимонада» Терборха и еще несколько его картин, среди них — знаменитое «Письмо». Он накладывал их на согнутую левую руку, как поленья. Можно было подумать, что он сознательно отбирает шедевры, известные всему миру. Но на самом деле он руководствовался лишь глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин миллиона на полтора (для чего ему пришлось протянуть руку четыре-пять раз) — Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую должен был придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности; не придавая почти никакой цены своей добыче, Фоня считал нужным набрать ее побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества.

Но в тот момент, когда Фоня, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета, висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам.

Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявлял о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета — удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших здани-

ях его городка — в закусочной, кино и многих магазинах; распространенность предмета обеспечивала его сбыт.

Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду.

Он был отлично отделан — гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно, полезная всюду. Ни одно хорошее помещение, повидимому, не могло обойтись без нее.

Подавив в себе робость, которую вызвала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта, Счейдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость.

Он благополучно выполз на улицу, вытащил красный сосуд, прикрыл раму и уже сделал шаг от стены, но вдруг увидел милиционера, который появился из-за угла и шел по направлению к нему.

Фоня замер, сжался в комок и приник к кусту, росшему под окном.

Искра за искрой летела по проводам из зала маленьких голландцев. Приспособленные к уловлению едва заметных, скользящих теней, бдительные фотоэлементы слали вести о небывалом вторжении, призывая к тревоге мощные электрические звонки. Неуклюжая и грубая масса, назойливо маячившая перед их чувствительнейшими органами, которые можно сравнить лишь с тончайшими нервами живых существ, внесла возмущение в их хрупкую электрическую организацию; целые снопы искр летели в вестибюль к звонкам, извергаемые из сложных приборов видом невежественного, неопрятного существа, которое копошилось, зевало и почесывалось в запретном пространстве. Но первая же искра, пробежав по залам, пронесясь над головой Ивана Ефимовича, остановившегося у «Форнарины», проскочила в одном метре от сигнального аппарата сквозь стенку шнура и соединилась с искрой, мчавшейся рядом по смежному проводу. Зашипела, расплавилась резина, из провода показалось пламя; вначале едва заметное, оно перебежало на прислоненные к проводу плакаты о выставке Рембрандта, ярко вспыхнуло и стало пожирать холст, пропитанный клеевой краской. Дым окутал молчащие звонки, сигнальную доску и столик с телефоном.

Покинув «Форнарину», Иван Ефимович остановился у входа в зал маленьких голландцев; перед тем как войти, он протянул руку к кнопке, незаметно вделанной в дверной косяк, чтобы выключить фотоэлементы в этом ряду зал. Но рука его замерла в воздухе; несколько секунд старик стоял на пороге, устремив неподвижный взгляд внутрь зала, ничего не видя, однако, перед собой — ни мокрых следов на полу, ни щели плохо притворенного окна, ни груды картин на кресле у стены. Не шевелясь, он втягивал в себя холодный и чистый воздух музея, к которому примешивался едва заметный запах угара.

Иван Ефимович обернулся — легкая дымная спираль, как шарф Форнарины, разостланный в воздухе, плыла на него; за ней двигалась другая, более плотная; дверь в вестибюль, видимая сквозь несколько залов, была затянута сплошной дымной пеленой.

Иван Ефимович побежал в вестибюль. В сером дыму мелькали языки пламени. Лампа под потолком светила желтым кружочком. Удушливый

чад горящей ткани наполнял помещение. Кашляя и задыхаясь, Иван Ефимович нырнул в дым, к стене, где стоял столик с телефоном и висел сигнал пожарной тревоги. Но здесь был главный очаг огня. С трудом ему удалось нащупать телефон; он приложил к уху горячую трубку, но ничего не услышал — из-за волнения или из-за треска горящего дерева, или потому, что провод был уже охвачен огнем. Тогда он бросил трубку на пол, пробежал, согнувшись, к выходу, распахнул дверь и с криком «пожар! пожар!» выскочил на крыльцо. Спрыгнув на тротуар, он продолжал взывать о помощи пронзительным и жалобным голосом давно не кричавшего, испуганного старика. «Сафронов! Пожар! На помощь!» кричал Иван Ефимович, перебегая с места на место; и вдруг увидел человека, бегущего к нему со всех ног с огнетушителем в руках.

За минуту до этого Фоня покинул куст, под которым сидел, изнывая от страха, считая себя погибшим, не в силах отвести взгляд от Сафронова, который неторопливо прогуливался перед фасадом, взад и вперед, взад и вперед, как будто умышленно не замечая Фоню, чтобы продлить его терзания. Каждый раз, когда милиционер приближался к нему, Фоне казалось, что, поравнявшись с кустом, он молча протянет руку и, пошарив в ветках, вытащит его наружу вместе с добычей.

Но, вместо этого, Сафронов завернул за угол; тогда Фоня вскочил и, обняв красный сосуд, бросился бежать.

Он бежал, ничего не видя перед собой, поглощенный мыслью об оставшейся позади опасности.

Крик Ивана Ефимовича едва не сбил его с ног. Он хотел повернуть назад, но вдруг словно искра проскочила у него по спине; и, даже не оглядываясь, он понял, что сзади бежит милиционер.

Тогда он бросился вперед, в сторону меньшей опасности. Он прижимал добычу к груди, заслоняя ее своим телом от преследователя; а навстречу ему, с протянутыми руками, бежал Иван Ефимович, выкрикивая непонятные слова: «Давай! Тащи сюда! Бей скорее!»

Фоня почувствовал слабость во всем теле; тяжелый цилиндр выскользнул у него из рук и стукнулся узким концом о землю; желтая струя вырвалась из цилиндра, разбилась об асфальт и ударила в валенки Ивана Ефимовича.

«Давай, направляй!» закричал Иван Ефимович и, видя, что тот замешкался, подхватил передний конец огнетушителя и потащил его в двери, увлекая за собой Фоню. Ладони его словно прилипли к цилиндру; он оцепенел, как простейшее насекомое в момент опасности. Парализованный ужасом, ошеломленный неожиданным действием сосуда, он превратился в инертный придаток к огнетушителю и следовал всем движениям старика, утратив всякое понимание происходящего и воспринимая, как единственную реальность, страшный топот милиционера за своей спиной.

Подбежал Сафронов и ухватился за донышко. Стиснув между собой Фоню, Сафронов и Иван Ефимович стали поворачивать огнетушитель, утяжеленный вцепившимся в него вором. С трудом помещаясь вдоль его короткого ствола, они направляли струю в огонь, который и сам опал, как только сгорел холст. Лишь голые черные рамы плакатов тлели, шипя под струей пеногона, да вонючий дым валил на улицу. Через минуту все было кончено.

Вслед за последними клубами дыма изнутри выскочили два сторожа—из скульптурного отдела и со второго этажа. И, когда минута волнения и испуга прошла, все обступили Фоню. Сторожа стали пожимать ему руки, благодарить за быструю помощь. Они убеждали его явиться утром в дирекцию за наградой. А Сафронов, желая выразить Фоне признательность лично от себя, протянул руку, чтобы похловать его по плечу.

Милиционеры не любят, когда от них убегают. Рука, протянутая для ласки, быстро сжалась. Но она схватила только воздух. Фоня попятился, провалился в темноту, исчез.

Под утро Фоня вышел на площадь, пустынную в этот ранний час. В центре площади стоял милиционер; он возвышался на ней, как обелиск.

Площадь была обширна, как прерия. Фоня был едва различим на ее краю. Но милиционер вынул свисток, издал короткий, повелительный свист и поманил Фоню пальцем.

Фоня стал медленно приближаться к милиционеру по линии его взгляда, постепенно ускоряя движение, как болид, попавший в сферу земного притяжения.

Иногда он озирался по сторонам, словно желая ухватиться за что-нибудь, чтобы противодействовать влекущей его силе. Но ноги несли его вперед, как будто подчиняясь манящим движениям обтянутого белой перчаткой пальца, который продолжал сгибаться и разгибаться до тех пор, пока, в силу развитой инерции, всякое уклонение в сторону уже стало для Фони невозможным.

Достигнув центра площади, Фоня остановился перед милиционером. Это был большой рыжий милиционер; он смотрел на Фоню благосклонно, будто давно ожидая его здесь.

Рыжий милиционер спросил о чем-то Фоню. Тот пошарил в карманах, затем развел руками. Тогда, не возобновляя беседы, они двинулись через площадь, к цели, ясной для обоих, — Фоня впереди, милиционер сзади, соблюдая дистанцию — три шага.

Через пятнадцать минут Фоня был сдан в отделение, как бездокументный.

Его усадили на деревянную скамейку в комнате дежурного. Он сейчас же погрузился в дремоту, из которой его вырывали частые телефонные звонки.

Просыпаясь, он принимался обдумывать свое положение. Даже натуры, наименее склонные к размышлениям, обычно предаются им в ожидании допроса.

Это не был стройный ход мыслей, а лишь случайное мелькание обрывков воспоминаний, прерываемое припадками дремоты.

Картины прошедшего дня одна за другой проплывали в его полусонном сознании. Рынок, где его пытались обокрасть; женщина с патефоном; молчаливый милиционер в метро; решетка с острым чугунным лепестком; пожар; все события этой ночи. Что он пытался украсть? Где? Каким образом потерял свою добычу? Это осталось для него загадкой. В этом городе все подчинялось особым, неизвестным ему законам, даже кражи. Он чувствовал себя, как человек, дернувший неча-

янно рычаг огромного незнакомого механизма и пораженный его неожиданным действием.

Не было никакой надежды устроиться в этом городе, где нельзя работать «на цып», где простая кража влечет за собой столько необыкновенных, опасных и совершенно непонятных событий. Он вспомнил о родных краях, но картины прежней жизни были серы и холодны; они не были освещены и согреты ни дорогими образами детских лет, ни тоской по родным местам, ни доброй памятью о верных друзьях. Лишь один островок, более уютный и благоустроенный, чем вся его жизнь, возникал иногда на горизонте памяти: тюрьма, где он провел три недели.

— Войдите, — раздался голос. Молоденький сержант по-докторски распахнул перед Фоней дверь кабинета.

Через час Фоня, распаренный от многих стаканов чая, дымя папиросой, заканчивал показания. Он был весел и доволен: так иногда действует на человека неудача, избавляющая его от тягот дальнейшей борьбы.

Фоня рассказал обо всех украденных им курах, точно указав масть каждой; сосчитал всех похищенных поросят; подвел итог всем уздечкам, ряднам и кошелькам, добытым на базаре; всем шапкам, снятым с пьяных; сознался даже в похищении «трех свинок» у мальчика на бульваре; и умолчал только о том, что случилось с ним ночью в музее. Не раз возвращался он к одному и тому же поросенку; не раз дорожа истиной, уточнял число и породу похищенных кур, как бы сожалея, что источник признаний не может быть бесконечным, он повторялся, смакал подробности, готовый, из симпатии к сержанту, сознаться в любом количестве любых преступлений. Но о случае в музее он молчал, ибо не считал его преступлением. Его юридические представления были крайне смутны. Что означают понятия «умысел» и «покушение», он не знал и полагал, что власть интересуется только удавшимися преступлениями, пренебрегая теми, которые не могли быть успешно доведены до конца.

Утомленный его откровенностью, сержант, наконец, закончил протокол; но прежде чем подписать его, он задал Фоне — на всякий случай — вопрос, с которым обращались сегодня ко всем задержанным во всех отделениях милиции города Москвы:

— Не вы ли совершили попытку ограбления Музея живописи и скульптуры?

— Нет, — ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.

Подписался под протоколом и с легким сердцем отправился туда, где ему вставляли зубы и где его учили играть на домбре.

Ялта. Январь 1940 г.

О. Кузминская

МАРИНКА

Рассказ

1

Почтальон позвонил два раза. Дверь не открывали. Электрическая лампочка под потолком освещала медную дощечку с надписью: «Н. И. Петунин». Почтальон нажал кнопку еще раз.

Дверь открыла женщина с молодым лицом и пепельными, рано поседевшими волосами.

Почтальон протянул письмо.

— Петунину.

Женщина отступила назад и, вместо того чтобы взять конверт, молча смотрела на него.

— Заказное, распишитесь. — Почтальон протянул ей разносную книгу, ткнул пальцем в строку, где нужно было поставить подпись.

Рука женщины дрожала. Она с трудом вывела: «Пету...» и взяла конверт. Почтальон захлопнул дверь. В передней стало темно. Женщина стояла с конвертом в руке и не шевелилась.

2

Николай Иванович Петунин умер несколько месяцев назад. Крупные буквы, чей-то рукой выведенные на белом конверте, точно оживили воспоминания, и Нина Сергеевна Петунина с новой остротой почувствовала свое одиночество.

Пронзительно зазвонил телефон. Нина Сергеевна вздохнула, прошла в кабинет, отложила письмо в сторону, взяла трубку. Сослуживица веселым голосом сообщала ей о каких-то мелких происшествиях сегодняшнего дня.

Нине Сергеевне все это глубоко безразлично. И ссора терапевта с горловиком, волнующая всех ее сослуживцев, и какие-то новые порядки, которые заводит в поликлинике старший врач...

Она откидывает голову на спинку кресла, закрывает глаза, долго сидит так, не меняя позы. В квартире тишина.

Нераспечатанный конверт лежит на письменном столе. Над столом большой портрет Николая Ивановича. Под портретом несколько его фотографий, собранных Ниной Сергеевной под одно общее стекло.

Здесь пожелтевший любительский снимок огромной барской дачи. Из-за угла выглядывает босой мальчик с лукавыми, любопытными глазами. Он, конечно, не должен был попасть на снимок, где на первом плане восседает женщина непомерной толщины и важности, в огром-

ной шляпе. Это богатая фабрикантша, собственница дачи. Здесь вырос Николай Иванович, сын экономки, державшей на своих плечах все хозяйство. Рядом плохо отретушированная провинциальная фотография гимназиста с полустертой надписью: дружба, клятва и еще что-то совсем неразборчивое. Глаза гимназиста уже не лукавы, а смотрят требовательно, вопросительно. Потом — группа рабочих. Среди них Николай Иванович в косоворотке со студенческой фуражкой в руках. Ниже рисунки каких-то бревенчатых домиков на высоком фундаменте, подписано рукой Петунина — «ссылка». За рисунками — фотографии: Николай Иванович в военной гимнастерке, с командиром полка, среди красноармейцев. И наконец, Николай Иванович в тужурке, с открытым, веселым взглядом и Нина Сергеевна в Кисловодске, среди группы отдыхающих.

Нина Сергеевна смотрит на фотографии.

Какая она здесь молодая, веселая!

За стеной, в спальне, ритмично, точно дыхание спящего человека, тикают часы.

Эта хорошо обставленная квартира — кожаный строгий кабинет, уютная спальня, чистенькая кухня — кажется ей бессмысленной и ненужной, раздражает напоминанием о тех днях, когда она была счастлива. Предчувствуя бессонную ночь, Нина Сергеевна встает с кресла и достает из стенного шкапчика пузырек с лекарством.

Часы бьют двенадцать. Нина Сергеевна вспоминает о письме. Это не деловое письмо. Почерк закругленный, полудетский, незнакомый.

Она садится около лампы и распечатывает конверт.

Что это? Жестокая шутка?

Нина Сергеевна смотрит на подпись:

«Маринка, ваша дочь от двадцатого года. Вспомните!».

Одну секунду Нина Сергеевна медлит, с трудом переводит дыхание — читать или разорвать?

Но глаза уже впились в строчки.

Никаких сомнений! Дочь Николы... Ее Николы!..

Нина Сергеевна сидит с письмом в руке перед столом. Голова ее клонится все ниже и ниже. А Никола так хотел иметь ребенка!

Нина Сергеевна встает с кресла. Она ненавидит кого-то, хочет уничтожить, выкинуть из сознания. Кого? Маринку? Или ту, другую?.. Или самого Николая Ивановича?

Она не смотрит больше на фотографии. Она судорожно комкает в руке письмо. Злая, отвратительная бумага! Нина Сергеевна рвет ее на мелкие клочки. Потом ложится на диван и плачет. Как давно она не плакала!

С улицы доносятся голоса...

Нина Сергеевна вытирает мокрые ресницы, поправляет волосы, одергивает юбку. Хорошо, что ее никто не видит. Старая женщина... врач... хлюпает носом, уткнувшись в диванную подушку. Смешно! Она пробует улыбнуться, достает из сумочки, брошенной здесь же на кресле, маленькое зеркальце, разглядывает свое лицо. Нет! Она еще далеко не стара! Если бы не седые волосы, можно было бы дать лет тридцать пять, не больше. А сколько лет той, другой... матери этой Маринки?

Нина Сергеевна видит ковер, усеянный обрывками бумаги. Какое ребячество!

Быстро, словно боясь, что кто-то застанет ее за этим занятием, она поднимает клочки бумаги.

Надо прочесть внимательнее письмо Маринки.

Приходится подбирать клочки буква к букве. От дыхания Нины Сергеевны легкие бумажки трепещут, готовы разлететься.

«Отец! Верно вы не ждете...»

Несколько строчек нельзя разобрать. Сдерживая дыхание, Нина Сергеевна скорее угадывает, чем читает:

«...Попалась мне в руки прошлогодняя газета «Правда». Там ваш портрет и ваша биография. С тех пор хожу сама не своя. Просила одну знакомку в Москве достать ваш адрес. Долго не решалась писать... Я кончила школу и хочу учиться дальше, взяла билет, еду в Москву. Седьмого числа этого месяца, в шесть утра, буду на Киевском вокзале. В руках у меня будет приметный желтый чемодан, перевязанный домотканым поясом. Очень надеюсь, что вам захочется взглянуть на свою родную дочку и вы приедете меня встретить.

Дедушка мой работал при колхозе сторожем и умер недавно, так что я теперь совсем одна.

Маринка, ваша дочь от двадцатого года. Вспомните!»

Синевато-прозрачная муть рассвета ползет в окно. Электрическая лампа блекнет. Часы бьют пять...

А в шесть утра прибывает поезд. Сегодня. С этим поездом едет дочь Николая Ивановича, Маринка...

Нина Сергеевна встает, идет в спальню, тщательно пудрится, чуть подкрашивает губы, торопливо надевает шляпу. Ее движения быстры, решительны. Глаза блестят по-молодому, походка легка и свободна, как у девушки. Только волосы... Какого цвета волосы у Маринки? Светлые, как у Николая Ивановича, или как у?..

Нина Сергеевна возвращается в кабинет, берет с дивана сумочку и выходит.

3

Утренний воздух свеж, напоминает о деревне. Где-то цветет сейчас бузина. Кажется, скоро начнут косить траву. Как давно она не была в деревне! Последние годы Нина Сергеевна проводила свой отпуск в Сочи или в Кисловодске. Хорошо бы поехать на Украину! Студеные криницы, вишневые сады, перелазы у плетеной изгороди, разогретые солнцем, мягкие от пыли дороги среди подсолнухов, овса и ржи, необозримые поемные луга. Нина Сергеевна и Николай Иванович в годы гражданской войны исходили вдоль и поперек эти края. А вот теперь Маринка... Когда же это было? В девятнадцатом... После боя комиссар не вернулся вместе с красноармейцами. Где он? Что с ним? Она не успела даже сказать ему, как дорог он ей... Полтора года прошли в разлуке... Маринка! Вдруг они не найдут друг друга? Нет, этого не может быть, они должны встретиться!..

Нина Сергеевна соскочила с трамвая и перебежала через площадь. Часы показывали без двадцати минут шесть.

На вокзале, несмотря на ранний час, была обычная суета. Только что пришел дачный поезд. Толкая друг друга, спешили к утреннему базару молочницы с огромными бидонами.

Нина Сергеевна взяла перронный билет и спросила у встречного носильщика, на каком пути надо ждать поезд, прибывающий в Москву в шесть утра.

— Откуда поезд? — переспросил носильщик.

— Не знаю. Прибывает ровно в шесть.

— В шесть из Киева, третья платформа!

На платформе было пусто, холодно. Нина Сергеевна, поеживаясь, стала ходить взад и вперед. Она думала о том, как увидит Маринку... Она не могла представить себе, что будет дальше.

Поезд подходил медленно, пыхтя и отдуваясь.

Нина Сергеевна отступила, точно давая дорогу паровозу. Когда он остановился, она быстро прошла вперед. Из дверей вагонов посыпались люди с корзинами, чемоданами, мешками. Нина Сергеевна жадно ощупывала глазами всех выходящих на платформу женщин. Какая-то девушка в пестром сарафанчике беспомощно оглядывалась кругом. Не Маринка ли? Нет: молодой, веснущатый парень подхватил ее чемодан и увлек за собой. А вот другая направляется, ни на кого не глядя, прямо к выходу. А может быть, та, что спрыгивает со ступенек? Как много молодых лиц. Всех не охватишь, всех не разглядишь.

— Мне спешить некуда, я вам помогу, подождите, — раздается за спиной Нины Сергеевны звонкий голос. Она невольно оборачивается. Суетливая, маленькая старушонка, кряхтя и охая, силится взвалить себе на плечи огромный мешок, связанный вместе с корзинкой. Ей помогает девушка в простеньком свитере, очевидно, ее попутчица.

Нина Сергеевна смотрит на старуху, на девушку.

В руках у девушки большой деревянный чемодан, выкрашенный в желтый цвет и перевязанный пояском. Она ставит его на землю. Потом легко подымает мешок с корзиной, взваливает их на плечо старухи, пробует, крепко ли завязан мешок, ощупывает, нет ли в нем дырки, отряхивает прилипший снизу песок.

— Маринка! — шепчет Нина Сергеевна и молодеет от румянца, залившего ей щеки, уши, лоб.

Девушка хлопает рукой по мешку, что-то говорит. Старуха трясет головой и торопится итти.

Толпа оттесняет Нину Сергеевну от желтого чемодана, который уже в руках у девушки.

— Маринка! — громко повторяет Нина Сергеевна.

Девушка оглядывается, смотрит по сторонам, замечает устремленный на нее взгляд.

Нина Сергеевна подходит первая.

— Вы — Маринка? — спрашивает она и смотрит на ее четко обрисованные губы, такие же, как у Николая Ивановича. Она угадывает за ними два широких передних зуба, далеко отстоящие друг от друга.

— Я, — кивает головой девушка.

В голубых глазах — наивное любопытство.

Нина Сергеевна теребит снятую с правой руки перчатку.

— Я вас по чемодану узнала, — говорит она, стараясь побороть волнение.

Маринка растерянно моргает. Щеки ее рдеют ярким румянцем. Она хочет что-то спросить, но не решается. Нина Сергеевна приходит ей на помощь.

— Я... жена... — говорит она запинаясь. — Я... пришла...

— Ага, — соглашается Маринка. — Я так и думала, что он... что у него... А он... сам?..

У Нины Сергеевны дрожат губы. Нельзя же сказать ей здесь, сейчас...

— Он... не может....

— Занят... Конечно, я понимаю...

— Едем ко мне...

— Да...

Маринка явно разочарована, даже испугана. Она идет за Ниной Сергеевной, сливаясь с людским потоком, уносящим их к выходу.

4

Всю дорогу в такси Нина Сергеевна не отрывала глаз от Маринки, стараясь отыскать в ней все новые и новые черты Николая Ивановича. Ей хотелось откровенности, искренности, душевной близости с этой девушкой. Но она не знала, как начать разговор.

Маринка прильнула к оконному стеклу, жадно разглядывая памятники, бульвары, дома.

— Вы приехали учиться? — спросила Нина Сергеевна.

— Да, буду врачом, — ответила Маринка, стараясь в то же время прочитать название улицы, по которой ехали.

— Врачом? — повторила Нина Сергеевна. — Почему вы хотите быть именно врачом?

— Я росла в деревне. Мне кажется что врач и учитель там самые полезные люди. Я небрезглива, не боюсь крови. Буду стараться, чтобы из меня вышел хороший хирург. В деревне мало хирургов. Если будет война...

Нина Сергеевна невольно вздохнула. «Буду хирургом. Хирурги нужны», все ясно и определенно для этой девушки. А она, Нина Сергеевна? Как много сомнений, борьбы пришлось пережить ей, прежде чем найти свой путь. И если бы не встреча с Николаем Ивановичем, кто знает, что вышло бы из нее?

— Направо за угол, — сказала она шоферу.

Войдя в кабинет, Маринка сразу бросилась к портрету Николая Ивановича. Глаза ее блестели.

— Я должна тебе сказать, Маринка, милая... — Нина Сергеевна невольно перешла на ты. — Я не хотела говорить на вокзале...

Маринка живо обернулась. Веки Нины Сергеевны покраснели.

— Твой отец... Он умер...

Глаза Маринки удивленно округлились, точно она не поняла сказанной фразы.

— Умер недаво... — повторила Нина Сергеевна.

Лицо Маринки поблекло, стало старше, резко выступили скулы.

Она отошла от стола и медленно опустилась на диван. Нина Сергеевна села в кресло напротив.

Молчание длилось долго.

— Всю дорогу я думала о нем... О нашей встрече... — сказала, наконец, Маринка, точно продолжая вслух начатую мысль. — Ведь мы никогда друг друга не видали... Я думала: вот у меня есть близкий че-

ловек... Мать я тоже не знаю, она умерла рано... Мне только деда рассказывал о нем и о матери...

— Расскажи мне, — мягко попросила Нина Сергеевна и пересела на диван поближе к Маринке.

— Да... Я бы хотела чтобы вы знали... Вы поймете...

Маринка начала говорить осторожно, медленно, подыскивая слова. По мере того, как она рассказывала, речь ее делалась свободнее, непринужденнее. Она чувствовала возле себя не простую слушательницу, нет...

Киевщина... Днепр... Деревни Садовая, Вишенка... Все это ее родные, политые кровью места. Пули, собранные ребятами в полях кукурузы, аромат зубровки и запах крови, стук пулемета и весенний хор лягушек,— все это оживало в словах Маринки! Лицо Нины Сергеевны озаряется воспоминаниями юности. Некошеные луга, потоптанные поля, сосновый лес на песчаной отмели, прямой, частый, как гребень... Избушка деда Маринки...

Нина Сергеевна видит ее, эту лесную лачугу, ветхую, изъеденную шашалем, обросшую зеленым мхом, бесформенную, как большой червивый гриб. Здесь, в этой сторожке, выросла Галя, мать Маринки.

Нина Сергеевна видит и ее — крупную, загорелую девушку в холщевой рубашке с пышными строчеными рукавами. Хозяин, у которого батрачила Галя, зарился на нее, и она бросила работу... Маринка смущенно замялась.

Нина Сергеевна придвинулась ближе и погладила руку Маринки.

5

Гале жилось трудно. Отец ее рыбачил. Но настоящих сетей и невода у старика не было. Удочка да челнок долбленый — много ли с этим нарыбачишь? Кормились главным образом картошкой с огорода и молоком от своей коровенки.

Время было трудное. Хлеба достать негде. Нина Сергеевна хорошо помнит это время. Добровольческая армия, петлюровцы, махновцы... Враги наседали со всех сторон. Каждый день шли бои. В эту самую пору пропала у Гали коровенка. Старик-отец лежал больной, — простудил на рыбной ловле ноги, а коровенка ушла в лес и не вернулась.

Нина Сергеевна видит: сосновый душистый лес, бродит по лесу девушка Галя, прислушивается к каждому звуку, к каждому шороху. Издалека, точно раскаты грома, доносится орудийная пальба. Галя привыкла к этому, не обращает внимания. У нее свои заботы. А в лесу тоже своя жизнь. Стучит дятел — их там много в тех краях. Плачется кому-то на свою жизнь кукушка. Молодые выводки диких уток цепочкой, стайка за стайкой, летят к своим заводям. Стелется по лугу холодный туман. Солнце постепенно тяжелеет, багровеет. До дома далеко. Надо спешить, чтобы не застала в лесу ночь, а как вернуться домой без коровы? Галя напряженно прислушивается. Жалобное мычание! Ну, конечно! Это ее красотка! Она попала в болото, не может выбраться. Галя наломала веток и пошла вперед, прокладывая себе дорогу сушняком.

— Потерпи, моя красавица, потерпи, — повторяла Галя, укладывая плотнее сухие ветки.

Совсем близко подошла Галя к корове, когда... Когда она увидела...

Здесь Маринка прервала свой рассказ. Нина Сергеевна сидела на диване, вытянувшись, бледная, с остановившимся взглядом. Она знала, что увидела Галя.

Николай Иванович не раз рассказывал, как он, раненный в одном из боев, хотел доползти к своим, но сбился с пути, попал в болото и, потеряв сознание, очнулся только в чьей-то чужой хате, на земле, занятой деникинцами. В чьей хате и где это было, Николай Иванович не говорил.

До боли явственно слышит Нина Сергеевна запах лесной осенней прели, видит лядащую коровенку с ласковыми тоскующими глазами, мокрую, взлохмаченную, тяжело дышащую, и здесь же, среди болотной ядовитой прозелени, бурое набухшее сукно шинели, торчащую из воды винтовку, звезду на буденновке и мучительно любимое землистое, небритое лицо. И молоденькая семнадцатилетняя девушка в вышитой рубашке с хворостиной в руке широко раскрытыми глазами смотрит на чужого, незнакомого ей человека.

Глаза Нины Сергеевны наполняются слезами; она придвигается совсем близко к Маринке, кладет голову ей на плечо и беззвучно плачет. Маринка ласково прижимает к себе ее пепельную голову. Этот рассказ она слышала много раз от деда, но пересказывает его впервые.

— Ну?.. — шепчет Нина Сергеевна.

— Деда говорил, — продолжает Маринка тихим голосом, — когда Галя пришла домой, было уже совсем темно. «Где корова?» спросил он. Галя ничего не ответила. Она подошла к своей кровати, поправила соломенный тюфячок, засветила коптилку и ушла. Была она белая, как ее рубашка. Деда сразу понял, что ни о чем спрашивать не надо. Он сполз с печи и помог ей перенести раненого в дом.

6

Николай Иванович начал понемногу поправляться. Иногда он сопровождал старика Митро на рыбную ловлю. Как он радовался, если удавалось принести домой крупную добычу! Галя тогда отдыхала, не ходила на поденную. Обед варился в походном котелке, все трое ели из него уху под дымком затухающего костра.

Вскоре Николай Иванович и совсем поправился. Он сказал, что дольше не может оставаться и должен пробираться к своим в Чернигов. Галя положила ему руку на плечо, сказала просто: «Одну ночку переночуешь и пойдешь». А наутро, провожая его, не плакала. Но в этот день разбила себе молотком палец и долго ходила с перевязанной рукой.

Холодными осенними ночами, когда ветер шумел, раскачивая верхушки деревьев, и было темно, как в глубокой яме, старик не спал, прислушиваясь к дыханию дочери: не плачет ли втихомолку от отца. Старый рыбак видел, как полнел ее стан, тяжелела грудь, но Галя не стыдилась своей беременности.

Галя ждала победы красных. Города, села, деревни переходили из рук в руки. Кончался девятнадцатый год — кровавый, тяжелый. Украина очищалась от деникинцев. Скоро, скоро сбудется все, о чем говорил Гале комиссар.

Таял снег, набухали почки на деревьях, дышала испариной земля. Вили на крышах гнезда прилетевшие аисты. Вместе с ними прилетели дурные вести: поляки наступают на Украину, поляки идут к Киеву.

Тяжкие были эти дни, когда Красная армия, отступая, уходила из деревень. Но еще страшнее настало время, когда прежние злыдни-помещики вернулись вместе с польскими войсками на свои насиженные места. Жестокая была весна двадцатого года.

В это же время в густом смолистом дыхании леса, под весенний напев соловья родилась Маринка.

Галя ходила на поденную, варила обед, качала зыбку, но мысли ее были там, где боролись красные.

7

Как-то раз отправился старый Митро на рыбную ловлю. Широко разливается по весне Днепр. Уходя в русло, надолго оставляет он в своих прибрежных лугах извилистые речушки, теряющиеся в топких болотах и затонах, где под гладью плоских листьев кувшинок бьют студеные родниковые ключи. Здесь человеку легко заплутаться. Но старик на своем челноке мог от рукава к рукаву, от заводи к заводи добраться до самого Днепра.

На этот раз уплыл он далеко. Взял с собой несноку да вареной картошки, сказал Гале, что без крупной добычи не воротится.

Рыба ловилась плохо. Однако упрямый старик ни за что не хотел сдаваться. Он неподвижно сидел в челноке. Вдруг несколько лягушек шлепнулись в воду. Старик поднял голову.

Ветер стих. Вода была спокойна. Но тишина обманчива. В траве кто-то прятался.

Скорее почуял, чем увидел, старый рыболов легкое колыхание прибрежного камыша. Кто-то осторожно спустился к воде, нырнул, поплыл. Уж не речная ли выдра?

На поверхности воды показалась голова человека.

Что ему здесь надо? Почему он прячется?

— Эй, куда плывешь? Там вязко! — крикнул старик.

Голова сейчас же скрылась под водой. Рыбак взял весло.

— Куда его занесло, скажи на милость, к самой трясине, к болоту. — Старик покачал головой, выругался и оттолкнул челнок.

Пловец понял, что пути дальше нет, оглянулся... И старый рыбак узнал его тотчас. Это был Николай Иванович, раненый комиссар — тот, о ком каждый день вспоминали в лесной избушке. Николай Иванович тоже узнал старика и повернул к челноку.

Они оба хорошо понимали друг друга и не тратили лишних слов. Старик выжимал из куртки Николая Ивановича воду, в то время как тот бережно расправлял клеенку, в которую были завернуты какие-то бумаги.

— Как Галя? — спросил Николай Иванович.

Узнав, что качает она в зыбке дочку, задумался.

— Слушай, дед, — сказал, наконец, Николай Иванович. — Дело у меня серьезное и опасное, ты сам знаешь. Возьмешься провести к себе так, чтобы ни одна душа?..

Старик кивнул головой и стал собирать удочки.

8

Галя топила печь. На полу, около двери, лежал ворох упругой ярко-желтой соломы. В зыбке у окна спал ребенок. Галя подняла ухватом чугунок с горячей водой и только хотела поставить его в печь, когда дверь распахнулась и вошел Николай Иванович.

Галя ахнула и опустила ухват. Чугунок покачнулся. Николай Иванович подбежал, схватил ухват и ловко пододвинул чугунок к огню.

А вдали, за картофельным полем, в зарослях бузины и клена, показалась чья-то фигура, за ней другая, третья... Старик стал приглядываться. Трое людей гуськом подымались по косогору вверх. Ясно были видны новенькие кожаные кобуры, отливавшие на солнце медью.

— Ой, выследили комиссара, не сумел, старый хрен, провести так, чтоб ни одна душа...

Старик побежал в хату. Николай Иванович стоял у зыбки, спиной к двери.

На скрип двери Николай Иванович обернулся и, увидев старика, — понял: случилось неладное. Он бросился к своей куртке, сушившейся около печки.

— Идут! — хриплым шопотом сказал рыбак.

С лица Гали сбежала счастливая улыбка, глаза стали жалкими, растерянными. Она оглядывала комнату, точно не сознавая, что произошло. Вдруг сквозь тусклое стекло вросшего в землю окошка она увидела щегольские сапоги. Одним прыжком кинулась она к двери, оттолкнув Николая Ивановича, прошептала:

— Поздно. Они уже здесь. Прячьтесь оба.

Старый Митро схватил комиссара за плечи, толкнул на сундук, стоявший за ситцевой занавеской около печи. Почти в ту же минуту дверь распахнулась, на пороге показался польский офицер с двумя солдатами. Галя уже гремела ухватом, чугунами, заслонкой.

Офицер с черными усиками и лиловым от запудренных угрей лбом подошел к Гале, оставив у дверей своих подручных.

— Где человек в кожаной куртке? — спросил он. — Куда ты его спрятала?

Галя мешала в печке огонь, искоса взглядывая на вошедших. Она положила кочергу, ответила спокойно:

— Я его спровадила обратно.

Офицер опешил.

— Обратно? Куда?

— В лес.

— В лес?

— Да. С батькой — в лес. Веди, говорю, его на дорогу, коли он заплутался, а здесь не харчевня.

— Куда же он его повел?

— Вон по той тропке... — махнула она рукой на окно. — Коли вам охота знать, догоните, спросите. Верно они еще недалеко ушли. Ишь натоптал, скаженный!

И она принялась вытирать тряпкой мокрые следы на полу.

— А не врешь, девка? — спросил офицер, сбитый с толку ее спокойным, уверенным тоном.

— Вру, так обыскивай! — грубо ответила она. — Только потом не догонишь. Мы люди простые: что спросят, то и отвечаем.

— Так, говоришь, в лес пошли?

— Не веришь? — ответила Галя и задорно глянула в лицо офицера.— Оставайся в хате, побалакаем, покуда твои молодцы лес обыщут. Недалеко ушел, догонят.

Офицер отдал солдатам приказание обшарить лес, сел на скамью. Галя подошла к печке, взяла ухват, вытянула чугунок с водой. Офицер взглядом следил за ней, когда она наклонялась. Его глаза мутнели. Он поднялся и подошел к ней сзади. Она услышала его прерывистое дыхание, обернулась и ловким рассчитанным движением выплеснула кипящую воду из чугунка прямо ему в лицо. Офицер взвизгнул и опустился на пол, закрывая руками глаза.

— Скорее, беги скорее! — зашептала Галя комиссару.

Николай Иванович сделал шаг к двери.

Ребенок проснулся в люльке и заплакал.

Николай Иванович обернулся:

— А ты?

— Сама справлюсь...

Галя подбежала к люльке, взяла ребенка и, сунув его в руки оцепеневшего от страха отца, вытолкнула старика в дверь вслед за комиссаром.

. . . .

— А Галя? — еле слышно спрашивает Нина Сергеевна.

— Мать? Мать не успела уйти далеко. Крестьяне, возвращавшиеся с поля видели, как ее вели со связанными руками.

Деда искали — не нашли. Избушку сожгли.

Нина Сергеевна вспоминает, как при захвате красными войсками деревни Вишенки, Николай Иванович разыскивал какого-то рыбака и был очень огорчен, не найдя его.

Замученная Галя... Старый Митро, навсегда покинувший свое пепелище.. Сгоревшая дотла избушка... Этого он, конечно, не мог забыть!

Снова бьют часы. В квартире попрежнему тихо. Но живая Маринка сидит здесь, на диване, рядом с Ниной Сергеевной.

Нина Сергеевна крепко сжимает руки девушки.

— Маринка, — шепчет она, — у тебя здесь, в городе, есть кто-нибудь, кроме?..

— Нет.

— Ты останешься у меня?

Глаза Нины Сергеевны умоляют.

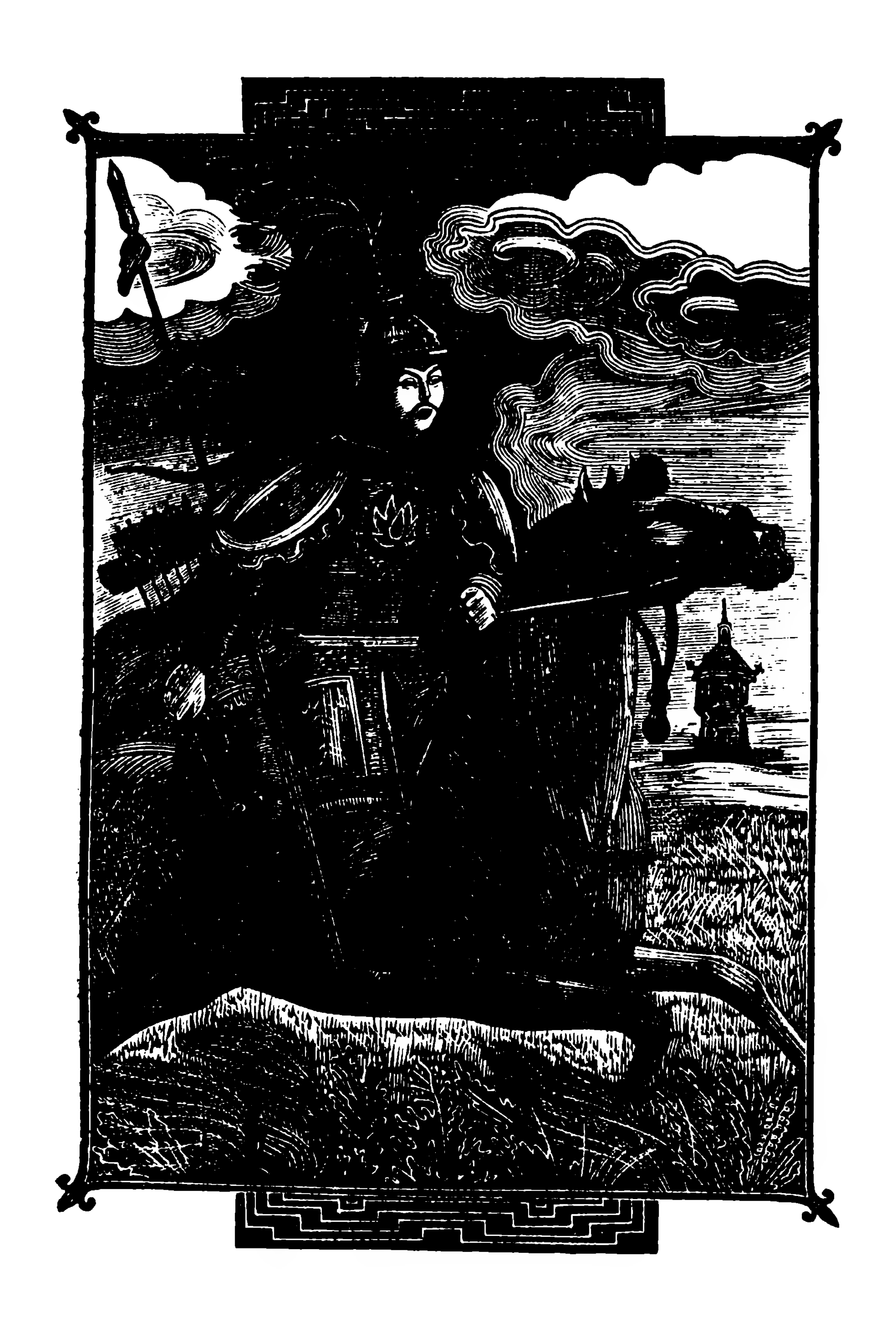
— Если вы... — застенчиво начинает Маринка.

Нина Сергеевна вскакивает с дивана.

— Пойдем я покажу тебе твою комнату.

И, обняв девушку за плечи, она уводит ее в свою спальню.

К ПЯТИСОТЛЕТИЮ «ДЖАНГРА»



Гравюры на дерeве художника В. Фаворского из отдельного издания «Джангра», выпускаемого Гослитиздатом.

Перевод с калмыцкого Семена Липкина,
под редакцией С. Я. Маршака и Баатра Басангова

ДЖАНГАР

Калмыцкая эпическая поэма

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ [1]

О том, как Мингйан, первый красавец вселенной,
угнал десятитысячный табун пестро-желтых холощеных коней
турецкого хана

Сказывают: на рассвете вечных времен
В шумные дни благодатной черной арзы,
В самом разгаре великого торжества
Вдруг потекли из очей владыки племен,
Славного Джангра, две драгоценных слезы.
Начали двигаться шелковые рукава
Справа — налево, слева — направо, поток
Горестных слез утирая. Мангасов гроза,
В недоуменьи глядели друг другу в глаза
Воины Джангра. Тогда богатырь и пророк,
Правого круга глава, промолвил Цеджи:

— Милый мой Хонгор Алый! Не ты ли, скажи,
В трудных походах служил нойону конем,
В битвах — не ты ли казался бронею на нем?
Так вопроси владыку счастливых племен,
Так разузнай, почему растаял нойон?

Хонгор сказал: — Если в правом сидящий кругу,
Не задавали вы Джангру вопросов пока,
Как же я, с левой своей половины, могу
Спрашивать?.. — Но в ответ на слова старика
Молвил Джилган-златоуст, украшавший пиры,
Красноречивейший воин, с которым никто
Не состязался в искусстве словесной игры:
— Дайте мне ваше соизволенье на то,
Я вопрошу, почему растаял Богдо! —
И перед всеми блеснули зубы его,
Сердцеобразные красные губы его
Неописуемо вытянулись в тесьму.
Воины дали на то согласье ему.

Опорожнив трикраты свою пиалу, —
Сорок бойцов ее приподнять не могло б, —
И преклонив трикраты божественный лоб,
И на колени встав на пуховом полу,
Руки свои распластав, златоуст сказал:

— Не потому ли заплакали вы сейчас,
Что жеребенок ваш — рыжий скакун Аранзал —

---

[1] См. «Молодую гвардию» №№ 3 и 4 за 1940 год.

Стал недостаточно быстроногим для вас?
Не оттого ли растаяли вы сейчас,
Что пестро-желтое ваше златое копье
Сделалось недостаточно метким для вас?

Может быть, вы скрываете горе свое,
Ибо шестнадцатилетняя госпожа
Стала для вас недостаточно хороша?
Не потому ли растаяли вы, нойон,
Что государство семидесяти племен —
Семьдесят стран, разбежавшихся далеко, —
Ныне для вас недостаточно велико?

Или затем, господин, растаяли вы,
Что провинились пред вами желтые львы —
Эти шесть тысяч двенадцать богатырей?
Не потому ли рыдаете, наконец,
Что показался вам ниже, темней и серей
Десятиярусный ваш многоцветный дворец?
С нами, нойон, поделитесь печалью своей,
И посвятите в причину безудержных слез,
И не взыщите с меня за такой допрос? —

Месяцеликий нойон оглянулся кругом,
Слезы смахнул он чистым желтым платком,
Молвил героям своим, вздохнув глубоко:
— Так прославляли вы громко прозванье мое,
Что за пределами нашей земли, далеко
Распространило оно сиянье свое,
И на меня человек замыслил напасть.
Он утвердил свою безграничную власть
Где-то на западе... Вот уже третий год
Гордый турецкий султан готовит в поход
Буйный табун своих холощеных коней,
Для настоящих сражений взращенных коней!

Сказывают: за конями такой уход:
Губы коней и копыта не знают воды,
Ибо живые тела расслабляет вода!
Через четыре года, сильны и тверды,
В сталь превратятся копыта! Хвосты скакунов,
Мягкие гривы — крыльями станут тогда!
Горе настанет для нас, для Бумбы сынов.
Десять раз тысяча белых богатырей
Сядут на быстрых коней, примчатся сюда
И нападут, покорят нас державе своей...
Если сумеем угнать холощеных коней, —
Минет нас это бедствие навсегда! —

Кончил владыка. Правого круга глава,
Молвил Цеджи-ясновидец такие слова:
— Замыслы предугадавший врага своего,
Может быть, вы нам укажете и того,
Кто совершит холощеных коней угон?

— Есть у меня, — сказал повелитель племен, —
Эти шесть тысяч двенадцать богатырей.
Вы между ними славны грозою своей,
Вы, дорогие, как сердце, двенадцать львов,
Пестрые от многочисленных ран и швов.
Бились вы всюду, во всех закоулках земли, —
Даже по краю кромешного ада прошли.
Славен ты в этой семье нетленной, Мингйан,
Первый красавец нашей вселенной Мингйан,

Воин, привыкший к искусству сражений, Мингйан!
На золотистом коне, что сходен с горой,
Опережаешь ты на две сажени, Мингйан,
Ветер степной, а мысль — на сажень! Мой герой,
В путь отправляйся, готовься к делу войны,
Ты соверши холощеных коней угон,
Хана турецкого мне доставь табуны! —

Плача, воскликнул Мингйан: — Великий нойон!
Вы поступаете несправедливо со мной.
Ханом когда-то я был, уголок земной
Принадлежал мне — многотюменный удел.
Гордой горою, названной Минг, я владел,
Имя которой с честью ношу до сих пор.
Разве не вы со мною вступили в спор,
Междуусобную брань затеяв со мной,
Длившуюся четыре недели подряд,
А не смогли подступиться к стене крепостной?
Разве не вы повернули тогда назад
Полчища ваши, которые гуще травы?
И несмотря на то, мой владыка, что вы
Прочь удалились, не причинив мне вреда, —
Глядя вам издали в спину, решил я тогда,
Что надо всеми, живущими под луной,
Станете вы господином. Свой угол земной,
Ханство покинул я — многотюменный удел,
Гору покинул, которой измлада владел!

Дочери нежной родителем раньше я был,
Мужем счастливым прекрасной ханши я был!
Джангар, пришел я к вам, отказавшись от них,
Выбрав себе в семью только барсов одних,
И своего дорогого привел я коня.
Вами, владыка, принят с почетом я был,
В сан запевалы пожаловали меня!
В трудных сраженьях вашим оплотом я был,
Прежде была вам душа моя дорога.
Так почему же теперь на такого врага
Вы посылаете, Джангар, меня одного?
Нет у меня под этой луной никого,
Сгонит могучий противник со света меня.
Йах! Ни сестер, ни братьев нет у меня!
Боги лишили сестренки младшей меня, —
Кто же накормит пищей горячей меня?
Младшего брата матушка не родила, —
Кто же вспомянет меня и мои дела?

Так объяснял Мингйан в безутешных слезах...
— Мы в этой жизни — братья, когда же с тобой
В ханство прекрасного вступим на небесах, —
Вместе войдут наши души... На трудный бой,
Милый Мингйан, со спокойным сердцем лети.
У золотого моста, на степном пути
Встречу тебя на сивом Лыске своем. —
Так обещал неистовый Хонгор ему.

Савар воскликнул: — Я смерть за тебя приму!
Братья мы в этой жизни, когда же войдем
В ханство всего прекрасного, соединим
Души свои! Клянусь, и клятва чиста:
Милый Мингйан! У серебряного моста
Встречу тебя с темнобурым Лыской своим. —

И запевала, вняв голосам храбрецов,
Чашу наполнил, которую, говорят,
Семьдесят не поднимут сильных бойцов,
И осушил ее семьдесят раз подряд.
К белым ладоням прижал он десять своих
Пальцев могучих. Десять отваг боевых
Хлынули к горлу, готовые вырваться вдруг.
Сердце забилось. Он оглянулся вокруг,
Крикнул, неистовый, побратимам своим:
— Если свою богатырскую кровь пролью —
Обогатится земля глоточком одним.
Высохнут кости мои в далеком краю —
Станет на горсточку праха богаче она...
Эй, коневод, оседлай моего скакуна! —

Между конями джангровых богатырей,
В травах душистых, у холода чистых вод,
Бегал Соловый. Привел его коневод
И оседлал у прекрасных дворцовых дверей.

Вышел Мингйан... Красота величава его!
Хонгор поддерживал под руку справа его,
Слева поддерживал под руку Савар его.
Вышел нойон с богатырской семьей своей.
Выслушав пожелания богатырей,
Благоухающие, как лотос в цвету,
Славный Мингйан вскочил на коня на лету.

Сразу на северо-запад погнал он коня.
На расстояние бега целого дня
Ставил свои передние ноги скакун,
Задние ноги ставил в дороге скакун
На расстояние в целый ночной пробег.
Если же сбоку смотрел на него человек, —
Чудилось: выскочил заяц из муравы,
Выскочил заяц и скрылся в листьях травы.
Так проскакал он месяц, ни дней, ни ночей
Не замечал... Взглядом холодных очей
Всадник окинул четыре конца земли.
Все еще башня Богдо виднелась вдали,
И показалась она ему по плечо.

— Вот уже ты проделал месячный путь,
А не ушел от родного дома еще!
Этак навряд мы достигнем чего-нибудь.
Разве, Соловый, бежать побыстрей нельзя? —
Крикнул сердито Мингйан коню своему.
С гневом ответствовал конь, удила грызя:
— Мой богатырь! Я тебя никак не пойму.
Разве забыл, что башня — одно из чудес,
Ниже всего на три пальца синих небес!
Можно ль за месяц уйти от нее далеко?
Слишком такое желание велико!

Крепче сиди, скакать — это дело мое!
Если перелетишь через тело мое,
Брошу тебя, хозяина переменю.
Душу свою доверяй другому коню!
Если сумеешь, Мингйан, удержаться на мне,
Значит, имеешь ты право сидеть на коне,
Только тогда я скажу: мой хозяин хорош! —
Молвил скакун, и в ржании слышалась дрожь.

И прекратив курение табака,
Стиснул Мингйан бегунцу крутые бока:
Вихрем помчался, всадника радуя, конь.
Землю взрыхлял, по курганам прядая, конь,
Хвост приподняв, он скакал в летучей пыли,
Будто пугаясь комков зыбучей земли,
Что разбросал он копытами четырьмя.

Жаркие долгие дни горели гормя,
И раскалило солнце пески добела.
Мчался без устали конь в горячих песках,
Всадник с трудом удерживал повод в руках!
И натянул он, садясь позади седла,
Повод, да так, что согнулись вконец удила.
Не помогало: выгибом шеи стальной,
Резким напором могучей клетки грудной
Снова ременный вытягивал повод скакун,
За день беря расстояние в несколько лун.

Справиться с этим конем не сумев, ездок
Так обратился к нему: — Потише беги,
Мой золотистый, долог наш путь и далек!
Силы свои береги, замедли шаги. —
Слушать не стал своего хозяина конь,
Ветра быстрей поскакал отчаянный конь, —
Бега такого не видывал белый свет!
Так он скакал. И тогда показаться могло,
Будто в один ослепительный белый цвет
С лохматогрудой землей слились небеса.

Всадник примчался, когда еще было светло.
Видит он — копий густые стальные леса.
Всажены копья в землю с такой густотой,
Что даже тонкой китайской иголке — и той
Места нельзя было бы между ними найти!
Славный Мингйан, рассекая древки на пути,
В самую глубь копейного строя проник,
В чащу стальную на два закроя[1] проник.
Но золотисто-соловый на всем скаку
Молвил отважному своему седоку:
— Воин! Копыта мои дошли до того,
Что наизнанку вывернутся они.
Дальше скакать не могу. Назад поверни. —
И повернул богатырь коня своего.

Сказывают: когда, тоской обуян,
Свесив копье, назад возвращался Мингйан, —
Ясная, как луны золотое стекло,
Легкая, словно ласточкино крыло,
Нежная, как виденье при лунном луче,
Обликом, напоминающая зарю,
С длинным кувшином на смуглом, прекрасном плече, —
Девушка вышла навстречу богатырю
И поклонилась ему. — Сестрица, привет! —
Всадник воскликнул. Зашевелились в ответ
Алые, сложенные сердечком уста.
Тщетно! С гортанью связала язык немота,
Вымолвить слова красавица не могла!

Спешился всадник и в землю всадил копье.
Снял он подушку с узорчатого седла,
Девушку вежливо усадил на нее.

[1] **Закрой** — расстояние, равное 12—15 верстам.

Губы разнял нагайки своей черенком
И заглянул он в горло. Из горла извлек
Восемь иголок, поставленных поперек
Нежной гортани... Трубку набив табаком,
Девушке предложил затянуться дымком
И вопросил: — Чья вы дочь? Кто над вами глава?
Ясны, правдивы да будут ваши слова. —

Очаровав улыбкою богатыря,
Молвила: — Правду, милый мой брат, говоря,
Трудно мне с вами правдивой быть до конца.
Если же мы сговоримся, наши сердца
Счастье найдут и на грешной земле молодой.
Так приказал мне турецкий хан золотой:
«Если заметишь хотя бы единую тень
На стороне, где всегда занимается день, —
Мне сообщи, пред очами моими предстань».
Восемь иголок воткнул он в мою гортань,
Чтоб не болтала... Пошла на разведку — и вот
Я увидала в средине жаркого дня
Красную пыль, упиравшуюся в небосвод,
Красную пыль, надвигавшуюся на меня.
«Сколько же сотен и тысяч скачет сюда
Ратей враждебных?» подумала я тогда,
И увидала я только вас одного.
Все позабыла, хочу сейчас одного:
Знать я хочу, какой кобылицей рожден
Конь-бегунец может быть красавцем таким?
Женщиной какой белолицей рожден
Конный боец может быть красавцем таким?
Искре единой не стать пожаром вовек,
И в одиночестве не живет человек.
Воин! Душа моя — вашей душе сродни,
Соединим же наши грядущие дни,
Пусть наши судьбы станут единой судьбой! —

— Мы — у различных владык на посылках с тобой,
Сможем ли мы единое счастье найти.
Если мы вечно в разъездах, всегда в пути?
Где же мы встретимся, в разные стороны мчась?
Все же супругой назвать хочу я тебя!
Вот мой ответ: открой мне дорогу сейчас,
И на обратном пути захвачу я тебя! —
Молвил Мингйан. — Как поступишь? Решай сама! —
— Если мужчина просит — плохо весьма.
Но отказать ему — хуже в тысячу раз.
Вот мой ответ: открою дорогу сейчас.
Если сумеете вы проехать по ней,
То поезжайте, желаю вам долгих дней.
А не сумеете — оставайтесь со мной. —
И расстегнула бешмет из шелков дорогих.
Девять под ним оказалось бешметов других,
В самом последнем имелся карман потайной.
Вынула девушка черный ключик стальной.
В сторону копий густых взмахнула ключом,
И появилась тропа, шириною в ушко
Тонкой иголки. Мингйан, вздохнул глубоко,
Больше не спрашивал девушку ни о чем...

Бумбе-стране помолившись, вскочил на коня.
Молвил Соловому: — Ты выручай меня,
Я по такой тропиночке ввек не пройду! —
И золотую Мингйан отпустил узду.
И золотой не чувствуя крепкой узды,
Славный скакун пошел по следам паука, —
Десятилетней давности были следы.

Полз он дорогой маленького жука, —
Двадцатилетней давности были следы.
Сквозь наконечники полз он узкой тропой,
Еле ступал на цыпочках черных копыт
И, наконец, оставил тропу за собой.

Девушка смотрит — душа у нее кипит!
Наземь кувшин высокий швырнула всердцах,
Ножками топоча, закричала в слезах:
— Ах, поступила сейчас бестолково я!
Ах, упустила красавца какого я!
Ах, упустила, счастье свое погубя!
Этой тропинкой, думала я про себя,
Выбраться ты не сумеешь, красавец мой!
Ну, так и быть! С исполненьем задуманных дел
Благополучно к себе возвращайся домой,
В милую Бумбу — людского счастья предел! —

Всадник, покинув копий стальные леса,
Дальше помчался. Возникла гора перед ним,
И на вершине покоились небеса.
И на вершину взобравшись, взглядом одним
Воин окинул четыре конца земли.
Красная башня, как пламя, пылала вдали.
— Это и есть турецкого хана дворец! —
Молвил себе самому луноликий боец,
И скакуна пустил на зеленый простор,
К водам прохладных потоков, а сам развел,
Жимолости наломав, высокий костер,
Чаю сварил, чачир над собой развернул
И раскрасневшись, точно сандаловый ствол,
И растянувшись, как цельный ремень, — заснул.
И молодой богатырский сон, говорят,
Длился тогда сорок девять суток подряд.

Утром, в начале пятидесятого дня,
Он пробудился от сна. Посмотрел на коня:
Конь посвежел на зеленом лоне земли,
Будто сейчас только с пастбища привели!
И превратил коня в жеребенка Мингйан,
Сразу себя превратил в ребенка Мингйан,
В мальчика вшивого: только висок почеши —
Станут десятками падать черные вши,
А почеши затылок — из-за ушей
Не сосчитаешь, сколько выпадет вшей!
И в государство турецкого хана вступил.

Ехал шажком, жеребенка не торопил.
Там, где давали побольше, там ночевал,
Там, где давали поменьше, там он дневал...
Так постепенно вперед продвигался юнец.
Ханская башня зажглась перед ним, наконец...
И своего жеребенка пустил на луга,
Бурку надел и пробрался в башню врага.

Прежде всего в конюшню вошел мальчуган.
Он увидал: прекрасны кони бойцов!
Равен горе самый маленький из бегунцов.
Ездил на Куцем отважный Уту. Цаган.
Было обычаем: до середины дня
Пышным, ворсистым ковром покрывать коня,
После полудня до вечера — гладким ковром...
Мальчик хотел пробраться к нему, но кругом
Люди стояли — начальники воинства все,
Определяли коня достоинства все.

Так оценила коня турецкая знать:
Сможет он за день пройти многомесячный путь.
Если погонится Куцый за чем-нибудь,
Все, что живет на земле, сумеет догнать!
И порешили: нет на земле ничего,
Нет никого, кто сумел бы догнать его!

Мальчик под брюхом коня проползти поспешил,
И не заметил никто уловку его,
В зубы коню заглянул — и сразу решил:
Этот скакун догонит Соловку его...
Он увидал: на другой стороне двора
Высится конь, по прозванью Ерем Хара [1],
Конь Тёгя Бюса, рожденного в облаках!
Он увидал: содержится в холе скакун,
Коврик на нем, стоит на приколе скакун,
Ватным арканом привязан, чтоб на ногах
Не было ссадин... Около скакуна
Тоже стояла турецкая важная знать,
И порешила, что сокола-скакуна
Беркут могучекрылый не сможет догнать,
А балабан [2], обгонявший степные ветра,
Вздумает с этим конем в состязанье пойти, —
Ночью начнет — отстанет в начале утра,
Из виду конскую пыль потеряв на пути...

Спрятался мальчик под брюхом Ерем Хара,
И не заметил никто уловку его.
Только турецкая знать ушла со двора —
В зубы коню заглянул. Соловку его —
Сразу решил он — догонит Ерем Хара.
В зубы заглядывал каждому скакуну —
Не были прочие кони Соловки сильней.
— Дай-ка теперь на тюмен скакунов я взгляну,
На пестро-желтых, на холощеных коней,
На бегунцов, которых я должен угнать,
Чтобы на Бумбу не двинулась вражья рать! —

Мальчик с горы побежал. Оказалось, внизу,
За девятью заборами в крытом базу [3],
Сделанном из самородных белых камней,
За девятью вратами держали коней.
Через ущелье, в семьдесят пик высотой,
Вырубленное в гранитной горе крутой,
И под охраной тюмена грозных бойцов,
В полдень сгоняли на водопой бегунцов:
В сутки поили коней один только раз...
После осмотра подробного порешив,
Что невозможно разрушить каменный баз,
Случая выждать удобного порешив
У водопоя, Мингйан к жеребенку пошел
И на задворках, в бурьяне, Соловку нашел.

И, точно знамя, серебряный хвост приподняв,
Молвил Соловко — мечта владык и держав:
— С вестью какой, бесприютный, пришел, мальчуган? —
Обнял Соловку Мингйан, воскликнул Мингйан:
— Вижу теперь, как поможет мне Бумбы-страна!
Быть родовитым не то, что быть сиротой...

[1] Иссиня-черный.
[2] Балабан—сокол, употребляемый для травли зайцев.
[3] Баз—русское слово, означает—конный двор.



Непобедим турецкий хан золотой.
Два превосходных есть у него скакуна,
Знай же, Соловый: тебя — догонят всегда! —

Крикнул скакун: — Разве прибыли мы сюда,
Чтобы кормиться объедками с ханских столов?
Думаю, что не так мы должны поступать.
Ты мне скажи, мой хозяин, без лишних слов:
Как ты решил: отступать или наступать?
Верю: найдется скакун, догонит меня.
Но, мой хозяин, где же ты видел коня,
Что совладал бы с тьмою уверток моих?
Тысячу знаю мелких уловок одних! —

И сговорились Мингйан и славный скакун:
У водопоя, выбрав удобный миг,
Дело решить и в полдень угнать табун.
И в паука превратился мальчик тогда,
И превратил жеребенка в альчик тогда...

Через ущелье, тайной гранитной тропой,
Буйные кони примчались на водопой
К девственно-белой влаге нагорных ключей.
За табуном следили войска силачей...
Были потоки воды, как небо, чисты,
Губ и копыт не мочили кони в ключах.
Воин взглянул — у него потемнело в очах:
Недалеки уже гривы коней и хвосты
От превращения в крылья, копыта — в сталь.

И человеческий облик принял Мингйан.
Он заорал, сотрясая горную даль,
Он заорал, сотрясая небесную синь,
Он заорал, сотрясая седой океан,
Грозным, великим голосом диких пустынь.
И заорал он вторично над крутизной
Грозным, великим голосом чащи лесной.
Сказывают: когда заорал богатырь,
Лопнул у тигра оглохшего желчный пузырь...



Кони, запрядав от окрика смельчака,
Перепугавшись, восставив хвосты в облака
И растоптав многотысячные войска —
Мощную стражу свою, — понеслись на восток.
Сел на Соловку Мингйан, и, когда ездок
За табуном пустился, казалось не раз:
Многотюменное войско скачет сейчас.
А приглядеться — мелькает один Мингйан.
И перед всадником, ужасом обуян,
Мчался табун, будто брезгуя прахом земным!
Облако пыльное следовало за ним,
От развевавшихся тонких конских волос
Пение скрипок и гуслей над миром неслось.

Сказывали: турецкий хан золотой
Кушать изволил тогда свой полуденный чай.
Чашку откушал, вторую, перед собой
Третью поставил... но чай пролился невзначай.
— Видел я сон в одну из недавних ночей:
Будто бы со стороны восходящих лучей
Адовый дух, сатана, явился ко мне.
Из-за величия наших пышных пиров
Я позабыл об этом ужасном сне.
Люди, каков над нами небесный покров?
Ну-ка, взгляните! — Пришел с ответом слуга:
— Мой повелитель! Багряной пыли дуга
Обволокла нашу землю и небеса. —

Важный, с престола турецкий хан поднялся,
Мимо дрожащих прошествовал богатырей,
Через тринадцать распахиваемых дверей
Вышел наружу, взглянул на восток и сказал:
— В сторону Джангра кто-то угнал боевых,
Добрых коней, коней пестро-желтых моих! —
И расспросить охрану султан приказал.
— Чудилось нам, — отвечала охрана тогда, —
Будто напали стотысячные войска, —
Лишь одного заметили мы ездока.

И по приказу турецкого хана тогда
Богатыри государства явились к нему.
— Э, значит есть еще в этом мире кому
С нами тягаться! — послышались голоса.
Молвил султан: — Державы турецкой краса,
Угнаны все пестро-желтые скакуны
В сторону Джангра, в сторону Бумбы-страны.
Должен быть пойман угонщик, доставлен живым. —

И приказали тогда коневодам своим
Храбрый Цаган и тенгрия[1] сын — Тёгя Бюс,
Чтоб оседлали коней... Совершенной на вкус
Выпив арзы, бойцы понеслись на восток.
А в это время Мингйан, удалой ездок,
Минул железных копий густые леса:
Всех растоптал их табун, когда ворвался.
Чудилось: эти древки повалил ураган!

Вскоре нагнал исполина Уту Цаган,
Меч обнажил он, хотел Мингйана рассечь,
Но великану помог Соловко тогда:
Он увернулся быстро и ловко тогда,
Воздух рассек Цагана кованый меч...
И поскакал быстрее соловый скакун,
И замелькали пред ним копыта коней.—
Мчался десятитысячный буйный табун.
Так проскакали сорок и девять дней.

Мост промелькнул золотой, серебряный мост,
Вот уже башня великого Джангра видна,
Вот уже листья травы в человеческий рост...
Слышит Мингйан слова своего скакуна:
— Сбей одного из врагов и возьми на копье. —
И показал Соловый уменье свое:
Только преследователи напали вдвоем,
Он извернулся и сжался в теле своем.
Поднял Уту Цагана Мингйан на копье
Вместе с его желтопестрым куцым конем.

Тенгрия сын — Тёгя Бюс — в молодом пылу
Прямо в Мингйана пустил из лука стрелу.
В шею Соловки могла бы вонзиться стрела,
Но роковую стрелу зубами поймал
Опытный всадник и надвое поломал.
Крикнул скакун Тёгя Бюса, грызя удила:
— Этому всаднику ты не уступишь ни в чем.
Недруг не лучше тебя владеет мечом.
Богатыря спасает Соловко его,
Эта увертка, эта уловка его!
Так порази же четыре копыта коня! —

Прянула с лука и полетела стрела,
Взвизгнула тонко и засвистела стрела,
И поразила четыре копыта коня.
Молвил скакун: — Горек жребий суровый твой:
Ранен в четыре копыта Соловый твой!
Только до вечера следующего дня
Я продержусь, а там — не сердись на меня.
Вижу теперь, богатырь, что вправе ты был
Горько печаловаться на сиротство свое,
Плакать и жаловаться на безродство свое.
Эх, чужеродным в Бумбе-державе ты был!

[1] **Тенгрии** — небожители.

Джангровы люди пируют в отчизне своей,
Что за нужда им скорбеть о жизни твоей?
Где твои львы, где братья твои по борьбе?
Видимо, лгали, когда поклялись тебе
Ждать у мостов. Куда там! И выехать лень! —

И на другой, к закату клонившийся, день
Бедный Соловко лишился последних сил.
На седока Тёгя Бюс наскочил опять.
Пику стальную в тело Мингйана вонзил,
Гриву коня Мингйана заставил обнять!
Освободился Цаган. И тогда вдвоем
На запевалу Бумбы напали, живьем
Взяли, свалив посреди дороги его.
Крепко связали руки и ноги его,
И на коня посадили к движенью спиной,
И поскакали назад — к державе родной,
Десятитысячный буйный табун погнав.

В башне великого Джангра, владыки держав,
В самом разгаре пира, героям своим
Голосом звонким крикнул старый Цеджи:
— Посланный в чуждую землю, ваш побратим
Бумбы родной вчера перешел рубежи.
Но у мостов не нашел подмоги Мингйан.
Едет спиною к обратной дороге Мингйан.
Что же предпримет теперь богатырский стан? —

Савар Тяжелорукий, что справа сидел,
Бурого Лыску велел оседлать своего.
Хонгор кречетоокий, что слева сидел,
Сивого Лыску велел оседлать своего.
И говорил, посреди бумбулвы становясь:
— Все-таки Сивка дойдет, хотя долговяз,
Все-таки Сивка домчит, хотя и ленив. —
Кони помчались, ветер опередив.
Воины выполнят обещанье свое!
Выехал Хонгор, держа золотое копье,
Савар стальной — у него тяжела рука —
Выехал, взяв одну лишь секиру с собой
С песней, плечо о плечо, помчались на бой,
И быстрота скакунов была велика.

Бурого Лыску Савар за гриву схватил,
Так он сказал ему: — Лыско, мой дорогой,
Я за тебя, жеребеночка, заплатил
Тысячу тысяч кибиток — в надежде такой:
Может быть, выйдет конь из него не плохой...
Завтра к началу сиянья утренних звезд,
Должен быть, Лыско, настигнут тобой Тёгя Бюс
Прежде, чем он переправится через мост.
Если же ты, скакун, опоздаешь — клянусь:
На барабан натяну я шкуру твою,
Ребра твои превращу в докуры [1], скакун,
Чаши из черных твоих копыт сотворю!
Слово мое запомни, бурый скакун!
Видишь, целую секиру свою на том. —

Бурый скакун отвечал ездоку своему:
— Савар, теперь полечу я, как брошенный ком.

---

[1] Докуры — палочки для барабана.

Если не сможешь в своем усидеть седле,
Я не вернусь к тебе, в ездоки, не возьму,
Если растянешься на бугристой земле. —
И поскакал, как вихрь степной, бегунец.
И на рассвете следующего дня
Бурый скакун Тёгя Бюса настиг, наконец.
Только раздался могучий топот коня,
Тенгрия сын — Тёгя Бюс — оглянулся назад.
Встретил он Савра Тяжелорукого взгляд,
Грозной секиры двенадцать лезвий горят.
И поскакал Тёгя Бюс к воротам моста.
Крикнуть хотел — не могли раскрыться уста.
Савар примчался горячей мысли быстрей,
Спину рассек ему Савар секирой своей,
И отскочило железо секиры звеня.
И потеряв сознание, к гриве коня
Всадник припал, как будто зарылся в траву,
И превратилась вселенная в синеву,
И закружилась в круглых очах его.

Савар, схватив за подол врага своего,
Наземь свалил посреди дороги его,
Крепко скрутил он руки и ноги его,
А скакуна Тёгя Бюса повел в поводу.
Видит он издали: на золотом мосту
Хонгор Багряный, выполнив слово свое:
Поднял Уту Цагана с конем на копье,
Руки Цагана железным узлом стянул.
Освободился Мингйан и назад повернул
Угнанных у турецкого хана коней.

Спешились разом два великана с коней
И заключили Мингйана в объятья свои.
Хонгор воскликнул: — Мингйан! Мы — братья твои.
Не потому забыли мы про тебя,
Что сиротою ты стал, Богдо возлюбя,
И про тебя забыли мы не потому,
Что родовиты мы сами в своем дому!
Из-за величия пиршеств, из-за реки
Буйной арзы, благодатной хмельной араки
Клятву забыли, но дружба наша верна! —

И впереди пестро-желтого табуна
Пленникам к башне Богдо бежать повелев,
Савар, Мингйан и Хонгор — неистовый Лев —
К ставке своей поскакали мысли быстрей.
Спешились у чешуйчатых светлых дверей.
К белым седельным лукам прикрепили коней,
Освободили пленных своих от ремней
И распахнули двери. Со всех сторон
Дробный посыпался колокольчиков звон...
В башню вступили, где восседает нойон.
Разом склонили головы долу они,
И поклонились трижды престолу они,
И по своим расселись они местам.
Перешагнув через двести отборных бойцов,
И растолкав четыреста черных бойцов,
И надавав пощечин почти семистам,
Пленники сели в башне владыки Богдо
И попросили Джангра: — Великий Богдо!
На рубеже, где вспыхнут пожары войны,
Мы разольемся большим океаном твоим.
Будем конями служить великанам твоим,

Станем заплаткой твоей великой страны, —
Только прими нас в цветущее ханство свое,
Только прими нас, нойон, в поддáнство свое! —

— Пусть я владыка многих племен земных, —
Джангар сказал, — но сперва попросите моих
Грозных богатырей, закаленных в боях
И воевавших во всех подлунных краях. —

Тяжелорукий Савар поднялся тотчас:
— Вот наш подарок бойцам, просящим у нас! —
Руку к щекам силачей приложил, и само
Бумбы родной на них появилось клеймо.
— Хану турецкому передайте привет
И доложите: на год и тысячу лет
Стала подвластной Джангру ваша страна,
Нам ежегодную дань высылайте сполна. —
Так он сказал. И подданных новых своих
Джангар отправил домой, обещая мир
И возвратив турецких коней верховых.
Прерванный было, наново начался пир...

До бесконечности продолжались пиры.
Бумбы страна воссияла из рода в род.
И в золотом совершенстве с этой поры,
В мире, в довольстве, в блаженстве с этой поры
Зажил могущественный, богатырский народ.

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ

О битве Мингйана с ханом Кюрменом

В пору, когда во славу обильной арзы
Клики гремели всей богатырской семьи,
Джангар сказал, не стыдясь внезапной слезы:
— Счастливы мы сегодня, друзья мои,
Завтра, быть может, народы Бумбы святой
Будут раздавлены чужеземной пятой.
Знайте: под правым углом заходящих лучей
Мощного хана Кюрмена лежит страна.
Войско его состоит из одних силачей.
Некогда он покорил себе племена
Хана Узюнга — родного отца моего.
Ныне, когда в государствах мира всего
Имя мое прославляют, державу мою,
Возненавидел он громкую славу мою.
Он говорил: «На бугристой тверди земной
Слишком прославлен Джангар, единственный сын
Воина, некогда покоренного мной».
Бумбу задумал завоевать властелин, —
Надо нам Хана Кюрмена забрать в полон. —

Справа сидящий, воскликнул Алтан Цеджи:
— Кто же поедет за ним? Нойон, укажи!
— Славный Мингйан поедет, — сказал нойон.
Главный певец богатырского пира, Мингйан,
Первый красавец подлунного мира, Мингйан,
Ты полетишь на крепком соловом коне,
Ты приведешь Кюрмена живого ко мне!

Молвил Мингйан, снимая шишак золотой:
— Помните, Джангар, пришел я к вам сиротой,
Вотчину бросив свою, людей и стада.
Вы, осчастливив меня, сказали тогда:
«Будешь ты нежной усладой бойцов моих,
Будешь ты первым из первых певцов моих...»
Вот оно, Джангар, сказалось безродство мое!
Как вы решились послать меня одного
В край чужеземный, забыв про сиротство мое!
Нет у меня под этой луной никого.
Сгонит могучий противник со свету меня.
Йах! Ни сестер, ни братьев нет у меня,
Что выходили бы вместе, встречая меня,
Что напоили бы чашкою чая меня! —

И зарыдал он, горем своим обуян.
— О, запевала Бумбы, красавец Мингйан! —
В ставке раздался голос Алтана Цеджи. —
Ты поезжай, за судьбу свою не дрожи.
Если сумеешь — захватишь Кюрмена живым,
А не сумеешь — с прекрасным даром своим
Даже в плену будешь первым из первых певцов! —

Поднял Мингйан, услыхав слова старика,
Желтую чашу: семьдесят сильных бойцов
Вряд ли поднимут ее! Шумит арака
В теле могучем, сжата в кулак рука.
Крикнул, неистовый, друзьям боевым:
— Если пролью богатырскую кровь свою —
Обогатится земля глоточком одним.
Высохнут кости мои в далеком краю —
Обогатится горсточкой праха всего...
Эй, коневод, побеги скорей на луга!
Эй, коневод, оседлай Алтана Шарга
И приведи сюда скакуна моего! —

В травах душистых, у холода чистых вод,
Бегал Соловый. Привел его коневод
И оседлал у чешуйчатых светлых дверей.
Добрый скакун снаряжен по законам страны.
И попрощался Мингйан с нойоном страны.
Выслушав пожелания богатырей,
Благоухающие, как лотос в цвету,
Славный Мингйан вскочил на коня на лету.

Перевалил Мингйан курган-перевал, —
Холмик заметил. Остановился на нем,
Спешился, перед соловым уселся конем,
Повод к седлу привязал он и зарыдал.
Видит он: что-то чернеет в тумане степном.
Это несется Цеджи на Улмане своем.
Знают во всех государствах света его!
Вот развеваются полы бешмета его
Над скакуном, развевается борода...

— Бедный Мингйан мой, — сказал он, — иди сюда.
И на колено правое посадив,
В правую щеку Мингйана поцеловал,
И на колено левое посадив,
В левую щеку Мингйана поцеловал.
— Я помогу тебе, милый Мингйан, — он сказал. —
Огорожу тебя, славный певец, от беды.
На девяностые сутки своей езды
Первого ты повстречаешь врага, — он сказал. —

Это небесный верблюд, по прозванью Хавсал.
Если скрипит он зубами, пищу жуя,
Пышет во рту десятиязыкий пожар.
Здесь, богатырь, и нужна умелость твоя:
Должен ему нанести смертельный удар!

Дальше проскачешь три месяца по полю ты —
Три величавых заметишь тополя ты.
Выйдет к тебе пятьсот невесток и дев.
Яства на тысячу разных вкусов у них,
Лица — святых, но сердца — шулмусов у них!
Выход один: на красавиц не посмотрев,
Повод коня отпусти — Алтана Шарга:
Он уже знает, как унести от врага.

Минет еще три месяца — встретишь в степи
Двух желтокрылых ужасных ос... Поступи
Так же, как прежде: дай волю Алтану Шарга,
Помни: Соловому жизнь твоя дорога.
Если живым доедешь до ставки врага, —
Помни: живет у Кюрмен девица одна,
Ханши служанка. Ей можешь открыться: она
Джангра свояченица и ханская дочь.
Должен ты свидеться с ней: сумеет помочь! —

Так ясновидец сказал. Приложив сперва
К белому лбу священный мирде-талисман,
Мудрый Цеджи произнес такие слова:
— Да повернешь по обычаям предков, Мингйан,
Повод коня золотой. Победив в бою,
Да возвратишься ты в Бумбу — страну свою. —
Сели богатыри на могучих коней.
Мудрый провидец пустился в обратный путь.

Резвый Соловый помчался, выпятив грудь,
Не замечая ночей, не считая дней,
Надвое силой дыханья деля траву.
Красная пыль поднялась, уперлась в синеву!
Так богатырь девяносто дней проскакал.
Близилось время к полудню. Увидел Мингйан:
Мчится к нему небесный верблюд Хавсал,
Десять огней полыхает в огромном рту.
Резвый Соловый, ужасом обуян,
Остановился, весь в холодном поту.

Голову поднял Мингйан скакуна Шарга,
Повод его золотой к седлу привязал,
С черной нагайкой своей побежал на врага.
Справа пытался Мингйана схватить Хавсал, —
Кинулся влево Мингйан и одним прыжком
Между горбами двумя очутился верхом.
Морду направо сворачивает Хавсал, —
Влево тогда наклоняется богатырь.
Морду налево сворачивает Хавсал, —
Вправо тогда наклоняется богатырь.
Вынул Мингйан смертоносный меч из ножен,
Сталью взмахнул — у верблюда лоб размозжен,
Падает он с окровавленной головой!
Вот он покрыл половину степи вековой,
Перегораживая девяносто рек.
Чтобы скорее пройти, богатырь отсек
Голову, срезав горбы, зажарил потом
И, подкрепившись, поехал прежним путем.

Ровно три месяца мчался по полю он.
Три величавых заметил тополя он.
Девушки, жены выходят из тени к нему.
Яства несут, и доносится пенье к нему:
— Голод, о старший наш брат, утолите вы,
Жажды великий пожар угасите вы! —
Вспомнил Мингйан разумного старца слова,
Волю Соловому дал. Запрядал сперва,
Будто бы перепугавшись, Алтан Шарга,
В ужасе мнимом отпрянул на два шага,
На небо прыгнул одиннадцать тысяч раз.
Наземь он спрыгнул одиннадцать тысяч раз,
Не дал опомниться женам — скрылся из глаз!

И повторяли бесовки в досаде тогда:
— Мы на дорогах стояли в засаде всегда,
Целый тюмен приходил — мы хватали тюмен.
Десять тюменов — и тех забирали в плен.
Если сумел он ловкостью нас превзойти,
Если сумел он уйти, пускай на пути
Больше не встретит преград, не встретит засад,
Благополучно да возвратится назад! —

И прославляя создателя Бумбы своей,
Дальше помчался Мингйан. Когда же ездок
К цели приблизился на девяносто дней,
Дождик закапал, затрепетал ветерок,
Блестки рассыпались радужной полосы,
И, беспрерывно меняясь местами, вдали
Тучи, две черные тучи по небу шли
И превращались в две желтокрылых осы.

— Предупреждал об этом провидец меня, —
Вспомнил Мингйан. Отпустил он поводья коня,
И поскакал золотоволосый его.
Снизу пытались ужалить осы его —
Делал он вверх одиннадцать тысяч прыжков.
Сверху пытались ужалить осы его —
Делал он вниз одиннадцать тысяч прыжков.
Изнемогая, свалились тогда с высоты
Желтые осы, поранив свои животы.
К ним возвратиться Мингйан повелел коню,
И желтокрылых тварей он предал огню.

И помолившись творцу родимой страны,
Воин подумал: «Победа! теперь не страшны
Недруги, названные святым стариком...»
И натянул он ремни золотой узды,
И полетел жеребец, как брошенный ком.
После двенадцатидневной быстрой езды
Гору плешивую всадник увидел вдруг
С белой вершиной, лицом обращенной на юг.

Всадник взобрался наверх, чумбур растянул,
Ноги Соловки согнул, на землю взглянул
Взором пронзительным кречетовых очей.
Он увидал: под углом заходящих лучей
Высится башня, похожая на орла,
Перед полетом расправившего крыла.
Светятся окна из огненного стекла,
И в небосвод упираются купола.
«Кто же владелец башни, — подумал Мингйан, —
Видимо, тоже один из властителей стран,

Видимо, тоже один из могучих владык,
Видимо, тоже отважен, богат и велик.
Разве такого смогу победить врага?»

Так вопрошая, плакал прекрасный Мингйан.
Крупные слезы текли — за серьгою серьга.
С белой вершины сошел, наконец, великан.
Он отпустил своего Алтана Шарга
К водам прохладных ключей, на зеленый простор,
Вырвал сандаловый ствол и развел костер,
Чаю сварил, чачир над собой развернул,
И, раскрасневшись как жимолость, воин заснул
И на земле растянулся, как цельный ремень.
И молодой богатырский сон, говорят,
Длился тогда сорок девять суток подряд.

Только лишь пятидесятый начался день,
Воин проснулся. Взглянул он прежде всего
На скакуна своего — и не верит глазам:
Кажется, с пастбища сейчас привели его!
И подошел он к ручью, и увидел: и сам
Стал он таким, каким перед выездом был.
И засмеялся, печали свои позабыл,
И превратил коня в жеребенка потом,
И превратил он себя в ребенка потом,
И в государство хана Кюрмена вступил.
Ехал вприпруску, двухлетку не торопил.
Там, где давали побольше, там ночевал,
Там, где давали поменьше, там он дневал.
Прибыл в цахар [1], когда еще было светло.

Ясная, как луны золотое стекло,
Вышла девица: видимо, в башне жила.
Остановил он коня, чтобы мимо прошла,
Но побежала девица навстречу ему.
Он поскакал, чтоб осталась она позади, —
Рядом бежит, обращается с речью к нему:
— Старший мой брат, не спеши, мой нойон, погоди,
С благополучным приездом поздравлю тебя,
И безошибочно к цели направлю тебя. —

— Девушкой с виду кажетесь кроткою вы,
А посмеяться не прочь над сироткою вы,
Над мальчуганом без матери, без отца.
Если, девица, для шуточек вздорных вам
Недостает покорного молодца,
Трудно ль такого найти средь придворных вам? —
С гневом притворным ответствовал мальчуган.

— Сразу тебя признала я, славный Мингйан,
Первый красавец вселенной! Ты — исполин
Бумбы нетленной, и Джангар — твой властелин.
Послан сюда нойоном на гибель врагу,
Можешь открыться мне, воин, я помогу. —

— Верно, — Мингйан отвечал, не слезая с коня. —
Послан я Джангром сюда, нойоном своим.
Верно и то, что Мингйаном зовут меня.
Должен я Джангру доставить Кюрмена живым.
Что предпринять? Помогите, красавица, мне,
С хитрым врагом помогите справиться мне. —

[1] Цахар — группа кибиток бедняков, расположенных у ханской ставки.

— Та, про которую, мой прекрасный Мингйан,
Мудрый Цеджи тебе говорил, это — я.
Все расскажу тебе, ничего не тая.
Этот Кюрмен — воистину сильный хан,
Этот Кюрмен — один из могучих владык:
Принадлежит ему света четвертая часть.
Ханский очир, железную ханскую власть
Белый Мудрец охраняет — древний старик.
Как-то в один из тихих степных вечеров
Вышел из башни старик. На звездный покров
Он посмотрел и, вернувшись, хану сказал:
Видишь, оттуда, — и на восток указал, —
Воин великого Джангра прибыл уже.
Ханство в опасности. Будем настороже».

«Кто же из этой, забытой на тверди земной
Слабой страны Узюнг-хана, разгромленной мной,
Кто же со мною вступить осмелится в спор?
Правду всегда говорили вы до сих пор,
Даром провидца мой просветляя народ,
Все, что случится, ведали вы наперед.
Ваши слова — не пустые слова ли теперь?
Мудрости вашей года миновали теперь,
Старости вашей теперь наступили года!»

Так и не принял хвастливый Кюрмен тогда
В бедный свой ум старика разумного речь.
Старец не смог властелина предостеречь.
Вот почему я встречаю тебя, Мингйан!
Если ты снимешь с Кюрмена мирде-талисман, —
Станет слабее дитяти грозный Кюрмен,
И ничего не стоит взять его в плен.
Если не снимешь, — никто не осилит его
Между двуногими нашего мира всего!
Ночью приди на пиршество богатырей,
И, превратив дорогого коня своего
В косточку, в альчик, — оставь у наружных дверей.
Если мирде с кюрменовой снимешь груди, —
Хана вяжи: не снимешь — к ногам припади
И попроси, чтоб испытывать начал тебя,
Лучшим из лучших певцов назначил тебя.
Духом не падай, надейся на помощь мою. —

И возвратилась девица к себе домой.
Славный Мингйан в безмолвной тиши ночной
Чудо содеял: себя превратил в змею
И ко дворцу Кюрмена тотчас же подполз.
Мимо наружной и внутренней стражи прополз,
Щелку нашел он и юркнул в ханский покой.

Перед иконой горел светильник святой,
Пламень его на стене, над престолом дрожал,
А на серебряном ложе Кюрмен возлежал,
И не поймешь его — спит он или не спит.
Острый булат на груди, как солнце, слепит,
Слева от хана левый находится ад,
Справа от хана правый находится ад,
Барс и гиена с обеих сторон стоят.
Прыгнут — ничто не сумеет тебя спасти!

Смотрит на них Мингйан и дрожит Мингйан,
Что-то заныло в груди, заныло в кости,
Горько заплакал он, ужасом обуян.
Долго поднять испуганных взоров не мог.

Поднял — и что же? Видит: паук-осьминог
С ханской груди снимает святой талисман.
Понял Мингйан: перед ним не простой паук!
Спрыгнул паук, превратился в девушку вдруг.
Разом знакомку свою признает Мингйан!

Девушка направляется к богатырю
И на него надевает святой талисман.
— Воин, запомни то, что сейчас говорю:
Барс и гиена заснули, не встанут, поверь:
Их усыпила я на сорок суток теперь,
И до рассвета должна я расстаться с тобой.
Выйду, вступлю со стражей внутренней в бой,
Ты же по правилам веры, в ночной тиши,
Дело благое свое, Мингйан, заверши
И постарайся покинуть башню к утру. —

Вышла. Мингйан испил благодатной арзы.
Огненная вода разлилась по нутру,
Вспыхнули в зорких глазах зарницы грозы.
Соединил для молитвы ладони Мингйан,
И поклонился грозной иконе Мингйан,
И потушил светильник пальцем одним,
И, подойдя к владыке, склонился над ним,
И закричал он, вынув булат из ножен:
— Будешь, Кюрмен, не моей рукой поражен, —
Это великий Джангар тебя покарал! —

С этим вонзил он в живот блестящий булат
И повернул его семьдесят раз подряд.
От неожиданной боли Кюрмен заорал,
Бросил сразмаху противника в правый ад, —
Тот устоял на мизинце правой ноги.
Бросил сразмаху противника в левый ад, —
Тот устоял на мизинце левой ноги!
Стали тогда в рукопашную биться враги
В ханском покое, погруженном во тьму.
Бросил Мингйан Кюрмена к противной стене:
Без талисмана не страшен Кюрмен никому!
Руки и ноги скрутив на ханской спине
Хана Кюрмена сунул в большую тулму.

Он увидал, распахнув двенадцать дверей:
Травы росою покрылись утренней там,
Девушка билась со стражей внутренней там —
С доблестной ратью кюрменовых богатырей,
С грозным тюменом она сражалась одна!
Славный Мингйан, перепрыгнув через поток
Пеших и конных, попал в седло скакуна,
И превратилась девушка в желтый платок,
Над изумленным войском взметнулась она,
За пояс богатыря заткнулась она!

Наш богатырь нагайкой ударил коня.
На расстоянье пробега целого дня
Ставил свои передние ноги скакун.
Задние ноги ставил в дороге скакун
На расстояние в целый ночной пробег.
Если же сбоку смотрел на него человек, —
Чудилось: выскочил заяц из муравы!
Травы степные тонули в красной пыли,
Пламя ноздрей обжигало стебли травы.
Мчался Шарга, подбородком касаясь земли,
А подбородок стальной опирался на грудь...

— До расстоянья в двенадцать дней и ночей
Мы сократим двенадцатимесячный путь, —
Молвила девушка и подняла суховей,
Страшному ветру степному велела подуть.
Ветер подул за хвостом Алтана Шарга.
Вот уже мысли быстрей Соловый летит!
Всадники вдруг услыхали топот копыт.
Это Мерген догонял их — Кюрмена слуга.
Молвила девушка, сразу признав врага:
— Дайте мне ваш Кивир[1] — знаменитый лук.
Если на горле он пуговицы отстегнул, —
Мы победили Мергена. Если же вдруг
Пуговицы на горле он застегнул, —
Плохо, Мингйан, окончатся наши года. —

Девушка синий лук натянула тогда,
Через плечо поглядела в степную ширь.
Видит она: из-за сильной жары богатырь
Пуговицы на горле своем отстегнул!
В желтое горло вонзилась тогда стрела
И богатырскую голову сорвала.
Враг обезглавленный повод коня повернул,
Спешился, в черную землю саблю воткнул,
И обмотал поводья вокруг колен...
Саблю сжимая, дух испустил Мерген.
Славный Мингйан велел возвратиться коню,
Спрыгнул на землю, с убитого снял броню,
Тело рассек и крошево предал огню,
Вражеского жеребца повел за собой.

На девяностые сутки слез у дверей
Джангровой башни, покрытых искусной резьбой.
Вышло навстречу множество богатырей,
И развязали они большую тулму.
Освободили Кюрмена, сказали ему:
— Справа садитесь, на восьминогий престол,—
Слушать не стал их Кюрмен и дальше пошел,
Сел он повыше Джангра Богдо самого!

Семеро суток длилось уже торжество.
Молвил в разгаре пиров могучий Кюрмен:
— Много я вижу в этой стране перемен!
Сын Узюнг-хана, Джангар великий, владей
Этой прекрасной землей бессмертных людей. —
И провожаемый всей богатырской семьей,
Этот могучий Кюрмен уехал домой.

Возобновилось в ханском дворце торжество.
Молвил Алтан Цеджи, богатырь и пророк:
— Милый Мингйан, покажи-ка мне желтый платок,
Что из кармана выглядывает твоего. —
Вынул Мингйан платок, и у всех на глазах
Девушка появилась такой чистоты,
Девушка появилась такой красоты,
Что потускнело солнце на небесах!
Справа, пониже ханши Ага Шавдал,
Девушка села, и каждый тогда увидал:
Ханшу затмила она сияньем своим...

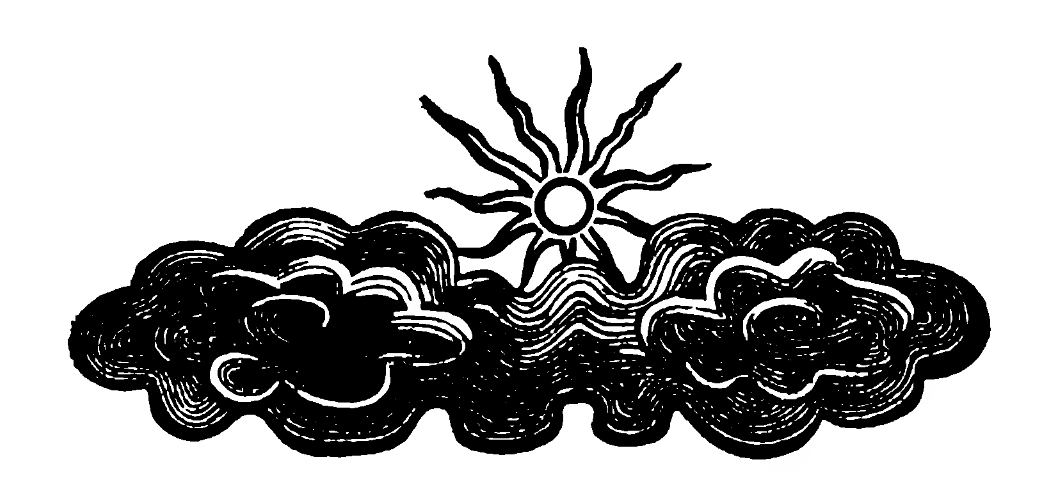
— В жены красавцу красавицу отдадим,
Пусть она будет Мингйану доброй женой, —
Крики послышались, — доблестный воин Мингйан! —

[1] Кивир—собственное имя лука. Лук со стрелой, снабженной в наконечнике лопаткой.

— Слишком заслуги ее велики предо мной, —
Молвил Мингйан. — Ее недостоин Мингйан:
Неоднократно спасала мне жизнь и честь.
Равным красавице я не могу себя счесть
И не посмею назвать супругой своей. —

Эти шесть тысяч двенадцать богатырей,
Долго советуясь, изрекли приговор:
— Он ясновидца, отважный Аля Шонхор,
Пусть эту девушку спутницей изберет. —
И богатырские снова пошли пиры,
Бумбы страна воссияла из рода в род...

И в золотом совершенстве с этой поры,
В мире, в довольстве, в блаженстве с этой поры
Зажил могущественный, богатырский народ!



О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПЕСНЯХ «ДЖАНГРА»

Читатели «Молодой гвардии» познакомились с десятью песнями калмыцкого народного эпоса «Джангар». Окончание его (одиннадцатая и двенадцатая песни) издано недавно Гослитиздатом, сделавшим прекрасный подарок всем интересующимся народным эпосом братских республик [1]. Эти последние песни поэмы представляют собой законченное художественное целое и читаются с неослабевающим интересом. Одиннадцатая песня эпоса посвящена подвигам нойона Джангра и его сына Шовшура. Медленно нарастает действие. Джангар, чье имя «прославлено и вблизи и вдали», окруженный своими богатырями, управляет сказочной страной Бумбой. Здесь и Гюмбе, и провидец Алтан Цеджи, и Хонгор, любимый богатырь, воплощающий по смыслу поэмы судьбу калмыцкого народа. Возле Джангра его «месяцеликая супруга».

«Светом таким сиял владычицы взор,
Что вышивали при нем тончайший узор.
Так он сиял, что мог бы табунщик при нем
За табуном следить во мраке ночном.

На пиру богатыри дают Джангру клятву:

Жизни свои острию копья предадим,
Мысли свои державе родной посвятим.
Да отрешимся от зависти, от похвальбы,
От затаенной вражды, от измен, от алчбы.
Груди свои обнажим и вынем сердца,
И за народ отдадим чашу кровь до конца,
Верными Джангру, едиными будем вовек,
И на земле будем жить, как один человек.

Эта прекрасная клятва напоминает лучшие строфы могучих памятников народного эпоса: «Песнь о Роланде» и «Слово о полку Игореве». Верность земле, родине, преданность и неустрашимость — все, что создает воинскую доблесть, запечатлелось в ней. Но на этом пиру, где дана такая прекрасная клятва, Джангар равнодушен ко всему: «всех поразил он видом угрюмым своим». Он не отвечает на расспросы своих богатырей и велит снарядить своего скакуна Аранзала. Вскочив на коня, он понесся, «грозный, как целая рать». Понесся — «куда неизвестно — во весь опор». Напрасно богатыри останавливают его. Джангар сам не знает, какая сила влечет его вдаль. Страной остается управлять Хонгор, об этом узнает владыка шулмусов Шара Гюргю и решает завоевать счастливую Бумбу. Начинается война с шулмусами:

Десять отваг у Хонгра в груди бурлят,
Силы напряг и, выхватив длинный булат,
С кличем геройским напал на среднюю рать,
С выбором головы вражьи начал снимать:
Он, обезглавливая спесивую знать,
Также и лучников, грозных стрелков, не щадил,
Лишь подневольных одних бедняков он щадил.

Последняя строка замечательна. «Джангар» — памятник феодального эпоса. На первом плане верховный сюзерен и его рыцари (богатыри), но, несмотря на это, поэму одушевляет любовь ко всему народу, как единому целому. Сказители,

[1] «Джангар»—калмыцкий народный эпос. Перевод Семена Липкина, под редакцией Е. С. Мозолькова. Гослитиздат, 1940 г.

слагавшие поэму, и поэт, завершивший ее, исполнены высокого национального сознания, при этом глубоко демократического.

Борьба с Гюргю, повелителем шулмусов, оканчивается поражением Хонгра. Его заковывают в цепи и опускают в нижнюю «Седьмую бездну», где предают жестоким истязаниям:

Каждые сутки одиннадцать тысяч раз
Кожей плетеной лупите его, молодцы!
Каждые сутки одиннадцать тысяч раз
Сталью каленой сверлите его, молодцы!

Такие события происходят во время отсутствия Джангра. Он блуждает в степях, «влача трудные дни», позабыв о Хонгре и родине. Только забредя «в дальнюю даль», Джангар понимает, что происходит с ним.

В глуши он встречает «желтую бумбулву» (хижину) и видит в ней девушку, прекрасную, «как месяц». Он женится на ней, и «лучезарная рагни» рождает ему сына, названного Шовшур. Шовшур уже на третий день отправляется на охоту на отцовском коне Аранзале. Во время охоты он встречает богатырей, ищущих его отца. Цеджи дает ему синюю стрелу с клеймом Бумбы, Джангар, увидев ее, сразу вспоминает родину. Здесь в поэме прекрасный эпизод, исполненный тончайшей душевности. Джангар объясняет Шовшуру, почему он покинул Бумбу.

Джангром зовущийся, был властелином я,
Самого сильного я подавлял врага!
Все же постылой судьба моя стала мне:
Видно, тогда не полным я счастьем владел.
Всем я владел, не хватало мне!
Ты — моего нетленного счастья предел!
Войско покинув, на поиски сына пошел,
Бумбы взамен я тебя, мой мальчик, нашел...
Знай, мальчуган: от отца рождается сын,
Чтобы надежной опорой родине стать.

Исполненный отцовской доблести, Шовшур отправляется освобождать от шулмусов Бумбу и побеждает Гюргю и его рать:

Трехгодовалый Шовшур повелел пригнать
Важных шулмусских вельмож, надутую знать.
Бледных, дрожащих, в два бесконечных ряда
Друг против друга их усадили тогда,
Лотосовидной отметили их тамгой.
На протяженьи года и тысячи лет
Будет гореть на обличьи лотоса след.
И повелел каждому зваться слугой
Сильного Джангра, а не кровопийцы Гюргю.

Пока Шовшур освобождает Бумбу, Джангар спускается в преисподнюю и там, после ряда приключений среди оборотней и ведьм, освобождает Хонгра. Одиннадцатая песня кончается счастливым пиром. Джангар и Шовшур пируют в освобожденной Бумбе:

И на великий кругооборот времен
Бумбы народы зажили мирной семьей,
Счастья и мира вкусила эта страна,
Где неизвестна зима, где всегда весна...

Последняя заключительная песнь «Джангра» целиком посвящена военным событиям. Хан мангасов Хара-Киняс (Чингиз-хан?) собирается завоевать страну Джангра. В начале песни повторяется характеристика Джангра и его богатырей. На этот раз она принадлежит Нирану Кюске, богатырю и провидцу Хара-Киняс. Здесь превосходные и широко разбросанные отступления завершают образы, знакомые по одиннадцатой песне. Настойчиво повторяется мотив счастливой страны:

Видите, хан, это — сильный, богатый народ,
Все родовиты, нет в этом ханстве сирот.
В счастье, в покое пребывает страна.

Киняс, выслушав рассказ, обращается к своему богатырю Беке Цагану и предлагает ему завоевать эту счастливую страну. Джангар собирается выступить ему навстречу, но Хонгор просит у него разрешения одному сразиться с Беке Цаганом. Взнуздав своего дорогого коня, он скачет «навстречу восточным лучам»:

Горная цепь уже показалась вдали, —
Хмуро насупившаяся вершина Эрклю
Точно решила свалиться на седока.
В пору, когда, пронзая насквозь облака,
Раннее солнце бросает лучи ковыля,
Чтобы жемчужиной стала росинка на нем.

Природа в поэме всегда соучаствует в делах человека и неразрывно связана с его бытием. Вот почему, когда начался поединок Хонгра и Цагана, из лесной глуши —

Птицы слетелись, дикие звери пришли,
Рыбы морские слушали на мели
Отзвуки битвы...

Цаган побеждает Хонгра и, привязав его к хвосту коня, мчит к восходу солнца:

Ехал лесами, привязан к хвосту скакуна,
Птицы летели с утра дотемна,
Целые стаи следовали над ним,
Пели, напев их звучал рыданьем одним!
Ехал он степью — коленчатые ковыли
Стебли вытягивали, печально звеня...

«Никнет трава жалощама» — поет «Слово о Полку Игореве» — отмечаем удивительное совпадение эпосов двух народов.

Джангар узнает, что Хонгор взят в плен и увезен в пределы Мангасской земли. Тогда он сам отправляется в поход со своими богатырями. Битва Джангра с полчищами Хара-Киняса исполнена свирепой силы:

Ровно четыре луны сражались они.
Луг закачался, красной рекой залитой,
И в полумглу погрузился мир золотой.
Все перепуталось: пеший с конным слился,
Возглас «ура» с железным звоном слился,
Конская кровь с человечьей кровью слилась
И до колен седоков она поднялась.

Первый бой между войсками Джангра и Хара-Киняса не окончился решительно. Джангар во время боя сломал свой сандаловый дрот и отправился к кузнецу, сковать новый. После этого он освобождает Хонгра и снова отправляется навстречу войску Киняса. Начинается последний бой. Джангар остается победителем. И снова «утверждается в стране желанный покой».

Солнце бессмертия засияло над ней.
Счастья и мира вкусила эта страна,
Где неизвестна зима, где всегда весна.

Так в долгих скитаниях по степям и пустыням Средней Азии калмыцкий народ создавал свою мечту о родине.

С. Липкин

ПОЭТИКА «ДЖАНГРА»

В 1936 году редакция альманаха «Творчество народов СССР» предложила мне сделать стихотворный перевод довольно большого отрывка из неизвестного мне прежде калмыцкого эпоса «Джангар». Речь шла о вступлении к «Песне о походе против лютого хана Хара-Киняса». Новый, самобытный мир открылся мне при чтении подстрочного перевода. Степи и луга с их странными деревьями, травами и цветами; сказочная архитектура дворцов-кибиток; образы и сравнения, такие реальные и неожиданные; богатыри, рассевшиеся семью кругами на пиру, — отважные, сильные, мудрые; удивительная страна Бумбы; поэзия, исполненная красоты, нам незнакомой, но нам не чуждой, своеобразной, но не экзотической, — все это увлекло меня, и перевод «Джангра» стал моей заветной мечтой.

Калмыцкого языка я не знал. Имел я довольно смутное представление и об истории калмыков, их обычаях. Я начал изучать труды историков и путешественников — Пальмова, Грум - Гржимайло, Иакинфа Бичурина, Палласа и других; познакомился с «Сравнительной грамматикой монгольского письменного языка» Б. Я. Владимирцова (калмыцкий язык входит в группу монгольских языков), со «Строем халха-монгольского языка» Н. Н. Поппе; впоследствии прочел (в рукописи) интереснейшее исследование С. Козина о дате возникновения «Джангариады»; несомненный налет буддийской, тибетско-индийской культуры, лежащий на эпосе, вызвал необходимость познакомиться, хотя бы в общих чертах, с основами буддизма, в особенности с его ламаистским истолкованием.

Мне посчастливилось: моим чтением руководил калмыцкий писатель Баатр Басангов, страстный поклонник «Джангариады», знаток истории, обычаев, устного творчества родного народа. Общение с ним намного увеличило запас сведений, почерпнутых мной в литературе.

Постепенно все ясней и ясней вырисовывались передо мной очертания «Джангариады», но попрежнему оставался загадкою ритм поэмы. Сколько я ни вчитывался в латинскую транскрипцию подлинника, я никак не мог уловить стихотворного размера. Мне часто казалось, что эпос написан не стихами, а прозой. Это впечатление усиливалось незначительным количеством гласных. Высказывания же ученых по этому вопросу оказались крайне противоречивыми; до сих пор еще изучение калмыцкого стиха находится в зачаточном состоянии.

Со слов своих калмыцких друзей я знал, что имеются специальные певцы, джангарчи, исполняющие различные варианты «Джангра» в сопровождении домбры.

Выяснилось, что стихотворный размер эпоса можно определить только с помощью этих народных певцов. Я поехал в Калмыкию.

Калмыцкие степи раскинулись между двумя историческими путями: между Кавказом и Волгой. Из Астрахани переправляются через Волгу на пароме верблюды, автомобили и кони, впряженные в подводы. Автомобиль часами несется вдоль ковыля, который в эпосе с поразительной точностью назван коленчатым...

Всюду — и в улусных центрах и в маленьких аймаках — убеждался я в горячей любви калмыков к своему поэтическому творению.

Не далеко от Халхуты у нас лопнул скат, и мы провели несколько часов в дорожной будке. За длинным, узким столом сидели чабаны, рабочие дорожной бригады, шоферы и пили калмыцкий чай. Когда мой спутник спросил, где здесь живет поблизости хороший джангарчи, все рассмеялись. «Каждый из нас — джангарчи», сказал водитель грузовой машины и запел главу о «Савре Тяжелоруком». Все присутствующие, как бы соревнуясь, исполнили свои любимые места из «Джангра». Тогда же один маленький старик в островерхой барашковой шапке рассказал нам легенду о создании калмыцкого эпоса:

«В драгоценное изначальное время, когда степь успокоилась после топота могучих коней, когда были подавлены все враги Бумбы, Джангар и его богатыри заску-

чали. Не стало сайгаков, чтобы поохотиться на них, не стало соперников, чтобы померяться с ними силою. Скука, как туман, вползала в страну Бумбы. Тогда, неизвестно откуда, появилась женщина, но еще не жена, и была она великой красоты. Она вошла в кибитку, где восседали семь богатырских кругов, и круг старух, и круг стариков, и круг жен, и круг девушек, и запела. Запела она о подвигах Джангра и его богатырей, об их победах над несметными врагами, о Бумбе — стране бессмертия. От теплоты ее голоса рассеялась скука, как туман под лучами солнца. Так родилась «Джангариада». Богатыри, слушая ее, становились снова веселыми и жизнелюбивыми, и нойон Джангар приказал им заучить эту песнь. С той поры появились джангарчи, над вечно зеленой землей Бумбы зазвенела песнь победы; поют ее и поныне».

Много в калмыцкой степи можно услышать таких легенд, да это и неудивительно: в течение веков «Джангариада» была для калмыков не только литературным произведением, но и символом национальной гордости, источником сил, утешением.

Вслушиваясь в исполнение джангарчи Ара Човаева, Дава Шавалиева и других, я стал различать плавный, пусть не похожий на европейские стихи, ритм. Почему же я не улавливал его при чтении? В калмыцком языке слово имеет два ударения: главное, падающее на первый слог, и второстепенное, музыкальное, падающее во многих случаях на последний слог. В письменной литературе, как и в обыденной речи, ударение всегда падает на первый слог, а остальные гласные произносятся кратко, чаще вовсе не произносятся. Я уже писал, что меня поразило при чтении оригинала незначительное количество гласных; создавалось впечатление, что эпос написан не стихами, а прозой. Если же прочесть «Джангар» так, как его исполняют джангарчи, — пользуясь музыкальным ударением, падающим во многих случаях главным образом в конце строки, на последний слог, — то неударные гласные обретут ясность и силу, и прозаическая, казалось бы, строчка зазвучит, как стихотворная.

Сопоставление записей, сделанных со слов различных джангарчи, привело к выводу, что стих «Вступления» и первых восьми песен состоит из восьми-девяти слогов (хотя встречаются строки и с большим и с меньшим количеством слогов), а стих последних четырех песен состоит из одиннадцати-тринадцати слогов.

Так в основу русского перевода легла музыкальная мелодия «Джангариады».

Оригинальна и калмыцкая рифма. В эпосе преобладает анафора, то-есть стихи начинаются на одну и ту же букву или группу букв. В русском языке такая рифма читателем почти не ощущается. Анафора, как основная система рифмовки, не свойственна русскому стихосложению; поэтому в переводе анафора заменена знакомой нам концевой рифмой, но, чтобы читатель получил представление о звучании калмыцкого стиха, нередко применяется и анафора, не исключающая, однако, концевой и даже внутренней рифм, например:

БУрый ЛЫСКУ ВСПРЫГНУЛ вдруг,
БУдто ИСКРА ВСПЫХНУЛ вдруг...
ЛЮДи не знали в этой стране
ЛЮТых морозов, чтоб холодать,
ЛЕТнего зноя, чтоб увядать...
ШЕСТИ крепостей разрушил врата,
ШЕСТЫ сломал сорока пик.

Чтобы читатель не только видел, но и слышал анафорическую рифму, я решил как можно чаще рифмовать начальные слова строк, например:

БЛАГОУХАННАЯ, сильных людей страна,
ОБЕТОВАННАЯ богатырей страна.

В «Джангариаде» часто встречаются редифы, то-есть повторы одного слова или группы слов в нескольких строках. В этих случаях в переводе рифма поставлена перед повтором, например:

Что тебе, желанная, дать,
Что тебе в приданое дать?

БУДда свидетель: верные воины мы.
БУДем ли, наконец, удостоены мы.

Стремился я передать и свойственную стиху «Джангариады» аллитерацию (повторение одинаковых звуков):

РЕШИл он: ШИРЕ на целый аРШИН.

Естественно теперь задать вопрос: если переводчик передает абсолютно точно смысл каждой строки подлинника, воссоздает его форму, проявит изобретательность при передаче трудно переводимых выражений, можно ли утверждать, что перевод будет удачным? Нет. Перевод можно считать удачным только тогда, когда он воспроизведет и то обаяние, которым владеет оригинал. Это обаяние нужно искать, искать во всем: и в рифме, и в ритме, и в словаре оригинала, и в синтаксисе, и — это, может быть, самое главное — в живой интонации стиха, которую научил нас слушать Владимир Маяковский.

Пусть читатели судят, насколько мне удалось разрешить эту задачу, но должно отметить, что все благоприятствовало моей работе. Прежде всего я слушал древ-

нюю калмыцкую поэму из уст ее авторов, ибо как же иначе назвать джангарчи, этих народных певцов, исполняющих одну и ту же главу только в своих, отмеченных личным дарованием вариантах! Я наблюдал, какой мимикой сопровождались отдельные места эпоса и как они воспринимались слушателями. Было вдохновляющим и то, что моя работа, работа молодого литератора, заинтересовала целый народ, я получал письма от рыбаков и табунщиков, от представителей калмыцкой интеллигенции, письма, критикующие, ободряющие, советующие...

Отдельные главы, эпизоды, монологи я переводил по нескольку раз заново. Появление нового джангарчи, нового более яркого варианта какой-нибудь из глав «Джангариады» вызывало соответствующие изменения в переводе. Вдохновенные гравюры В. А. Фаворского уточняли мое представление об одежде богатырей, об их доспехах, о снаряжении коней, об убранстве кибиток, о древней утвари. Многочисленные указания редактора перевода С. Я. Маршака, которому интуиция художника помогла быстро проникнуть в дух подлинника, наталкивали меня на новые решения, сообщавшие стиху энергию и выразительность.

Б. Басангов

КАЛМЫЦКИЙ НАРОД И ЕГО ВЕЛИКИЙ ЭПОС

Калмыки — народ монгольского происхождения. В пределы бывшей царской России калмыки перекочевали в XVII столетии. До этого они жили в Зюнгарии (Синь-Цзян). Основными причинами их ухода из Зюнгарии были многолетние междоусобные войны и неслыханный гнет, которому калмыки подвергались со стороны нескольких императорских династий Китая.

Надеждам калмыков сохранить свою независимость и свободу, ради которых они покинули высокогорные цепи Центральной Азии и ушли на Волгу, не суждено было сбыться. В Приволжье калмыки попали под ярем царизма, своей феодальной знати и буддийского духовенства. Свою судьбу они выразили в образной поговорке: «Лунь вырвался из пасти дракона, но попал в цепкие когти двуглавого орла».

И в 1771 году, не выдержав жестоких притеснений «белых царей» и потеряв всякую надежду на сохранение своей национальной самостоятельности, большинство калмыков решило покинуть пределы России и вернуться обратно, в далекую Зюнгарию. Много месяцев тянулись по сухим безводным степям караваны верблюдов, навьюченные разобранными юртами. Из 33 тысяч семейств, ушедших с Волги в Зюнгарию пришло всего около 15 тысяч, остальные погибли в пути. Достигшие же пределов Китая очутились в еще более худшем положении, чем были в России. Тогда-то ими и было изречено: «Были у нас путы войлочные, мы променяли их на железные».

Но в Китай ушли не все калмыки. В Приволжье осталось около 13 тысяч семейств, кочевавших на правом берегу Волги и не успевших присоединиться к бежавшим в Зюнгарию из-за неожиданного вскрытия Волги в январе месяце.

Так, гонимые историческими обстоятельствами, калмыки оказались в двух разных частях света: одни — в далекой Азии, другие в Европе.

С этой поры их историческая судьба складывается по-разному: синьцзянские калмыки и поныне влачат жалкое существование, а приволжские их сородичи в братском союзе с народами СССР строят коммунистическое общество.

«Калмыки — народ кочевой, но далеко не первобытный; они пережили много с того момента, как исторические обстоятельства вывели их на арену истории. Они знали и условия жизни отдельными раздробленными племенами, они проходили стадию образования государства — племенного союза и делали попытки создания крепкого кочевого государства. Пришлось им в своих обширных кочевках видеть много земель, сталкиваться с разными народами: с китайцами, с киргизами, кавказскими горцами. Калмыки, так же как и другие монголы, в свое время подверглись влиянию буддийской, тибетско-индийской культуры, они сумели вместе с кочевым бытом соединить известные культурные приобретения, например, национальную письменность, начатки образованности», пишет академик Б. Я. Владимирцов.

Время появления первой письменности у калмыков пока не установлено. Известно только то, что предки одного из калмыцких племен торгоутов — кереиты — задолго до образования Чингизхановской империи (начало XIII века) имели свою письменность, основанную на уйгурском алфавите, и что она была заимствована у них Чингиз-ханом для своей державы.

В 1648 году калмыки приобретают уже свою собственную письменность, известную под названием «Тодо-бичиг» (ясное письмо) или, по имени изобретателя ее, — зая-пандитской. На калмыцкий язык были переведены замечательные произведения древней китайской и индийской поэзии. Нужно сказать, что несмотря на свое почти трехвековое существование, зая-пандитская письменность распространения в массах не получила. Она оставалась письменностью только класса феодалов и духовенства. В 1913 году среди калмыцкого населения было только 2,3 процента грамотных.

Понятно, что при таком низком проценте грамотности письменная литература не могла иметь большого распространения, тем более, что она состояла в основном из переводов буддийских канонов. Наиболее популярными произведениями в дореволюционной калмыцкой литературе были «Океан притч», нравоучительная поэма «Развлечение для слуха», «Сказание о дербен-ойротах» (дербен-ойроты — историческое самоназвание калмыков).

Поэтому творческий гений народа пошел по пути создания произведений устного народного творчества. Замечательные былины об Убшихун-тайджи, о Мазан-батыре, филигранное словесное мастерство калмыцких сказок приводило в восхищение несколько поколений ученых и путешественников. Но самым величайшим творением калмыцкого народа, его гордостью и славой является эпическая поэма «Джангар». Состоит она из двенадцати песен, вступления и заключительной шастры — хвалы герою поэмы Джангру. На первый взгляд эти песни вполне самостоятельны. Каждая из них посвящена воспеванию того или иного из двенадцати богатырей Джангра и имеет свою законченную и зачастую весьма сложную сюжетную канву.

Такое строение «Джангра», повидимому, было подсказано его создателем необходимостью устного исполнения поэмы. Ясно, что эпос в 13 тысяч строк невозможно прослушать в один вечер. Исполнение всей поэмы занимает несколько дней. Следовательно, нужно было найти такую форму, чтобы за вечер можно было исполнить какую-либо песню и чтобы у слушателей осталось цельное впечатление. Это достигалось еще тем, что исполнение каждой песни предварялось «Вступлением», в котором описывается детство Джангра, сложение его государства, его страна и намечается характеристика его главных богатырей.

«В Джангариаде мы имеем образчик, и очень притом яркий, героического эпоса, прошедшего все стадии циклизации», пишет академик Б. Владимирцов.

Таким образом, «Джангар» представляет собою цикл тесно связанных между собою эпических песен. Они связаны между собою прежде всего тем, что во всех песнях действуют Джангар и его богатыри. Они связаны между собою еще и тем, что каждая из них является естественным продолжением и развитием предыдущей песни, в них почти не встречаются противоречия, эти вечные спутники изустных произведений. Они связаны—и это самое главное — единой идеей, идеей гуманизма и любви к родине.

Популярность «Джангра» огромна. У нас в Калмыкии невозможно найти ни одного человека, который хотя бы не слышал «Джангар» целиком и не пользовался бы его афоризмами в обыденной жизни. Любовь народа к «Джангру» и популярность его может характеризовать факт существования целого вида искусства, носители которого именуются джангарчи (исполнители «Джангра»). «Джангар» известен и любим не только в Советской Калмыкии, его знают и любят в Синь-Цзяне, в Монгольской народной республике, в Танна-Туве, в Западном Тибете и т. д.

В чем причина такой огромной популярности этой поэмы?

Она заключается прежде всего в ее глубокой народности, в ее народном духе. «Джангариада» является выразительницей многовековых чаяний и надежд калмыцкого народа.

Калмыцкий народ в «Джангариаде» мечтал о стране Бумбы, стране вечной молодости и бессмертия, довольства и изобилия.

Где не ведают зим, где блаженно все,
Где живое бессмертно, нетленно все,
Где счастливого племени радостный мир,
Вечно юного времени сладостный пир...
Благоуханная, сильных людей страна...
Обетованная богатырей страна...

Калмыцкий народ в «Джангариаде» мечтал о жизни, в которой люди после двадцати пяти лет не старятся и живут, «ничего не деля на мое и твое».

Эта заветная мечта калмыцкого народа сбылась теперь в Союзе Советских Социалистических Республик.

Не случайно калмыки, когда хотят выразить свое восхищение каким-нибудь явлением советской действительности, говорят: «Это прямо-таки как в стране Джангра».

Эта народность эпоса является залогом того, что «Джангар» завоюет симпатии советских народов, народов, строящих страну вечной молодости, страну довольства и изобилия, народов, строящих жизнь, где люди ничего не будут делить «на мое и твое».

Популярность «Джангра» объясняется еще тем, что в нем воспеты чувства, которые близки нам, советским людям.

«Джангар» — гимн патриотизму, гимн беспредельной любви к родине.

Однажды Джангар решил покинуть свою страну, не поведав богатырям причины отъезда. Все богатыри, кроме Хонгора, обиделись на своего вождя и также оставили страну Бумбы. Родину не покидает только один Хонгор, который в эпосе изображается беззаветным патриотом и которого наделил народ своими лучшими чер-

тами: любовью к родине, душевной чистотой, храбростью, мудростью и силой. Хан шулмусов (дьяволов), свирепый Шара Гюргю, проведав, что в стране Бумбы остался только один Хонгор, нападает на него и покоряет Бумбу. Об этом узнают богатыри и Джангар. Задача защиты родины заставляет их забыть мелкие обиды, и они, вернувшись в страну Бумбы, освобождают ее и Хонгра из-под гнета шулмусов.

Вот еще один пример забвенья личной обиды во время опасности, грозящей всему народу.

Один из главных богатырей, Тяжелорукий Савар, обиделся на Джангра и уходит от него. После его ухода на Бумбу нападает могучий враг и захватывает в плен Джангра и его богатырей. Тяжелорукий Савар, узнав об этом, возвращается обратно и после ряда приключений освобождает Джангра с его богатырями и свою страну.

Смысл этих примеров в том, что сила в единении, что мелкие обиды ничего не стоят, когда речь идет о защите отчизны. Эта мораль особенно ярко выражена в клятве богатырей:

Жизни свои острию копья предадим,
Мысли свои державе родной посвятим,
Да отрешимся от зависти, от похвальбы,
От затаенных измен, от вражды, от алчбы...
Груди свои обнажим и вынем сердца,
И за народ отдадим нашу кровь до конца.
Верными Джангру, едиными будем во век,
И на земле будем жить как один человек...
Да никогда богатырь не кинется вспять,
Вражью завидев неисчислимую рать.
И да не будет коня, который б не мог
Вихрем взлетать на самый высокий отрог...
И да пребудем бойцами правдивыми мы,
И да пребудем всегда справедливыми мы...

Любопытно отметить, что и дети, которым, кстати сказать, в эпосе уделяется немало места, выводятся горячими патриотами. Так, в «Джангре» имеется глава, посвященная трем мальчикам, которые спасли родину. Сам Джангар говорит своему сыну:

Знай, мальчуган: от отца рождается сын,
Чтоб надежной опорой родине стать.

В этом патриотизме, в этой любви к родине причина популярности «Джангра».

И в этом залог того, что «Джангар» завоюет любовь народов Советского Союза, патриотов социалистической родины.

Причина популярности «Джангра» кроется, в-третьих, в гуманизме «Джангра».

В «Джангариаде» встречается немало ярких страниц, где описываются нашествия врагов. Каждое их вторжение в страну Бумбы сопровождается опустошением цветущей страны, осушением рек и морей, страшными разрушениями и кровопролитиями. Так поступают враги. А богатыри Джангра поступают иначе. Они никогда и ни на кого не нападают первыми. Если и нападают, то только для того, чтобы предотвратить вражеское нашествие на Бумбу, да и то борются только с ханами, «щадя подневольных бедняков». Победив врага, богатыри отпускают противников восвояси, взяв с них клятву, что они больше не будут нападать на страну Джангра, а то еще заключают такой своеобразный пакт о взаимопомощи:

Если на ханство могучий враг нападет,—
Помощь окажем друг другу, начнем поход.
Если же будет война со слабым врагом —
То в одиночку такого врага разобьем.

В этих чувствах — третья причина популярности «Джангра». В этом залог того, что «Джангар» завоюет любовь народов СССР, самых последовательных гуманистов в мире.

Причина популярности «Джангра» кроется, в-четвертых, в том, что в нем воспевается чувство дружбы.

Однажды Джангар, в пылу гнева, приказывает богатырям связать Хонгра. Поднимается Санал и отказывается выполнить несправедливый приказ. Он говорит:

Все, двенадцать, воины мы.
Из одинаковых скроены мы
За отчизну полученных ран.

Мы поклялись, говорится далее, друг другу бороться один за всех и все за одного. И как мы можем поднять руки на Хонгра, когда не видим на то причин?

Санал снаряжается в дальние земли. Друзья дарят ему свое самое дорогое оружие. По калмыцким обычаям это является символом самой величайшей дружбы.

И в этом залог того, что «Джангар» завоюет симпатии братских народов, спаянных великой сталинской дружбой.

Причина популярности «Джангра», наконец, заключается в его высокой художественности, в законченности и реалистичности образов.

И в этих несравненных поэтических достоинствах «Джангра», в его изумительной словесной ткани, богатстве вымысла и фантазии, музыкальности стиха — залог того, что он завоюет любовь народов нашей великой родины.

Нина Розенкноп

СОРОК ПЯТЬ ДНЕЙ

(На строительстве Ферганского канала)

Колхозники Узбекистана построили Большой Ферганский канал имени Сталина.

Мы прошли все 270 километров нового канала и видели, как он строился: побывали в Ташлаке, где люди работали по пояс в холодной грунтовой воде, в ветреном городе Багдаде, где один песок, на топких рисовых полях Кувы, где от сизой земли тянет тяжелым, удушливым запахом, в жаркой Уч-Курганской степи. Проложить канал через эти края — трудное дело. Но двести тысяч колхозников заявили о своем желании строить канал.

Сто шестьдесят тысяч человек вышли на стройку.

Каждый принес с собой свой кетмень и лопату, колхозы обеспечили строителей продуктами, прислали коней, машины, ковры, самовары, казаны.

Работы начались первого августа. Но задолго до первого августа вдоль трассы были поставлены походные палатки.

Узкие дороги были запружены вереницами арб. На них ехали колхозники в белых одеждах, ехали музыканты; они играли на дутарах и били в бубны. По бокам дороги лежали огромные арбузы и дыни.

Это был национальный праздник — люди шли добывать воду.

Старые инженеры говорили, что канал придется строить шесть лет. Но народ построил канал за сорок пять дней.

В истории вообще было мало таких работ, в которых участвовало бы сто шестьдесят тысяч человек. Строительства же, в котором участвовало бы сто шестьдесят тысяч добровольцев, не было никогда.

Узбекские колхозники работали днем и ночью, не жалея сил. Они освобождали свою землю от страшного врага — безводья.

Мы много слышали о значении воды в Средней Азии, но по-настоящему поняли это, попав в Грум-Сару.

Грум-Сара — это небольшое селение в горном Папском районе.

Несколько лет назад из Грум-Сары ушли пятьсот семейств. Они ушли потому, что здесь не было воды, хлопок не поднимался выше колен, бывали дни, когда нечего было пить.

Оставшиеся в Грум-Саре, с помощью соседних колхозов, построили девятикилометровый канал. И сразу ожила Грум-Сара. Поднялся хлопок, один за другим вернулись прежние жители.

Канал, построенный грум-сарцами, был началом борьбы всего народа за воду.

Вода была давней мечтой узбекского народа, но только теперь мечта стала действительностью.

И прежде всем нехватало воды, но тогда каждый видел перед собой только свое сухое поле и не видел поля соседа. Колхозы организовали людей, помогли им видеть шире и научили думать об общем деле. Теперь у каждого вместо крошечного клочка земли было огромное колхозное поле и вместо арыка к своему огороду люди задумали строить Большой канал.

Появились и средства для строительства. Колхозы стали зажиточными; они смогли обеспечить строительство всем необходимым.

Во главе этого необычайного народного движения стали коммунисты. Центральный комитет коммунистической партии Узбекистана подхватил народный почин и организовал строительство.

При распределении участков работы комсомольцы Узбекистана попросили, чтобы им дали самый трудный участок. Труднее всего был Уч-Курганский — место, откуда брал свое начало канал. Здесь надо было повернуть бурную реку Нарын в степь.

Сюда приехали четыре тысячи комсомольцев. На берегу Нарына появились серые брезентовые палатки. Так возник комсомольский лагерь. Его назвали «Комсомольском на Нарыне». Здесь, как в далеком таежном городе на Амуре, нужна была большая сила и выносливость, чтобы победить природу. Там корчевали вековые деревья, здесь была голая степь, — чтобы

разжечь костер собирали верблюжьи колючки. С утра и до сумерок стояла жара в 60—70°.

У комсомольцев оказалось достаточно сил. Они закончили свой участок раньше срока. Здесь родилось стахановское движение на канале.

НОСИЛКИ НУРАБАСОВА

Комсомольский лагерь — направо от Большой Медведицы. В безлунную ночь— это единственный ориентир. Низкое темное небо сливается с бескрайной равниной. Только у самого лагеря становится светлей — видны костры, подвешенные к палаткам фонари качаются от ветра.

Мы попали на ночное представление. Оно шло под открытым небом. Зрители сидели на земле, подложив под себя стеганые ватные халаты. За их спиной чернела глухая степь, лица были освещены неровным светом факела. Это был огромный ком тряпок, облитый горящим керосином. Он висел на проволоке, протянутой между двух кольев. Ветер рвал его желтое пламя, на землю стекали огненные капли. В середине круга плясали артисты. Факел заставлял метаться их тени; они, как бесноватые, прыгали по земле, передразнивая актеров.

Проволока гнулась. Казалось, она размякнет и факел упадет. Высокий человек в белой рубахе с засученными рукавами подливал в пламя керосин. Он вплотную подходил к огню, опрокидывал полную банку и ждал, когда стекут последние капли. Пламя вспыхивало сильней, оно охватывало банку и рвалось в его руке. Один раз ветер кинул пламя в лицо. Человек отошел в сторону и зачерпнул новую банку. Это был бригадир Нурабасов.

Когда окончилось представление, мы подошли к нему. Нурабасов разговаривал. Его собеседник, низкий, толстый человек, не доходил ему до плеча. Это был тоже бригадир, Хасанов.

— Мне нужно два фонаря, Нур. Дашь?— спрашивал он, положив короткую руку на плечо Нурабасова.

— Опять работать ночью?

— Кто станет работать в такую ночь? Работать ночью — значит спать днем. Я хочу замерить участки.

— Ладно, сейчас принесу.

Нурабасов принес из своей палатки фонари, он вытащил заплывшие огарки и вставил белые высокие свечи.

За поздним временем мы сговорились притти завтра. Мы хотели осмотреть лагерь, но костры потухли, в фонарях догорали свечи. Наткнувшись раз пятнадцать на столбы и арбы, налетев на дремавших лошадей, мы изменили маршрут и пошли домой. У мостика через арык мы встретили группу людей — впереди шел Хасанов, он держал в руке фонарь.

В полдень мы пришли к забою, где работала бригада Нурабасова. Это было одно из самых трудных мест на комсомольском участке. Надо было вырыть канал глубиной в двенадцать метров. Здесь залегали огромные пласты конгломерата, целые скалы из гальки. За тысячелетия мелкие камешки смешались, солнце спаяло их, обдул ветер, они стали сильней и тверже больших камней.

Кетмень отскакивает от конгломерата. Чтобы скала распалась, ее надо взорвать. Но о взрывах вспомнили позже, а пока рубили кирками и ломами. Со дна поднималась сухая каменная пыль, сверху жгло солнце. Потрескавшаяся кожа моталась шершавыми лоскутами.

От этого пекла было одно спасение—холодный чай. Рядом с каждым, спрятанные среди камней, стояли пузатые чайники.

Когда мы пришли, Нурабасов стоял на дамбе около красного знамени, вставленного в узкую расщелину.

— Этого быть не может, — сердито говорил Нурабасов прорабу. — Я сам вчера видел — у них половина того, что сделано у нас.

— А ты пойди посмотри еще раз, — отвечал прораб.

— Зачем я пойду? Мои глаза не изменились со вчерашнего вечера.

— Как хочешь, — лениво ответил прораб. — Короче — возьми знамя и отнеси Хасанову.

Нурабасов вспыхнул. Он сжал серые запыленные губы и положил руку на древко

— Я не понесу знамя. Оно наше, — медленно проговорил он.

— Не партизань, — сказал прораб. Он повернулся и медленно отошел.

Нурабасов пошел к участку Хасанова. Большие глыбы конгломерата, которые он видел вчера, исчезли. Они валялись на дне, разрубленные на куски.

На противоположном откосе сидел Хасанов и, раздувая щеки, пил чай.

Через час в присутствии всей бригады Нурабасов отдал знамя Хасанову.

— Мы вернем знамя, — сказал Бохан.

— Скоро?

— Завтра, — гордо ответил Нурабасов. Хасанов усмехнулся.

— Мы будем работать ночью! — крикнул Али.

— Успеем и днем, — ответил бригадир.

Но оказалось — дня мало. Утром Нурабасов встретил Али и Бохана. Они подни-

мались по тропинке. Было еще не жарко, солнце только вставало, они шли быстро.

— Ну, сегодня надо поднажать, — Нурабасов взглянул на их носилки. Тихонько дребезжа, на носилках перекатывалась кучка мелких камешков.

— Так, — Нурабасов мрачно посмотрел на них. — Столько поднимет и курица.

— Внизу они были полные, — сказал Али. — Здесь кругом подъем, все падает с носилок.

— Что ж, бросьте носилки. Таскайте пригоршнями. Толку будет столько же.

— Ты попробуй сам, посмотрим, что ты тогда скажешь

— Что я скажу?

Нурабасов опрокинул носилки и, взвалив на плечи, спустился вниз. Молча он нагрузил носилки. На подъеме камни начали ссыпаться. Нурабасов высоко поднял носилки, почти до плеч, его лицо стало красным от напряжения, и все же камни падали.

— Ну? — спросил Али. — Круто?

Нурабасов глядел на отвесные берега, изрезанные тропинками.

— Надо проложить отлогие дорожки.

Он задумался. Было жалко терять время. Он прошел вдоль трассы, везде откосы были крутые, везде ссыпалось.

— Надо придумать что-нибудь, — сказал Нурабасов.

Хасанов хлопнул его по плечу.

— Надо работать. Для носилок нужны крепкие руки — и все. Вот погляди на того парня, Алиева. Это — сила.

Алиев лихо насыпал землю на носилки, но и у него носилки наверху оказались пустыми.

— Нет, надо что-то придумать, — сказал Нурабасов.

— Надо больше работать! — крикнул вдогонку Хасанов.

Его бригада опять работала ночью. Нурабасов сидел в своей палатке и сквозь дырочку в брезентовом потолке глядел на звездное небо.

К нему подсел Али.

— Нурабасов, — сказал он, — Хасанов работает ночью, поэтому он обогнал нас. Разве мы слабее их? — он махнул рукой.

Нурабасов покачал головой.

— Надо таскать полные носилки, — сказал он. — Тогда не к чему работать ночью. Новые носилки бы... Ты же сам говорил, с этих все валится.

— Какие новые носилки? Я вот думаю про ящики. Что, если бы приделать к ним веревки и таскать на плечах?

Утром Нурабасов и Али, сидя на берегу Нарына, делали ящики. Налетая на каменный берег, Нарын отскакивал, брызгая серой водой. В жарком воздухе капли испарялись, не успев упасть.

К полудню четыре ящика с откидным дном были готовы. Они были большие, крепко сколоченные. Нурабасов и Али пошли обедать. Они встретили Хасанова. Он подошел к Нурабасову и, взяв его за руку, сказал:

— Ты грозился взять знамя. Что же вы не приходите за ним?

— Мы придем, — сказал Нурабасов, — и раньше, чем ты думаешь.

— Ты хотел зайти вчера. — Хасанов улыбнулся, и его широкий рот растянулся, как у лягушки.

Нурабасов выдернул свою руку.

— Ладно, ладно, завтра, — сказал он.

Он даже не разозлился на Хасанова, потому что ящики были уже готовы.

После обеда они попробовали ящики. Было очень удобно, ящики были объемистые, из них ничего не высыпалось. Стоило дернуть веревку, перекинутую через плечо, открывалось дно.

Но скоро оказалось, что ящики не годятся. Чтобы насыпать в них грунт, их надо было снимать, это было долго и неудобно. Приходилось садиться на корточки. Это было опасно; камни могли упасть на голову. Веревочные лямки отягощенные тяжелым грузом, врезались, оставляя на плечах глубокий красный след. Они ерзали по больному месту, разрезая его все глубже. Нурабасов стащил с плеч свой самый большой ящик и сел на него.

— Нет, это не то! — сказал он.

— Их надо выкинуть, — не оборачиваясь, буркнул Али.

— Жалко. Ведь тут каждый вытаскивает в два раза больше. Если бы их приладить...

— Хватит! — огрызнулся Али. — Довольно выдумок. Вчера потеряли целый день на эти проклятые ящики. Все смеются над нами, твои слова летят по ветру. Я сегодня работаю ночью. — Он со злостью разбил ящик.

На небе, раскачиваясь, как большой фонарь, висела луна.

Падали быстрые звезды, рассекая небо. По степи ходил легкий ветер.

— Все придут, — говорил Али, спускаясь в глухой забой, — только сегодня я один.

Он стал рубить конгломерат.

В полночь пришел Нурабасов.

— Не боишься? — спросил он, спрыгнув вниз. — Волки, говорят, ходят.

Али обиделся, но не ответил.

— Не злись, — сказал Нурабасов. — Снимай халат.

Али поднял голову.

— Халат?

— Снимай халат, говорю. Тебе ведь жарко.

Али разозлился.

— Ты пришел смеяться, Нурабасов, — уходи!

— Слушай, а если землю таскать в халатах? Давай попробуем.

Они сняли халаты.

Когда они утром возвращались в лагерь, Али сказал:

— Еще удобнее будут одеяла. Насыпал, взял за три конца и на плечо. Ничего не высыпается.

В это утро бригада вышла на канал без носилок, со свернутыми одеялами.

— Приятного сна! — крикнул им Хасанов и сказал своим: — Им мало ночи, теперь они решили спать днем.

Но вечером Хасанов отдал знамя. Бригада Нурабасова дала пятьсот процентов выработки. Из упрямства Хасанов несколько дней работал с носилками и намного отстал от Нурабасова. Закончив свой участок, Нурабасов пришел ему помогать.

ДВА КАМНЯ ШАРАПАТХОН

На комсомольском участке мы встретились с двумя комсомолками, первыми из женщин, пришедшими работать на строительство.

Их освистали. В этом сказались остатки векового пренебрежения к женщине. Но своим упорством, с помощью передовых комсомольцев, девушки завоевали уважение и заняли достойное место среди строителей.

Перец — вещь хорошая, но в этой шурпе его было слишком много. В шурпе плавали картошка, красные помидоры, лук, но мы чувствовали только острый, злой вкус перца. Во рту горело, словно туда попала зажженная спичка.

Повар представился нам жестоким человеком, беспощадным к себе и другим. Поэтому мы очень удивились, когда вместо свирепого мужчины увидели юную девушку, почти пионерку. Она сидела на корточках и глядела, как в котле бурлит яркожелтая жирная шурпа.

Мы поблагодарили девушку за угощение. Наш переводчик, озорной мальчишка, от себя решил добавить рассказ о том, как мы ели шурпу. Об этом мы догадались по его мимике. Он дул себе на пальцы, качал головой, высовывал язык и, словно задыхаясь, часто дышал.

Мы думали, девушка рассердится. Но характер оказался у нее кроткий. Она растерялась и виновато сказала, что не привыкла готовить, когда так много людей. Дома одна семья, пять человек, а здесь столько народа.

— Зачем же ты взялась за это дело? Разве не нашлось бы другой работы?

За нее ответил мальчик:

— Э, с ней была целая история. Расскажи, Салха.

Салха покачала головой. Она сидела на корточках, опустив плечи. Она ничего не рассказала, но мы все же узнали ее историю.

Здешний участок называется Особым, потому что тут — труднее всего. Здесь только степь. Она поросла цепкими пыльными колючками. Их собирают в вязанки и топят печи. Это единственное топливо. Здесь нет ни деревьев, ни кустов: никакие растения не могут вынести здешнего солнца. Оно выжгло все яркое, и в степи остались только пыль да сушь. Пыль лежит тяжелыми пластами. В полдень по ней не ступишь — так она раскалена. Машины хрипят и задыхаются, увязая в пыли, а в радиаторах закипает вода. Когда поднимаются сильные ветры, пыль идет по степи, словно туман, плотной, без просвета стеной.

Все покрыто пылью. Даже река Нарын не меняет пейзажа. Это не прозрачная синева степных русских рек. Воды Нарына мутные, серые: они несут эту пыль с собой.

Сквозь эту жаркую и необжитую степь идет канал. И оттого, что здесь пекло и геологи предупредили — будет очень тяжело, сюда поехали комсомольцы.

Девушек приехало мало, всего несколько человек.

В первое утро по приезде Салха вышла на трассу. Солнце еще не показалось, на степи лежала прохладная синева. На канале уже работали. Стучали кетмени, ударяясь о сухой, твердый камень, по откосам поднимались люди с гружеными носилками.

Салха и Хаким взяли груженые носилки. Они поднимались по тропинке, как вдруг откуда-то снизу издали послышался пронзительный крик: «а-а-ю-ю!» Крикнул один. Затем «а-ю!» разнеслось по всей трассе.

Голоса были визгливые, неестественные. Девушку освистывали. Кончал один — начинал другой.

Все глядели на Салху. Женщина вышла на канал! Ей кричали «аю». Только там, где стояла бригада Салхи, никто не кричал. Салха обернулась, но Хаким рванул носилки, и она пошла за ним. Они еще не дошли до половины дорожки, как снова поднялся крик. Люди, которые шли сверху, навстречу, глядели насмешливо и тоже кричали.

Салха растерянно бросила носилки, и

камни полетели вниз, стукаясь друг о друга. Прямо перед собой она увидела широко раскрытый рот человека, выпученные глаза, толстые, словно веревки, напрягшиеся жилы на шее. Салха нагнулась, схватила камень и швырнула его. Камень пролетел высоко над головой человека с толстыми жилами. Человек медленно закрыл рот. Вдруг стало тихо. В тишине стало слышно, как катится галька из-под его ног. Он шел тяжелыми, тупыми шагами. Но, словно опомнившись, запрокинул голову и изо всех сил, как петух поутру, визгливо закричал:

— А-ю-ю!..

Никто не ответил ему. Люди стояли молча, сжимая в руках кетмени.

А он подходил к Салхе. Когда между ними остался всего один шаг, Салха шарахнулась в сторону и побежала прочь. Она бежала, спотыкаясь, мелкой, жалкой рысцой. Словно стыдясь своего открытого лица, она прижала к нему руки.

В кибитке никого не было, и это обрадовало Салху. Она сидела на ковре и думала, что теперь делать. К ней подошла повариха и попросила почистить лук. Салха согласилась. Она села в тень и, разложив тряпку, стала чистить лук.

До кибитки колхоза имени Чапаева надо итти через весь лагерь. Ночью это дело нелегкое. Кибитки стоят тесно, потеряв в темноте свои очертания. Луны нет, и только по кострам можно найти путь. Но костры уже тухнут, разлетаются последние искры. Люди бьют о землю дымящиеся головни. Степная ночь тёмна.

Только в одной кибитке виден свет. Она стоит на высоком берегу Нарына. Сюда доносится его рев. Полотнища палатки вздрагивали. Качался фонарь, повешенный у входа, по лицам людей ползли желтые тени.

Шло комсомольское собрание. Обсуждался вопрос — об отношении к девушке.

На собрании присутствовала только одна девушка. Она сидела в темном углу и молчала.

— Мы не кричали «аю», — сказал рыжий Маллей, — кричали из других колхозов. Мы ничего не могли поделать с ними. Они видят, что, кроме Шарапатхон, нет ни одной женщины, и кричат.

— Так что ты предлагаешь? — спросил секретарь.

Маллей — хороший, прямой парень, но сейчас он замялся и искоса поглядел на Шарапатхон.

Наконец, он решился:

— Надо сделать так: пусть на трассе будут еще женщины или ни одной — пусть Шарапатхон тоже уйдет.

Маллей сказал то, что думали другие, и все вздохнули с облегчением. Все ждали, что скажет Шарапатхон. Но она молчала. Тогда заговорил бригадир. Он стоял у фонаря, заслонив вход широким телом. Он слегка раскачивался, и в такт его движениям за спиной раскачивался фонарь.

— Маллей неправ, — говорил бригадир. — Какая разница — много здесь женщин или одна? Все равно плохо, что ей кричат «аю». Но каждый должен знать свое дело. Дом охраняет собака, а мышей ловит кошка. Шарапатхон хорошо варит шурпу, ну и пусть варит. Но она не захотела сидеть в кибитке и готовить обед. Мы дали ей носилки. Вчера она сделала меньше всех. Эта работа для нее не годится, это дело мужчины. Она носит по два камня. Если она не хочет варить — пусть стирает. У нас грязные рубашки и их некому постирать.

— Стирай сам! — крикнула Шарапатхон.

— Правильно! — вскочил с пола маленький кетменщик Юлдашев. — Шарапатхон легче таскать носилки, чем тебе свою голову, Сатар, — она слишком тяжела. Кто сказал, что только мужчины должны строить канал?

— Но здесь нужны сильные руки, запомни это, — хмуро сказал бригадир.

Шарапатхон встала, подошла к бригадиру. И все увидели, что их плечи вровень.

— Мои руки сделаны из костей и мяса, как и твои, — сказала она. — И хотя бы вы все сказали, что я должна уйти, — я не уйду, и хотя бы мне кричали «аю» с утра до ночи — я не уйду.

Днем, когда люди говорят громко, Нарын еле слышен. Ночью он берет верх, ревет изо всех сил и глушит слова.

Шарапатхон, лежа, прислушивалась к разговору за пологом. До нее долетали только некоторые слова:

— Вставай... Отоспишься...

Бригада решила работать ночью. Шарапатхон слышала шорох. Люди встали, негромко разговаривая, взяли кетмени.

Шарапатхон ждала — позовут ее или нет. Но о ней даже не вспомнили. Один за другим они вышли, и Шарапатхон слышала, как заскрипел песок под ногами.

Она вышла следом. По темной дорожке вниз спускались люди с кетменями и поднятыми вверх носилками.

Самым последним шел Маллей.

— Шарапатхон, куда ты? — удивленно спросил он, заслышав ее шаги.

— Туда же, куда и ты, — ответила Шарапатхон,

Вся бригада остановилась. Все молча глядели на темную, высокую на пригорке, фигуру Шарапатхон.

Потом бригадир сказал:

— Брось, Шарапатхон. Иди спать. Работы мало, мы управимся и одни.

— Нет, — ответила Шарапатхон, — я тоже иду.

— Но ты посмотри, какая темень. Луны нет, и мы не взяли факелов.

— Ничего.

— Как хочешь, — бригадир круто повернулся. Все шли молча, Шарапатхон сзади всех.

Шарапатхон неожиданно почувствовала под ногами холодную воду — попала в арык. В другое время можно было бы остановиться и вытрясти тапочки, но сейчас этого делать не стоило. Хорошо еще, что арык мелкий и никто не слышал всплеска. Мог слышать Маллей, но он даже не обернулся. Но когда с большой дороги свернули на узкую тропинку, Маллей через плечо сказал ей:

— Иди по моим следам. Осторожно, здесь яма.

Днем на канале все видно — высокие берега, изрезанные дорожками, развороченную землю, ступеньками взрытое дно и далеко, до самого горизонта, прямой путь канала.

А сейчас каждый шаг — загадка. Когда глаза привыкают к темноте, видны черные ямы на дне канала. Кажется, ступишь в такую яму — и полетишь в бездонный колодец. Но дно «колодца» близко, падать некуда, — это просто ямка в вершок глубиной. В отдалении светится что-то белое. Похоже, белая собака на брюхе ползет по земле. Это — камень.

Кетменщики встали далеко друг от друга. Близко стоять опасно, можно ударить кетменем соседа.

Шарапатхон и Юлдашев таскали носилки. Ночью тропинки круче, снизу не видно их конца, и от этого они кажутся длинней. Идешь по темной тропинке, как слепой, ощупывая ногами землю.

Первой шла Шарапатхон. Первому труднее. Юлдашев сначала не соглашался.

— Ребята засмеют, — сказал он, — выбрал работу полегче, иди ты второй.

Будь Юлдашев крепче, выше — он не боялся бы этого. Но он похож на мальчишку из пятого класса. У него слишком большая голова и щуплое, узкое тело. Шарапатхон — даром, что они однолетки, — и выше его, и в плечах шире. Но, подумав, Юлдашев согласился, чтобы она шла первая.

Он сказал ей:

— Иди первая. Устанешь — скажи мне. Сменимся.

Шарапатхон сжала тонкие губы.

— Усталость — это твоя гостья, она придет к тебе раньше.

Всю ночь Шарапатхон шла первой. Она потеряла счет подъемам и спускам. Она поднималась уверенной, ровной походкой, и в темноте ее платье плыло, как облако. Но ей казалось, что она отстает от других. И она сказала кетменщику:

— Мы можем подняться пять раз, пока ты нагрузишь одни носилки.

Маллей, он насыпал их носилки, ответил:

— Верно, вы рекорд ставите. Я не отстану от вас.

Он ударил кетменем так, что из камня полетели искры. Где-то он раздобыл вторые носилки. Теперь, когда Юлдашев и Шарапатхон возвращались обратно, им не приходилось ждать. Около Маллея стояли вторые, уже груженые носилки. Теперь они поднимались очень быстро, и Шарапатхон почувствовала тяжесть, стало очень жарко.

Бригадир негромко сказал Маллею:

— Не клади так много, запарятся.

— Я не хочу носить по два камня, — ответила Шарапатхон.

Они ушли домой, когда небо стало светлым.

Мы познакомились с Шарапатхон на берегу Нарына.

В обеденный перерыв она стирала грязные рубахи, те самые, от стирки которых так гордо отказалась она недавно на собрании.

— В забой выйти не в чем, — сказала Шарапатхон: — все рубахи у ребят грязные. Вот я и решила постирать.

НАЧАЛЬНИК ГОРНОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Вода ворвалась в новое русло. Вперед, как разведчик, ринулась одна струя. Но ее обогнали другие, они налетели друг на друга и, мешаясь, бились о берег.

По всему дну разлилась мутная нарынская вода. Она захватила первые десять метров канала. На одиннадцатом работал Абид Набиев. Он стоял на краю отвесного обрыва и глядел, как вода смывала отпечатки босых ног и захлестывала сухое дно.

По краям дамб были воткнуты яркие, еще не выгоревшие флажки, лежали огромные арбузы и дыни. Праздновали окончание строительства канала.

С каждой минутой вода становилась выше и спокойней. Уплывали щепки, сломанные черенки лопат и кетменей, обгоняя их,

плыла одинокая, забытая кем-то в забое, тюбетейка.

Абид только теперь почувствовал, что работа на канале окончена.

Он схватил огромный, больше головы, арбуз, бросил его в воду.

— Плыви! — крикнул он.

Арбуз, тяжело плюхнулся в воду и, словно взорвавшись, выбросил фонтан брызг. Тогда все стали кидать с берега арбузы и дыни. Они крутились в воде и бились друг о друга, а неровная волна, покачивая их, несла вперед — в Каннибадам.

Солнце шло к закату, пыль потемнела, на далекие горы поднимался туман. Строители собирали вещи.

— А ты не доберешься домой до ночи,— сказал Абиду молодой парень, — обожди до утра.

Абид усмехнулся.

— А ты знаешь моего коня? — Он погладил чолку лошади. — К вечеру буду дома.

Серый невысокий конь потряхивал лохматой, нерасчесанной гривой.

— Ну, скачи, — сказал Нуралиев, пожимая руку Абида. — Не забывай нас.

Абид тронул повод, конь вздрогнул, приседая на задние ноги.

— Увидимся еще, — сказал Абид. — Может, приедете к нам в горы: там тоже нужен канал.

Он перекинул курджум и вскочил в седло. Конь вздыбился, заслоняя солнце. Абид ударил его каблуками, и конь помчался через степь в горы.

Когда пыль, поднятая им, улеглась, всадник был уже далеко.

— Хорошо скачет, — сказал Нуралиев,— да вряд ли доберется до ночи. Далеко ему...

— Этот не пропадет, — сказал прораб. — Крепкий парень, только фантазер. От этого канала к ним вода не пойдет, так он хочет у себя построить канал, а не понимает того, что вода — не ишак, ее не затащишь в горы.

— А зачем он сюда приезжал? — поинтересовались мы.

— Это его спросить надо. Только поздно уже, — ответил прораб, — он теперь к Намангану, верно, махнул.

Вечером вместе с кетменщиками мы уезжали домой. Грузовик встряхивал нас на каждом повороте, чемоданы стукались и подпрыгивали. Дорога была темная, ее освещали фары автомобиля.

Большие летучие мыши слетались на их свет и бесшумно, как тени, проносились над нами.

Разговор шел об Абиде.

— На вид он щуплый, а мы двое не могли за ним угнаться в работе, — говорил один. — И откуда у него такая сила?

Нам довелось побывать в Янги-Хаяте, и мы еще раз встретились с Абидом.

В кишлаке мы узнали о нем неожиданные подробности. Абид оказался колхозным счетоводом. Целыми днями он сидел в узкой конторке за своим маленьким некрашеным столиком и щелкал на счетах. Всем казалось, что на другую работу он и не способен.

— Тихий он, — говорили колхозники, — и раньше, до канала, был такой. А теперь совсем замолчал. Вечерами стал ходить в горы. Золото ищет, что ли?

— Тихий? А откуда у него шрам над левым глазом? — спросили мы.

Нам рассказали.

Как-то утром Абид вышел на поле. После бурной и многоводной весны наступило сухое лето. Четверть посевов осталась без полива. Хлопок на неполитых полях был низкий и сухой. Его сморщенные, дряблые листья уныло болтались по ветру. Земля потрескалась, все арыки были сухие, только в одном слабо журчала вода.

Посредине арыка Абид увидел большой серый камень. Вода, ударяясь о него, сворачивала в сторону от колхозного поля. Она шла на землю единоличника Кушназарова.

Абид посмотрел вокруг и под карагачом увидел Кушназаровых — отца и сына. Перед ними на платке лежали виноград и разорванная на куски лепешка. Кушназаровы, усмехаясь, смотрели на Абида.

— Цыпленок, — обратился к нему сын, — садись с нами. В колхозе винограда не будет в этом году, — воды нет.

Абид подошел к ним, молча взял кетмень и направился к арыку. Кушназаров нагнал его.

— Вода знает, куда ей течь, — сказал он, — не трогай ее.

Абид занес кетмень и, засадив его под камень, сильным рывком распрудил арык.

— Нас двое, — зло проговорил Кушназаров, нагибаясь к камню.

Но, прежде чем он успел схватить камень, Абид ударил его. Кушназаров, закрыв лицо, сел на землю. Меж пальцев из рассеченной губы сочилась кровь.

В это время сын схватил булыжник и, не подходя, метнул его в Абида. Он попал в лоб и рассек левую бровь. Но Абид остался караулить арык. Кашназаровы исчезли.

Этот случай удивил колхозников. Откуда вдруг такая прыть у Абида? Может быть,

это месть? Но его жизнь была известна всем, никаких ссор с Кушназаровыми у него прежде не было.

Но, видно, на роду Абида было написано совершать поступки, не похожие на него.

На другой год весной случился силь. Он начался в полдень. На вершинах таяли снега, и, когда ударил ливень, с гор помчались бурные потоки.

Они слились в один огромный вал. Не разбирая дороги, вал ринулся вниз, на кишлак, грозя затопить его, смыть все посевы. С грохотом, обгоняя воду, летели камни; они сворачивали кусты и скрежетали, налетая друг на друга.

Коричневые струи тупо тыкались в дувалы, а за ними перекатывались крутые пенистые гребни. Ветер срывал с них клочья пены и хлопьями бросал вперед. Из разорванных туч хлестал дождь. Мокрые люди в панике бежали с поля. Босой мальчишка, размазывая грязь на лице, пронзительно кричал:

— Силь! Силь!

Абид выскочил на улицу. На него бежала толпа.

— Куда? — крикнул он.

— Силь! — взвизгнула женщина с мокрыми растрепанными волосами.

Абид схватил ее и прямо в лицо крикнул:

— От воды бежишь?

Обезумевшим взглядом женщина уставилась на него.

— А вы куда? — крикнул он толпе. — За юбкой? Радихатов, давай кетмень, ломай дувал. Мы вдвоем остановим воду. А вы, вы идите спать!

Толпа смешалась.

— Что ж стали? Тащите камни да досок больше!

Из досок и камней соорудили вал. За ним легли люди. Они своим телом подпирали выросшую стену.

Налетевший поток воды едва не разнес ее, но подбежали новые люди, бреши закрыли тяжелыми валунами, и брызги только перелетали через вал.

И вода отступила, — она успела смыть только пять гектаров хлопка.

С канала Абид приехал поздно вечером. Утром он вышел во двор. После сухой, выжженной степи здесь было очень хорошо. Над двором, закрывая тонкие жерди, висели кисти прохладного винограда. Длинный стебель тыквы, извиваясь, полз по забору. Наверху его распустился яркий желтый колокольчик. Дозревала айва. Большие плоды, окутанные шершавой пленкой, еще крепко держались за ветки.

Абид вышел на дорогу. Справа высоко поднимались коричневые горы. По тропинке, обвивавшей дорогу, он пошел вверх. Ему было тоскливо. После шумного Комсомольска не хотелось итти в узкую конторку. Незаметно он добрел до ущелья, откуда весной мчался бурный поток. Сейчас на дне валялись разбросанные валуны. Сильная вода, пригнавшая их, давно умчалась. Сейчас бы эту воду — тогда хлопок на полях сразу поднялся бы. Он опять вспомнил о канале.

Но Абид не был фантазером. Он понимал, что все реки ниже полей Янги-Хаята и от них нельзя провести канал.

Наша последняя встреча с Абидом произошла этой осенью в правлении колхоза. Нам показали план большого водохранилища, которое будет построено высоко над кишлаком, в долине между двух гор. Это водохранилище будет хранить всю зимнюю и весеннюю воду до лета, а летом по бетонному каналу она пойдет на поля. Ее хватит не только на засеянные поля, но и на целину, на огромные пространства пустующей земли.

— Это все он, — кивнули нам на конторку Абида Набиева. — И строить он будет. Начальником назначен.

За дверью щелкали счеты и шуршали листы бумаги.

Мы вошли к Абиду. Он поднялся навстречу.

— Председатель в районе, — сказал он.

— А нам нужен начальник строительства Горного водохранилища, — ответили ему мы.

Ю. Смирнов

РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не могу без улыбки вспомнить мучительные сомнения, овладевшие мною два года назад, когда мне предложили руководить Калмыцкой национальной студией Театрального института им. Луначарского. Тогда эти сомнения имели, казалось, серьезное основание. Ведь я не знала языка, нравов и обычаев калмыцкой молодежи. Мне казалось, что я не смогу подружиться со студийцами, не найду пути к их сердцу, а без этого нечего и говорить о плодотворной работе.

Жизнь рассеяла все мои сомнения.

Быть может это прозвучит слишком по-женски, но иногда мне начинает казаться, что в моей небольшой семье, в моем доме вдруг появились дети — двадцать один ребенок — и каждый из них одинаково дорог сердцу матери. Такое ощущение близости может вознаградить за самые тяжелые труды, а наши труды не так уж тяжелы, но зато интересны и плодотворны.

Задача нашей студии не только познакомить калмыцкую молодежь с основами общей и театральной культуры, не только привить им жажду знаний и дать систему, но и создать из них дружный актерский ансамбль, который должен образовать со временем основное ядро второго государственного калмыцкого театра.

Студия разбита на две группы. Каждая из них имеет своего режиссера-педагога, который ведет постановку пьесы и уроки мастерства. Наряду с общими для всех актерских отделений института предметами, учащиеся Калмыцкой студии работают над постановкой пьесы Максима Горького «Последние» (руководит постановкой артистка Театра имени Ленсовета Р. Л. Далина) и комедии Тирсо де Молина «Благочестивая Марта» (руководит постановкой артист Театра имени Вахтангова Н. В. Пажитнов). Работа над этими пьесами в 1941 г. будет закончена, и оба спектакля будут показаны в столице Калмыкии — Элисте.

Если вспомнить, что большинство студийцев имеет образование в объеме сельской школы и лишь в 1936 году начало изучать русский язык, станет понятно, как трудно пришлось им на учебе, в Гитисе. До студии они не только не читали классиков литературы и театра, но даже не видели настоящих театральных постановок. Крайней наивностью в суждениях и оценках, полной растерянностью перед всей обрушившейся на их молодые головы «бездной премудрости» отмечены первые их шаги. Но в этих трудных условиях проявились с иключительной силой упорство и настойчивость наших воспитанников. Занимались они так прилежно и так быстро схватывали самое существо предмета, что многие студенты, с детства окруженные театрами, музеями, библиотеками, могли бы поучиться у этих питомцев степей.

Естественно, что люди с разным темпераментом и способностями по-разному успевали в учебе. Несколько человек отсеялось. В студии сейчас двадцать один человек. И все они дошли до четвертого курса.

Обратимся к цифрам. Из двадцати одного студента восемнадцать имеют отличные

отметки по всем предметам. Четыре студента выдвинуты кандидатами на сталинскую стипендию и двое — на стипендию имени Станиславского.

Собранные из разных улусов Калмыкии, наши студенты быстро сдружились. Сдружившись, и по влечению, и в силу обстоятельств, калмыцкая молодежь составила прекрасный коллектив, в котором каждый помогает друг другу и все вместе идут к намеченной цели.

Бывают у нас и срывы. И их немало, но они постепенно изживаются. Недавно много разговоров вызвал некрасивый поступок одного студента. Вопрос об этом студенте ставился очень остро, и, судя по его письму преподавателям, полному самого глубокого и искреннего раскаяния, такие поступки больше не повторятся.

Может возникнуть вопрос: почему я не называю ни одной фамилии студентов. Не может быть, чтобы все они обладали равными способностями и были в одинаковой степени готовы к работе на театре.

Вопрос этот вполне законен, но можно ответить на него только так: при различных их индивидуальностях, при самых различных темпераментах и устремлениях все они, в той или иной мере, обладают подлинными способностями, и работа с ними дает педагогу истинное наслаждение. Это не значит, конечно, что каждый этюд, каждую новую роль они схватывают на лету. Есть у нас студенты, с которыми приходится очень много работать, прежде чем они вживутся в роль, дойдут до внутреннего смысла, до психологии образа. Но раз поняв замысел автора и режиссера, они иногда поражают тем искренним пафосом исполнения, той кристальной чистотой чувств, без которых немыслимо настоящее искусство. Работая над ролями в пьесах русских или западных драматургов, наши студенты должны постигать незнакомые, часто несвойственные калмыцкому народу и калмыцкой культуре общественные и исторические нравы и обычаи действующих лиц. И надо признать, что с этой работой они справляются отлично, и сами требуют многократного повторения кусков роли, задач каждого эпизода, пока он не зазвучит по-настоящему.

Все студенты, начиная с играющих основные роли в «Благочестивой Марте» и в «Последних» и кончая студентами, занятыми в так называемых «вторых» ролях, одушевлены одним высоким чувством, одним желанием — стать настоящими советскими актерами. Режиссеры-педагоги обеих групп несомненно подтвердят это мнение.

Это строгое, чистое отношение к искусству характерно для всех без исключения студийцев. Меня потряс случай с одним студентом. Ему казалось, что у него не шла роль. Он пришел ко мне и, закрывая лицо руками, сквозь слезы, просил взять у него эту роль. Ему было тяжело, но он не считал себя вправе сыграть кое-как. Роль, конечно, осталась за ним; и он хорошо с нею справляется.

Наша работа со студентами Калмыцкой студии Гитиса чрезвычайно обогатила и наши знания и наш опыт. Так, для того чтобы найти общий язык со студентами, нам пришлось изучать историю, быт и нравы Калмыкии.

И надо сказать, что в результате этого изучения нам стали понятны своеобразная внутренняя культура и огромная жажда знаний в наших воспитанниках. Задавленная веками культура калмыцкого народа, который много сот лет назад имел свои печатные книги, культура, отразившаяся в бессмертном произведении народного эпоса «Джангре», теперь возрождается, и молодежь стремится как можно скорее овладеть ею.

Это стремление к культуре, трудолюбие и упорство, любовь к избранной профессии, одаренность всех студентов студии, их быстрые успехи делают работу нашу, работу их преподавателей и друзей, чрезвычайно приятной и радостной.

Заслуженная артистка Республики Лидия Дейкун

1

Все тридцать человек ходили по Москве стайкой.

Утром, держась тесной толпой, собирались они на трамвайной остановке и старались пробиться все в один вагон, не обращая внимания на протесты пассажиров.

Сначала был освоен короткий путь от общежития до трамвая и от трамвая до института. Но и на этом пути их подстерегали большие неприятности.

— Вы понимаете, никто, буквально никто из москвичей не умел говорить по-калмыцки, — посмеиваясь, говорит Эренжен Бактаев. — Сейчас нам смешно, а четыре года назад происходили просто трагические случаи. На третий день жизни в Москве поехали мы в институт. Так все тридцать и поехали. Все шло хорошо, но несколько наших ребят, и я в том числе, сошли не на той остановке. Трамвай ушел, а мы растерялись и стоим, как в лесу. На какой трамвай сесть? Один товарищ говорит: «Я вчера записал номер трамвая, наверное, нам на нем ехать надо». Два часа ждали его — не идет! Если бы не милиционер, так до ночи бы простояли. Он спрашивает, чего мы ждем. Мы кое-как объясняем. А какой номер? Слово «номер» мы понимали. Суем ему бумажку с номером, а он смеется. Оказывается, наш товарищ записал четырехзначный номер трамвайного вагона.

— А со мной получилось еще смешней. Я взял билет и стою около кондуктора. Замечаю, что пассажиры все время подходят и берут билеты. Мне показалось, будто они платят за каждую остановку. Ну и я начал платить. Пока доехали до института — двадцать билетов взял... — И рассказчик заразительно смеется.

2

Сейчас перерыв между репетициями.

В толпе, окружающей рассказчиков, поминутно вспыхивает смех. Студенты вспоминают десятки забавных эпизодов. Стеснявшиеся в начале беседы девушки тоже вступают в разговор. От одной из студенток мы и услышали историю первого посещения ими оперного театра, когда наши тридцать друзей выбежали из зала, чтобы переждать пение, не вызывавшее у них никакого сочувствия. Они все ждали, когда же начнется настоящее представление. Калмыцкая музыка, на которой были воспитаны студийцы, имеет мало общего с ариями Джильды или Травиаты.

Уже сам факт, что они так просто рассказывают о своих злоключениях и так беззаботно смеются над былой своей неловкостью, показывает, какие огромные перемены произошли с этой группой молодежи, перенесенной из отдаленных степных улусов Калмыкии в центр советской культуры, окунувшихся в водоворот столичной жизни. Об этой перемене говорит и аккуратная одежда с белоснежными воротничками, изящно вывязанными галстуками и модными платьями девушек. Сейчас наших студийцев не только не отличишь от коренных москвичей, но они даже выделяются среди московской молодежи своей аккуратностью и подтянутостью.

Мировая литература наполнена правдивыми историями о гибели молодых людей, мечтавших завоевать высоты науки, мечтавших о славе, о карьере в столице. Нам понятно, что в нашей столице человек погибнуть не может, что здесь каждый «провинциал» будет так же окружен друзьями, как и у себя дома. Это и не удивительно. Интересно отметить лишь одну небольшую, но чрезвычайно характерную особенность: если талантливая молодежь Запада стремится всеми силами вырваться из душной провинции в культурные города, где можно стяжать славу и устроить карьеру, то наша молодежь прибывает в Москву лишь для того, чтобы постигнуть тайны мастерства и удовлетворить свою жажду к культуре. Молодые калмыки с нетерпением ждут окончания учебы, чтобы вернуться домой и посвятить себя служению своему народу.

3

Сценическая судьба великих русских актеров — Щепкина, Мочалова, Ермоловой и многих других — имеет одну общую для всех черту. Черта эта — счастливая случайность, способствовавшая их первому самостоятельному дебюту. Страдающий запоем «первый трагик» или «герой-любовник», заболевшая перед спектаклем «героиня» вынуждали антрепренера под угрозой сорвать спектакль выпустить на сцену молодого суфлера, мальчика при занавесе или дочку театрального плотника, отважно заявлявших, что они с такой ролью справятся. Так делался первый шаг. А сколько настоящих талантов погибло в безвестности, так и не вытянув заветный счастливый билет в жестокой лотерее жизни!

У нас эта игра случайностей невозможна. Настоящий талант выступает на сцену, поддержанный всей страной, всем народом. Сам театр занят поисками одаренных людей и воспитанием их.

Те, кто не задумывался над высоким значением этого факта, пусть проследят судьбу талантливой группы калмыцкой молодежи.

Кто они, эти молодые люди, боявшиеся так недавно трамвая и рассуждающие теперь с полным знанием дела о классической драматургии, мечтающие о ролях в драмах Шекспира? Каков их жизненный путь?

Ответить на второй вопрос легко и в то же время очень трудно. Самый термин «жизненный путь» предполагает нечто протяженное во времени и богатое значительными событиями. Самому старшему студенту Калмыцкой театральной студии сейчас двадцать шесть лет. Жизненный путь их фактически только начинается, — это будет трудный путь непрерывных поисков совершенства, быть может, неудач и наверняка больших творческих радостей. А пока, пожалуй, самым значительным событием в их жизни явился приезд в Москву и поступление в Гитис. Но за четыре года учебы цель их жизни определилась твердо и навсегда — они будут актерами.

Что толкнуло их на сцену?

С детства участвовали они в деревенских праздниках, перенимая от взрослых благородное искусство джангарчи, запоминая наизусть многие тысячи строк великого народного эпоса. Они видели национальные пляски, исполняемые лучшими танцорами и танцовщицами родного хотона. Плавная, ритмичная пляска с широким степным напевом захватывала их целиком.

В сельских школах, в пионерских отрядах расцветали кружки самодеятельности. Здесь будущие студийцы прошли первую ступень овладения мастерством. И когда в 1936 году правительство решило организовать в Москве театральную студию, со всех концов республики потекли заявления о приеме.

В Москву большинство студийцев прибыло со скамьи сельской школы, а некоторые уже успели несколько лет поработать в колхозах и на предприятиях страны.

Биографии их не содержат ничего выдающегося. Басан Намруев был беспризорником и воспитывался в детском доме, Эренджен был пастухом. Жизнь остальных студентов похожа на жизнь миллионов их сверстников.

Из двадцати одного учащегося Калмыцкой студии восемнадцать имеют отличные отметки по всем предметам. Четыре человека — Горя Манджиев, Манти Убушиева, Эняев и Бактаев — кандидаты на сталинскую стипендию. Харадаев и Норкаев — кандидаты на стипендию имени Станиславского.

О чем мечтают студенты?

— В дальнейшем я хочу играть роли Фердинанда в «Коварстве и любви» и Ромео, — говорит Эняев.

— Я люблю Шекспира. Мне очень хочется создать образ Отелло. Я думаю, что мечта моя исполнится, и в скором времени я его сыграю, — вторит Басан Намруев.

Эрдни Манджиев дополняет список ролей героями пьес Горького и Островского и говорит, что над некоторыми образами он уже начал работать сам.

Если раньше никто из них не умел бегло читать по-русски, то теперь все пьесы, о которых они говорят (а они до сих пор не переведены на калмыцкий язык), студенты изучили по русским книгам.

4

В большой светлой комнате репетируется второе действие драмы Горького «Последние». В стороне за сдвинутыми столами сидит несколько человек, не участвующих в репетируемой сцене. Среди них руководительница группы Рита Львовна Далина. Репетиция идет на калмыцком языке. Держа перед собой русский текст пьесы, Рита Львовна следит за игрой артистов. Кажется странным, что она, не зная калмыцкого языка, делает замечания актерам, поправляет их, задает наводящие вопросы. Но это вполне объяснимо: в самом начале работы текст изучался на русском языке.

Снова и снова репетируется последняя сцена. С каждым разом студийцы играют все лучше, но руководительница еще не довольна. Наконец, нужное движение найдено, исполнители прониклись верным настроением. Рита Львовна одобрительно кивает головой.

— Давайте дальше.

Репетиция продолжается. Неожиданно руководительница спрашивает:

— Уляш, а ты веришь в бога?

Студентка, исполняющая роль Софьи, удивленно смотрит на Риту Львовну.

— Скажи, Уляш, Софья верит в бога?

— Верит.

— По-настоящему? Ходит в церковь? А из какой она семьи? Это очень важно. От этого зависит твое поведение.

С помощью всех присутствующих вопросы эти разъясняются. Уляш Наркаева заметно изменила трактовку этого эпизода.

Казалось, легче всего дать студийцам готовые, разработанные режиссером движения, довести до полного автоматизма каждую реакцию исполнителя. Но это омертвило бы самую сущность образа и из искусства превратило бы исполнение в простое ремесло. Поэтому так кропотливо работают руководители, стараясь добиться сознательного жеста, сознательной интонации. Раз понятое движение персонажа навсегда останется в памяти студентов.

Занятия окончены. Однако из соседнего класса еще раздаются звонкие голоса исполнителей комедии Тирсо де Молина «Благочестивая Марта». Здесь занимается вторая группа. Но вот распахнулись двери и этого класса. Обсуждая на ходу игру товарищей, студенты выходят в коридор и с шумом рассыпаются по зданию.

Сегодня занятий больше не будет, но домой ехать еще рано. У всех дела в институте. Староста Эняев спешит в учебную часть разобрать путаницу с расписанием. Группа студентов сговаривается о посеще-

нии студентки Убушиевой, находящейся в родильном доме. Несколько человек побежало за театральными билетами на новую постановку. Двое книголюбов отправились в читальню.

Дел по горло.

5

Разговор о дружбе студентов с преподавателями возник как-то непроизвольно, будто сам собой.

Перебирая тетрадки и книги, одна из студенток выронила пачку фотографий. Они рассыпались по паркету, и все бросились их поднимать.

...Смеясь и болтая, идет по тротуару студенческого городка группа молодежи. В центре, подхваченная под руки девушками, наклонилась к соседке Лидия Ивановна Дейкун, руководительница студии.

...В роще, на сваленном дереве, уселись девушки. Юноши, расположившись у ног их, затянули песню, и, подперев лицо ладонями, девушки мечтательно подпевают. Весна. В группе не сразу найдешь вкрапленных между молодежью руководителей студии и преподавателей — артистов Дейкун, Далину и Пажитнова, — так много задора в их глазах. Фотограф «поймал» группу в тот момент, когда она меньше всего ожидала съемки.

Карточек очень много, и нигде не заметишь напряженной фигуры, «позирующей» перед фотоаппаратом.

Неизбежно настороженные вначале отношения между руководителями и учащимися перешли во взаимное понимание, а затем в настоящую, искреннюю дружбу. Теперь все они составляют как бы одну семью, в которой все считаются друг с другом и каждый признает авторитет старшего. Дружба эта проверена годами совместной работы, она вышла далеко за пределы просто хороших отношений между «старшими» и «младшими».

Групповые посещения театров, концертов и музеев, творческие вечера и товарищеская вечеринка, где царит самое искреннее веселье, где юноши и девушки исполняют национальные песни и пляски, а руководители рассказывают эпизоды из актерской практики и исполняют любимые отрывки из пьес, — все это тесно сближает коллектив Калмыцкой студии.

Жизнь в одном общежитии, отличные от общеинститутских специальные дисциплины (все студийцы, например, специально занимаются родным калмыцким языком) и постоянная совместная работа над основными постановками делают студию похожей на учебное заведение закрытого типа. Неизмеримо повышается при этом роль педагога, отвечающего не только за академическую успеваемость, но и заменяющего молодежи старших, семью, помогающего формированию характеров и моральных качеств актерской молодежи.

Студии грозила опасность замкнуться в себе, оторваться от общеинститутской жизни. Ведь в первое время студийцы не могли общаться с остальными учащимися Гитиса хотя бы уже потому, что не знали русского языка. Но этого не произошло. В общеинститутской жизни Калмыцкая студия принимает самое непосредственное повседневное участие. Этим, как и значительной долей своих успехов, студия обязана не только вдумчивому руководству преподавателей, но и хорошо работающей комсомольской организации, в которой состоят восемнадцать студентов из двадцати одного. Комсомольский коллектив помогает решать все сложные вопросы учебы и быта, семейных и товарищеских отношений. Здесь нет места бездушным решениям и официальным протоколам. Когда один из студентов избил свою жену, тоже студентку студии, комсомольская организация, все студенты студии резко изменили отношение к нему. С ним продолжали разговаривать, но это уже было не похоже на прежние дружеские отношения. Так продолжалось до тех пор, пока студент не понял значение своего поступка, не переборол своей гордости, извинился перед женой, всеми студентами и преподавателями и дал слово исправиться. И свое обещание он сдерживает.

6

Весной 1928 года в далекий калмыцкий улус приехало однажды несколько человек. Объявили, что вечером будет спектакль. Этого слова никто не знал, но из любопытства жители набились к назначенному сроку в помещение, где с утра шли какие-то таинственные приготовления. Когда раздвинулись простыни, скрывавшие приезжих от зрителей, приезжие начали расхаживать по площадке, спорить друг с другом, обращаясь иногда к сидящим в зале. Жизнь их была похожа на настоящую, и все с интересом смотрели и слушали. Наконец, простыни сдвинулись. Публика молчала. Было очень тихо. Никто не уходил. Тогда из-за простыни вышел бледный человек и объявил, что спектакль окончен. Никто не уходил. Бледный человек снова вышел и опять повторил, что спектакль окончен. Тогда все зашумели. Они кричали, что их обманывают и требовали продолжения. И приезжие актеры должны были снова повторить всю пьесу от начала до конца.

Так было еще совсем недавно.

Мальчик, помогавший приезжим закрывать занавес, теперь учится в Калмыцкой студии Гитиса.

До Октябрьской социалистической революции в Калмыкии не было ни одного театра. Забитый, обреченный на вымирание, калмыцкий народ даже мечтать не мог о своем национальном театре. Что и говорить, если всего двадцать пять лет назад грамотных в Калмыкии было всего лишь 2,3 процента.

Народу, прошлое которого, по словам Владимира Ильича Ленина было «беспрерывной цепью страданий», народу, который «намеренно держали в темноте, для того, чтобы легче было угнетать... запрещали обучаться, печатать книги на своем языке», — этому народу теперь открыты все пути.

В 1920 году из демобилизованных красноармейцев-калмыков организуется самодеятельный театр. Актеры сами сочиняют пьесы, разоблачающие князьков-нойонов, зайсангов и прочих эксплоататоров народа.

Лишь в 1936 году в Калмыцкой АССР был организован Первый государственный калмыцкий театр. Артистические кадры театра были набраны из студентов Калмыцкого техникума искусств. За годы существования театр сумел завоевать уважение и любовь народа. Больше тридцати тысяч зрителей просмотрели постановки пьес национальных драматургов, современные советские пьесы, а также пьесы русских и западных классиков. Но одного театра для республики мало. Так возникла идея открыть театральную студию при Московском государственном институте театрального искусства. Окончив эту студию, калмыцкая молодежь составит труппу второго государственного театра Калмыкии.

Кроме готовящихся сейчас пьес Горького и Тирсо де Молина, они повезут с собой еще одну калмыцкую и одну русскую современную пьесу.

7

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей...

Пушкина привлекла простота нравов и безыскусственная прелесть кочевой жизни. В шутливом стихотворении он противопоставляет дикую красоту «вольной дочери степей», не стесненной никакими условностями, изнеженным и изломанным героиням светских салонов. Поэт радуется, что калмычка «не лепечет по-французски, не увлекается Сен-Маром, слегка Шекспира не ценит».

Не потеряв ничего в своей красоте и своеобразии, современная калмыцкая девушка не только «лепечет», но даже разговаривает по-французски и мечтает сыграть роль Джульетты, Офелии, Беатриче. Шекспира она не только читает, но знает наизусть. И все-таки жизнь ее, несмотря на то, что главный атрибут кочевой романтики—кибитка—давно уже заменен прозаическим домом или городской квартирой, не перестала быть увлекательной и романтичной. Разве мало романтики в жизни Нины Павловой или Уляш Наркаевой, возвращающихся в родные места, чтобы нести культуру своему народу, и воплощающихся то в испанку Марту, то в русскую девушку Софью, то в красавицу Ногалу из пьесы Гашуты Баатра?

8

Трудовой день окончен.

Поздний вечер.

В здании Театрального института пусто.

Засыпает студенческий городок. Но в общежитии Калмыцкой студии еще горит свет и слышатся взволнованные молодые голоса, обсуждающие события прошедшего дня.

В. Ермилов

О ГУМАНИЗМЕ ГОРЬКОГО[1]

Творчество Горького периода 90-х годов представляет собою непрерывные, упорные, напряженные искания. Начиная свою литературную дорогу, отправляясь в предстоявший ему огромный путь, Горький твердо знал, что так дальше жить нельзя. Он прочно ненавидел собственнический мир, «хозяев», мещанство, ненавидел слабость, покорность, нежелание драться с уродливой действительностью. Он мечтал о героическом — о героических людях; о подвигах, о больших целях, искал реальную силу, которая могла бы возглавить борьбу с «хозяевами», своим творчеством уже свидетельствуя о рождении этой новой исторической силы.

Ценность горьковского творчества в том, в частности, и состоит, что в нем отразился самый процесс осознания широкими слоями рабочего класса и примыкавшей к нему массы трудящихся своих классовых, а тем самым и общечеловеческих задач и целей.

И в тех рассказах, которые вошли в первые два тома собрания сочинений, и в «Фоме Гордееве», и в повести «Трое» мы видим, как развивалась мысль многомиллионной народной массы — о человеке, о труде, о «хозяевах», о правде, о том, почему так жестока жизнь. Мы видим, как труден этот процесс осознания, в какие иногда наивные формы он выливается. Замечательное своеобразие горьковского творчества проявляется в том, что Горький думает вместе со всей этой огромной массой, что он тоже проходил на своем жизненном пути те стадии развития, которые проходят многие его герои. В этом особая значительность, полновесность горьковского творчества. За ним поистине стояли миллионы.

Если, как раскрыл Ленин, творчество Толстого является художественным документом, запечатлевшим чаяния, ожидания и настроения миллионов русского крестьянства накануне буржуазно-демократической революции, то творчество Горького является художественным документом, отразившим, как шел процесс сплочения массы рабочего класса и широких слоев трудящихся вокруг авангарда. Горький показал те силы, которые сделали революцию, их представления о характере грядущей бури, которая должна покончить с «ужами» и всеми гадами собственнического мира. Читая Горького, мы видим, как трудящиеся массы России все более созревали для предстоящих боев, — в его произведениях вставала Россия, которая, по выражению товарища Сталина, «была беременна революцией».

В 1893 году Энгельс писал в предисловии к итальянскому изданию «Коммунистического манифеста»:

«Теперь, как в 1300 г., наступает новая историческая эра. Даст ли нам Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения этой новой, пролетарской эры?» (т. XVI, ч. II, стр. 327).

Энгельс не мог знать, когда писал эти строки, что в одной из газет, выходивших в городе Тифлисе, в 1892 году напечатал свой первый рассказ молодой писатель, которому было предназначено запечатлеть час рождения новой эры.

Русский рабочий класс рос необычайно быстро, и Горький сам рос с изумительной быстротой, вместе с пролетариатом. В его творчестве запечатлены становление русского рабочего класса, мысли и чувства тех социальных слоев, за счет которых вырастал пролетариат, превращение его в решающий фактор общественной жизни, оформление авангарда — исторические процессы неизмеримого значения! В ходе их обогащалось и росло горьковское творчество, ставшее органической частью партийной пролетарской борьбы и работы.

Процесс сплочения широких трудовых масс вокруг авангарда шел противоречиво, но он побеждал, расширялся, укреплялся. Многомиллионная демократия зафиксирова-

[1] Из книги, выходящей в издании Гослитиздата: О гуманизме Горького».

ла, отлила этот процесс, сделала оттиск с него в горьковском творчестве.

В первых произведениях Горького выражались — еще в зачаточном виде, полустихийно — те идеи, которые предстали в последующих произведениях, как вполне осознанные, вытекающие из продуманного мировоззрения, развитые и обогащенные. Партия большевиков воспитывала своего художника. Некоторые важные отличительные черты горьковского гуманизма мы видим уже в ранних произведениях. Уже здесь гуманизм Горького представлял собою нечто новое по сравнению со всей предшествовавшей литературой. В дальнейшем горьковский гуманизм слился с мировоззрением авангарда рабочего класса, с практикой борьбы за коммунизм, и Горький стал основоположником социалистического гуманизма в художественной литературе.

НОВЫЙ ГЕРОЙ

В русской классической догорьковской литературе огромную положительную роль сыграли два образа: образ «маленького» и образ «лишнего человека». Как и все значительные темы русской литературы, обе эти тематические линии связаны с Пушкиным: линия «маленького» человека с «Повестями Белкина», с «Медным всадником», «лишнего человека» — с «Евгением Онегиным». «Повести Белкина» вывели за руку Акакия Акакиевича Башмачкина, а из «Шинели», по слову Достоевского, вышла вся русская проза, в том числе «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные». И «Записки охотника», и «Антон Горемыка», и ряд других произведений продолжали дело защиты «маленького человека», униженного и оскорбленного «большими людьми», «хозяевами» вчерашней русской жизни.

В творчестве Горького эта литературная традиция, в ее прежнем виде, пресеклась и получила новый смысл.

Образ «маленького человека» сыграл в свое время, смело можно сказать, революционную роль. Но уже ко времени Чернышевского стала ясной недостаточность этой литературной традиции. Революционная демократия проявилась в жизни, как реальная сила, — после Рахметова «маленький человек» становился эпигонством, начал вырождаться в народнической литературе. Историческая потребность в сильном и большом человеке, в литературном герое, зовущем к борьбе, с особенной остротой ощущалась на грани 80—90-х годов, в эпоху быстрого созревания и роста рабочего класса. Молодой Горький ответил на потребность. В этом и состоит одна из главных причин его поразительно быстрой славы, а не в том, что он ввел в литературу «босяков». Их можно было изобразить в «горемыковских» жалостливых тонах, и как бы ни было талантливо такое изображение, оно, конечно, не принесло бы Горькому его славы.

Слезливая, бездеятельная жалостливость вызывала инстинктивную неприязнь у Горького, начиная еще с детских его лет. Он рассказал об этом в «Детстве»: «Мать стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова... Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение — кажется, князя Вяземского:

И вечерней, и ранней порою
Много старцев и вдов и сирот
Христа-ради на помощь зовет,

а третью строку

Под окошками ходят с сумою

я аккуратно пропускал... Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду... Бабушка тоже уличала меня:

— Сказки — помнит, песни — помнит, а песни — не те же ли стихи?

Все это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи — откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки:

— Как у наших у ворот
Много старцев и сирот
Ходят, ноют, хлеба просят,
Наберут—Петровне носят,
Для коров ей продают
И в овраге водку пьют.

Бабушка иногда хохотала над такими стихами внука, «но чаще журила меня... над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищим и все святые тоже... Я бормотал:

— Не люблю нищих
И дедушку—тоже,
Как тут быть?»

Инстинктивное отвращение к бесплодной жалостливости, к идеализации рабского терпения — «добродетели скота, дерева, камня» — выразилось в этой детской пародии на «жалобное стихотворение». Сказалась в ней и реалистическая наблюдательность будущего художника. Весь строй пародируемого стихотворения разбивается сообщением о поведении нищих, которые продают «милостыню» некоей Петровне «для коров» и на вырученные деньги «в овраге водку пьют». Новаторское «озорство», которое было и у Пушкина, и у Маяковского, и у всех подлинно больших художников, проявилось у Горького очень рано...

Горький сказал о себе, что ему еще в детстве «содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой». Эти слова сказаны в той же повести, в которой прозвучала озорная пародия на жалобные стихи. Горький остро чувствовал опасность потонуть в расслабленном, бесплодном сострадании и предупреждал о растлевающем влиянии такой жалости, которая «липнет к сердцу, как смола, и обессиливает его» («Хозяин»). В уста одного из персонажей «Фомы Гордеева» он вложил свою, кровную, добытую им опытом его жизни, его детства и юности формулу:

«Я слишком люблю, чтобы жалеть».

И вместе с этим и в «Детстве», и в повести «В людях», и в других произведениях проходит мотив: «людей надо жалеть». «Жалеть» — это значит не «утешать», как «утешал» Лука,—в «утешительстве» Горький видел лукавость, желание отвлечь от борьбы, поощрение бессилия, — а воспитывать желание действовать и б о р о т ь с я. «Бессилие тех, которые подчиняются, меня приводит в ярость», говорит герой пьесы «Варвары», вполне выражая в данном случае чувства автора.

Горький полемически противопоставил свой новый гуманизм устаревшим литературным традициям. В «Коновалове», например, рассказчик, работающий подручным пекаря, читает пекарю Коновалову, неграмотному, «Подлиповцев», «Бедных людей», «Бунт Стеньки Разина» Костомарова, «Тараса Бульбу».

«Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты! Ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако, брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напомнил ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются — а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?.. Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось — не занимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...»

Горький устанавливал свою связь с героическими мотивами русской литературы, с образами сильных людей, созданными ею, — таких, как Тарас Бульба, — и полемизировал с традицией «маленького человека».

От «телячьего Макара» не так уж далеко до князя Мышкина и Сони Мармеладовой, до идеализации покорности и страдания, поэтому Горький полемизировал не только с антигуманистическими тенденциями Достоевского, но и с его гуманизмом...

Новаторская борьба молодого писателя с традицией «маленького человека», с бесплодной жалостливостью, с бездеятельным гуманизмом, с идеализацией бессилия и дала повод для разговоров о «ницшеанстве». Буржуазная критика выдавала Горького за «ницшеанца» по той простой причине, что она стремилась уложить новое явление, огромность которого она чувствовала, в привычные рамки, а Ницше, при всей его «дерзости» и «новизне», только нашел новое, обостренное выражение для старой, извечной «морали господ». Зачисляя нового, необычного писателя по «ницшеанскому» ведомству, буржуазная критика тем самым стремилась оторвать его от народа.

Но не только буржуазная критика повинна в существовании версии о «ницшеанстве» молодого Горького, — эту точку зрения поддерживали и марксистские критики В. В. Воровский, А. В. Луначарский, которые, конечно, отнюдь не хотели оторвать Горького от народа; нельзя обвинить их и в том, что они стремились «свести» новое, незнакомое явление к старому и привычному.

Какие же мотивы в горьковских произведениях давали повод для разговоров о «ницшеанстве»? Вспомним, например, рассказ «Каин и Артем». Босяк Артем, силач и красавец, гроза рынка, терроризирует весь базар, его боятся и ненавидят. Враги Артема, объединившись, избивают его до полусмерти, — он лежит один, забытый всеми, в том числе многочисленными «поклонницами». Еврей Хаим, которого в насмешку зовут «Каином», — существо жалкое, нищее, до-нельзя приниженное и испуганное, служащее посмешищем всего базара, — оказывается единственным, кто помогает Артему в трудную минуту. Он заботливо ухаживает за поверженным гигантом и вылечивает его; Артем дает торжественное обещание, что будет защищать Каина: теперь никто не посмеет обидеть этого «маленького человека». Каин впервые в жизни почувствовал себя и свою семью защищенными. Однако никакой дружбы между Артемом и Каином не возникает. Артем не знает, о чем говорить с Каином, а тот только изливается в благодарностях и жалобах на судьбу. Эти жалобы излагаются в патетическом стиле писаний «пророков», в них звучит траги-

ческий фатализм... И вот однажды Артем объявляет Каину, что больше он его защищать не будет. Очень любопытна мотивировка. Артем не слишком умен и изъясняется, как умеет, но все-таки мысль его и чувства совершенно ясны:

«— За то, что ты меня тогда пожалел, я могу тебе заплатить. Сколько надо? Скажи — и получи. А жалеть тебя я не могу. Нет во мне этого... Я только ломал себя, — притворялся. Думал — жалею, ан выходит — так это, один обман. Совсем я не могу жалеть...

— Ты подумай, — убедительно и грустно говорил Артем, — какая моя задача теперь? Ты вот этого не понимаешь... а я — я должен за себя встать... они меня как избили? Помнишь?.. Я теперь всех их знаю... Всех! Теперь я начну с ними расчет... И ты мне мешаешь.

— Чем я могу мешать? — воскликнул еврей.

— Не то, чтобы мешать, а такое дело,— озлобился я против всех людей. Вот оно что... Ну и, стало быть, ты мне теперь — лишний. Понял?

— Нет! — кротко объявил еврей и тряхнул головой.

— Не понимаешь? Экой ты какой! Тебя жалеть надо — так? Ну, а я теперь не могу жалеть никого... Нет у меня жалости... Надо все делать по правде... Чего в душе нет — так уж нет... И мне, брат, прямо скажу, — противно, что ты такой... Вот как выходит».

А. В. Луначарский трактовал этот рассказ, как разоблачение «морального идиотизма» Артема, как начало «развенчивания» «босяческого ницшеанства» в горьковском творчестве. Если бы дело сводилось только к этому, то в рассказе не было бы ничего новаторского, и его автор просто являлся бы продолжателем гуманной защиты «маленького человека», негодующим против бессердечия и равнодушия. Но автор вкладывает в уста Артема с в о и, кровные мысли. «Надо все делать по правде... Чего в душе нет — так уж нет...» Известно, что Горький придумал немало пословиц, в их числе такую: «Т о м у и ч е с т ь, к т о в о в с е м — в е с ь».

Цельность и естественность всех проявлений личности, умение отдаться ц е л и к о м, без «остатков», без какой бы то ни было раздвоенности работе, борьбе, любви, ненависти — это всегда было для Горького одним из устоев его морального кодекса, одним из главных критериев оценки человека. Боязнь выразить с е б я, притворство, хотя бы и не осознаваемое, неорганичность, половинчатость и в общественных и в личных проявлениях были ненавистны Горькому.

У Артема есть цельность и естественность, он не умеет и не желает «притворяться», ему противны слабость и приниженность Каина. Это, разумеется, не означает, что Горький сочувствует Артему, его «отказу» от Каина. В уста Каина автор вкладывает яркие трагические слова и, несомненно, сочувствует страданиям несчастного, замордованного человека. Но есть у Каина то «тщеславие униженных и оскорбленных», которое Горькому в с е г д а было действительно противно. Это такая степень приниженности человека, когда он начинает любоваться своим страданием, извлекать своеобразное мучительное наслаждение из своих жалоб, отказывается от уважения к себе. Еще в свои детские годы Горький понял, что у «хозяев» есть своя звериная с и л а и что для борьбы с нею тоже нужна сила. Он хорошо знал, что жизнь требует с и л ь н ы х людей, и хотел передать свое знание всем «униженным и оскорбленным...» Эти мотивы прозвучали и в самых ранних произведениях и в рассказе «Каин и Артем».

И, однако, этот рассказ, как и другие ранние произведения Горького, в которых изображались босяки, мог дать повод для путаницы и недоразумений. А. В. Луначарский воспринял рассказ, как защиту «маленького человека» и осуждение «морального идиотизма». Но он мог быть воспринят и совсем по-другому. Могло показаться, что автор если не одобряет, то так или иначе «приемлет» поведение Артема в отношении Каина. Такое впечатление могло создаться потому, что Горький тогда еще не указывал выхода ни для Каина, ни для всей массы «маленьких людей», «униженных и оскорбленных». Он только выражал свою ярость против бессилия, против слезливой жалостливости, против бездеятельной, бесплодной «гуманности», сознание необходимости звериной с и л е противопоставить человеческую с и л у, а не покорность. Артем понимает, что «жизнь — это драка» (как писал Горький Чехову), и способен к драке, но ведь та «борьба», которую ведет Артем, — «голая зверячья борьба» (употребляя горьковское выражение).

В рассказе подчеркнута ж и в о т н о с т ь Артема, его ограниченность в кругу волчьих законов жизни. Автору глубоко враждебна животность Артема, но он осуждает и покорность Каина. Автор твердо знает, что гуманизм старого образца недостаточен, не может ничего изменить в жизни. Нужно воспитывать в «униженных и оскорбленных» желание быть сильными. Когда появятся героические люди, могучие характеры, тогда и «маленькие люди», вроде Каина, смогут «взбодриться», как говорил Коновалов о Пиле и Сысойке. Но г д е в жизни выковываются новые, героические люди, к а к нужно бороться с властью «хозяев», — всего этого молодой Горький еще не знал.

Герой повести «Трое» Илья Лунев произносит, как и Фома Гордеев, обличительную речь перед врагами:

«— Я вот смотрю на вас, — говорит он кучке мещан, собравшихся на свою вечеринку, — жрете вы, пьете, обманываете друг друга... никого не любите... чего вам надо? Я — порядочной жизни искал, чистой... нигде ее нет! Только сам испортился... Хорошему человеку нельзя с вами жить. Вы хороших людей до смерти забиваете... Я вот злой, сильный, да и то среди вас, как слабая кошка среди крыс в темном погребе... Вы — везде... и судите, и рядите, и законы ставите... Гады, однако, вы... Кабы знал я, какой силой раздавить вас можно! Не знаю!»

Многое в этой речи выражало мысли и чувства самого Горького той поры, когда он писал свои первые рассказы — клокочущая ненависть к «гадам», понимание, что их можно раздавить только силой и незнание, где эта сила, в чем она...

Горький принес с собою идеал Человека — цельного, дерзкого, «любящего подвиги», как говорит старуха Изергиль, любящего людей так, как любил их юноша Данко, — и не мог еще слить этот свой идеал с реальной жизненной силой. Поэтому ему и приходилось связывать самые дорогие для него мысли и чувства с образами людей вроде Челкаша, неполноценность, непригодность которых для настоящей жизни ему была ясна. Он не мог не заинтересоваться на первых порах «босяками», потому что они противопоставляли себя «мещанству», заявляли о своем презрении к собственничеству, рабскому труду, подчинению, лицемерию, «притворству», а других людей, которые действительно обладали бы такими качествами, Горький еще не знал. Отсюда и внутренняя противоречивость его образов «босяков». Трезвый художник-реалист, Горький превосходно видел звериный индивидуализм, присущий этим людям, хорошо знал, что с ними нельзя связать никаких надежд, что если кое-кто из них и способен быть героем, то это только «герой на час» (как говорил Горький о лучшем из людей этого типа — Коноваловe). И вместе с тем он наделял их такими качествами, которые резко противоречили индивидуализму, и любовался дерзостью, бунтарством созданных им образов. Отсюда и возникало «недоразумение». Ранние произведения Горького, представлявшие собою страстную полемику не только с устаревшим гуманизмом, но прежде всего с антигуманистической идеологией буржуазии, ярко сформулированной Ницше, воспринимались некоторой частью современников, как «ницшеанские»!

Философия Ницше была одним из ответов буржуазии на растущее рабочее движение. В ней «хозяева» отбрасывали всю прежнюю гуманистическую фразеологию, все традиции буржуазной демократии. Наступала эпоха империализма, эпоха войн и революций, приближалось решающее столкновение двух миров. В обоих лагерях с особенной остротой ощущалась потребность силе противопоставить силу. Буржуазия ничего не могла противопоставить растущему рабочему классу, кроме физической силы, кроме голого насилия. Это хорошо понял Ницше и сделал все выводы из этого исторического факта. Он взял на себя роль воспитателя «сильных людей» буржуазии, откровенно выдвинув идеал «белокурой бестии», рабовладельца, колонизатора, конквистадора, по-своему «цельного» субъекта, отказавшегося от всех «пережитков» гуманизма, от человечности. Ницше возвестил конец буржуазного гуманизма.

Трудовое человечество ответило на открытую буржуазией войну против гуманизма грандиозной фигурой Горького. Горький поднял знамя человечности, возродил традиции подлинного, великого гуманизма в литературе. Но он возродил их на новой основе.

Звериной силе буржуазного мира трудовое человечество противопоставило новый, воинствующий гуманизм, неотделимый от борьбы, выковывающей новых людей — могучих, дерзких, не представляющих жизни без борьбы, людей, которые знают, что такое сила, и желают быть сильными.

Ницше говорил «сильному»: слабого — толкни!

Горький говорил «слабому»: сильного — толкни! И увидишь, что он — слаб. Осознай свою силу — и будешь сильным.

В «Беседах о ремесле» Горький писал, что ницшеанскому принципу: «падающего толкни!» он противопоставил принцип: «восстающего поддержи!» С самого начала своего литературного пути он выступил против антигуманистических тенденций в литературе и философии — именно в этом и была причина его упорной войны с Достоевским. Уже в «Старухе Изергиль» развенчивались индивидуализм, буржуазное человеконенавистничество, ницшеанский «сверх человек» в образе хищника Ларры — ему противопоставлялся Человек, воплощенный в юноше Данко. Оба они сильны, но сила Данко — сила любви к людям, а сила Ларры — звериная, хищная сила. Отщепенство, воспевавшееся Ницше, каралось в сказке старухи Изергиль жестокой карой...

Ницше выступал против жалости во имя человеконенавистничества. Горький выступал против бесплодной жалостливости во имя любви к людям — действенной, мужественной и единственно подлинной любви.

Страстная и непоколебимая вера в человека дышала в его рассказах — она-то и прозвучала как новое слово после Достоевского, выразившего недоверие человеку и идеализировавшего бессилие, и во время Чехова, тосковавшего о том, что нет людей, способных осуществить мечту о счастье... Молодой Горький догадался, что эти люди уже есть, и рвался к ним.

Не только юноша Данко, но и Челкаш и другие герои его ранних произведений отличались свойствами, враждебными индивидуализму и человеконенавистничеству. И если все-таки некоторым читателям могло казаться, что молодой писатель сочувствует индивидуализму, то это происходило потому, что герой молодого Горького, бунтарь и протестант, был одинок. Горький еще не мог тогда выдвинуть такого героя, за которым чувствовалось бы движение масс...

Радость обретения самого главного, самого важного звучит в произведениях нового этапа горьковского творчества, в которых впервые в истории человечества в качестве героя художественной литературы предстал сознательный революционный пролетарий. Работа над образом машиниста Нила, героя пьесы «Мещане», была для Горького творческой радостью пионера, открывателя новых земель. Он и в самом деле мог бы воскликнуть: «Земля!» Идеал Человека оказывался земным, найденным, реально существующим. Отпала противоречивость в образах горьковского творчества, необходимость связывать самые близкие мысли, самые ценные человеческие качества с людьми, не пригодными для подлинной жизни и борьбы.

И деятельный, воинствующий гуманизм, и цельность личности, и отвращение к бездеятельной жалостливости, и великая любовь к людям, и революционная дерзость, и чувство радости от сознания неисчерпаемой творческой мощи трудового человечества — все эти качества горьковского героя, которые так мало вязались с реальными прототипами ранних произведений Горького, все они оказались теперь совершенно уместными, вполне органическими для людей типа Нила. Обнаружилось вместе с тем, что реально существующий Человек еще более значителен, силен, глубок и богат, чем представлялось в мечте о нем, — и мы видим, как в каждом новом произведении Горького все более обогащался образ пролетарского революционера.

Переходной от первого этапа творческого пути ко второму была повесть «Трое». В ней был поставлен вопрос о путях «маленького человека».

В этой повести уже завязывались прямые связи с революционным движением рабочего класса, уже, как писал А. В. Луначарский, «вырисовываются контуры фабрики», ясно обозначается «стремление к разрешению социальных и личных проблем через нее».

Тема повести — поиски «чистой» и «тихой» жизни, которыми занят главный герой Илья Лунев, — была личной темой молодого Горького. Он рассказал, что эти поиски были когда-то не чужды и ему самому.

«Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично-страшного, начинал относиться к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и о должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них...

Другой, крещеный святым духом честных и мудрых книг, наблюдал победную силу буднично-страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно...» («В людях»).

Спор этих «двоих» давал себя знать и позже, но побеждал всегда в конечном итоге «второй»...

Илья Лунев, крестьянский паренек, попавший в город, представляет собою тип «правдоискателя». Точно так же, как для отца его, ушедшего от мирской грязи в лес, мечта о правильной жизни овеществилась в одинокой келье, так для Ильи она воплощается в чистенькой лавочке, где работают он да мальчик подручный. Крушение его мечтаний о «чистоте» связано с образом Танечки, его любовницы и компаньонки по лавочке. Эта женщина привлекла его уютной «чистотой» своей, как казалось Илье, легкой, налаженной жизни. В образе Танечки мечта становится для Ильи живой, олицетворенной. Это и есть чистота «тихой» жизни: «Мы людям не мешаем, и пусть они нам не мешают». Танечка — один из самых запоминающихся образов мещанства в горьковских произведениях. Женщина кажется Илье веселой, изящной, милой. Но вот он близко сходится с ней и убеждается в том, что она вся сочится грязью. Когда, «просвещая» Илью, Танечка излагает свою житейскую «философию», «жизнь казалась ему чем-то вроде помойной ямы, в которой люди возятся как черви.

— Ф-фу! — устало говорил он. — Да чис-

тое-то, настоящее-то есть где-нибудь, скажи?

— Какое настоящее? — удивленно спрашивала женщина. — Я говорю о настоящем... Вот чудак! Не выдумала же я сама все это!

— Я — не про то! Ведь где-нибудь, что-нибудь настоящее, чистое есть или нет?

Она не понимала его и смеялась».

Танечка — душа лавочки, прирожденная лавочница. Вот какою оказалась «душа» тихой, уединенной жизни Ильи Лунева, подлинная сущность его мечтаний...

Все пути, возможные для «маленького человека» в собственническом обществе, показал Горький: индивидуальный «бунт», надежда на жалостливость «сильных», стремление прожить одному в тишине и «чистоте», — и все эти пути оказывались ложными. Но теперь Горький мог уже сказать «маленькому человеку», что ему нужно делать. Илья Лунев потому и вынужден был покончить самоубийством, что он хотел жить один. Лавочка отрезала ему путь к подлинной правде и «чистоте» — путь, по которому пошел друг его детства, рабочий Павел Грачев, связавший свою судьбу с революционным движением, путь, к которому зовет Нил.

Новизна образа Нила заключалась прежде всего в том, что за этим «бунтарем» и «протестантом» уже ясно чувствовалась армия бойцов.

«Лишний человек» русской литературы тоже был протестантом и бунтарем, он тоже презирал, а иногда, как Печорин, и ненавидел действительность, в которой ему приходилось жить. Горький очень своеобразно продолжил линию «лишнего человека». В сущности Тетерев из пьесы «Мещане» и есть «лишний человек», умный резонер, презирающий действительность, ненавидящий «мещанина-собственника», «хозяина» и занимающий позицию иронического бездействия. Точно так же «лишними людьми» являются и Коновалов, и Орлов, и Сатин, и многие другие босяки. Яков Бардин из пьесы «Враги», спивающийся и кончающий самоубийством оттого, что он «недостаточно зоологичен» (как говорит о себе Лютов) из «Жизни Клима Самгина»), чтобы быть вместе с буржуазией, и слаб для того, чтобы быть вместе с пролетариатом, — тоже «лишний человек».

«Талантливые пьяницы, — говорит он, — красивые бездельники и прочие веселых специальностей люди, увы — перестали обращать на себя внимание!.. Пока мы стояли вне скучной суеты — нами любовались. Но суета становится все более драматической...»

Горький подчеркивал полную исчерпанность традиции «лишнего человека». Революционное значение этой темы для своего времени несомненно: лучшие, наиболее честные, талантливые люди, мечтавшие о том, чтобы с л у ж и т ь общему делу, а не п р и с л у ж и в а т ь с я к своекорыстным потребностям правившей клики,—эти люди оказывались л и ш н и м и для буржуазно-дворянской России. Факт, состоящий в том, что такой сильный, большой, страстный человек, как Печорин, оказывался лишним, принужден был не только прятать свою любовь к людям под маской иронии, но и усиливать в целях «самозащиты», разжигать в себе человеконенавистничество, — уже сам по себе этот факт, рассказанный с «горечью и злостью» великим художником, был обвинительным приговором всему собственническому обществу, протестом против и с к а ж е н и я ч е л о в е ч н о с т и.

Гениальные создатели образов «лишнего человека» хорошо понимали, что позиция иронического бездействия и полная оторванность от народа приводят их героя и к измельчанию чувств, и к действительной черствости, эгоизму, бесплодному, опустошающему скептицизму.

Как традиция «маленького человека», так и традиция «лишнего человека» обнаружила свою недостаточность уже ко времени Добролюбова и Чернышевского, устами которых революционная демократия потребовала нового литературного героя. Но традиция продолжала существовать и начала вырождаться, становилась «красивым бездельничеством», прикрывавшим обывательское нежелание участвовать в драке, даже трусость, даже дезертирство, даже социальный паразитизм, — т. е. такие качества, которые уже ничего общего не имели с содержанием огромной темы русской литературы — темы «лишнего человека».

Чехов хорошо видел вырождение этой традиции и со свойственным ему сдержанным презрением рисовал лентяев и обывателей, надевавших на себя маску «непонятых», «лишних людей». Его «Дуэль» была действительно дуэлью с «лишним человеком». Он написал «Вишневый сад», сатирический гротеск против «красивого бездельничества». Епиходов был подлинной «душой» этого бездельничества, и выяснялось, что ничего «красивого» здесь нет. Образ Епиходова имеет большое значение для путей русской литературы: эта пародия на «лишнего человека» говорила о полной исчерпанности темы.

Чехову было грустно, что его Астров, талантливый, влюбленный в работу и у м е ю щ и й работать, все-таки оказывался во многом продолжением традиции «лишнего человека». Чехов ощущал, что эта традиция исчерпала себя исторически, а следовательно и морально, но ничем не мог заменить ее. Самодовольные «деляги» фон-Корены его не могли «устроить». Те пре-

красные люди, которые будут жить через много лет, «после нас», — они, в представлении Чехова, гуманисты, они любят и труд и человека.

Заменить устаревшую традицию новой было предназначено Горькому. Как и Чехов, он разоблачал вырождение традиции, больше того: вредность той маскировки, которую она начала представлять собою для людей вроде Рюмина из пьесы «Дачники», Татьяны и Петра Бессеменовых из «Мещан» и прочих, не очень дальних родственников Клима Ивановича Самгина. В отличие от Чехова Горький смог выдвинуть нового героя, который не был ни «маленьким», ни «лишним». Этот герой не мог чувствовать себя «лишним» по той простой причине, что был создателем всего прочного, красивого и умного на земле, и понял эту свою хозяйскую роль. «Хозяин тот, кто трудится», говорит Нил.

О таком человеке, хозяине жизни, любящем подвиги и борьбу, открытом для счастья и для любви к человечеству, о характерах могучих и цельных мечтала русская литература. Она воплощала свою мечту в образах вольнолюбивых «Цыган», она мечтала о человеке, который, как лермонтовский Мцыри, знал бы «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть», как пушкинский рыцарь, был бы «духом смелый и прямой», как гоголевский Тарас, был бы героичен, великодушен и прост... Но все эти образы были легендарными, героическое прошлое противопоставлялось в них измельчавшему настоящему, — да и не могли они стать главными, решающими в творчестве великих предшественников Горького...

Горький начал осуществлять мечту всей русской литературы. В его творчестве были даны первые портреты «человека нового человечества». Его герой близок всем лучшим героическим образам литературы прошлого и вместе с тем отличен от них.

ГУМАНИЗМ И БОРЬБА

В горьковском творчестве с исключительной остротой поставлена проблема человечности и борьбы за нее. В нем показано, что капитализм враждебен человеку, разрушает все человеческие отношения между людьми, разжигает все звериные инстинкты. В этом отношении Горький явился непосредственным продолжателем традиций «большого реализма» мировой литературы. Тема разрушения человечности в капиталистическом обществе является темой всего творчества Бальзака, она проходит во всей литературе XIX века. Пушкин, подлинный отец русской литературы, явился пионером и в этой области. Герой «Пиковой дамы» Герман, о котором «подросток» у Достоевского говорит, что это «лицо колоссальное», «совершенно новое лицо, петербургского периода», — первый в нашей литературе образ буржуазного человека. Герман отказывается во имя богатства от таких естественных человеческих проявлений, как любовь, и платится за это распадом личности. Враждебность собственнического общества человеку, «омертвление» человечности в этом обществе являлось темой «Мертвых душ». Вся великая русская литература продолжала эти традиции Пушкина и Гоголя, с особенной глубиной они были развиты Толстым, Салтыковым-Щедриным, Чеховым.

В творчестве Горького эта тема явилась еще более напряженной и острой, чем у предшественников, и потому, что Горький разрабатывал ее с точки зрения пролетарских и близких пролетариату трудовых масс, и потому что в эпоху Горького сама жизнь необычайно обострила все вопросы, связанные с борьбой за человечность. Эпоха империализма отличается откровенным обнажением звериной сущности буржуазии; капитализм эпохи упадка, становясь смертельно враждебным производству, труду и культуре, становится смертельно враждебным человеку.

Товарищ Сталин указывал, что Россия являлась узловым пунктом всех противоречий империализма. «Начать с того, что царская Россия была очагом всякого рода гнета—и капиталистического, и колониального, и военного — взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Кому не известно, что в России всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма... Ленин был прав, говоря, что царизм есть «военно-феодальный империализм»... Противоречия империализма «легче всего вскрывались именно в России в виду особо безобразного и особо нестерпимого их характера»... (И. Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 8—9, изд. 10-е).

Русский народ дал миру писателя, который с небывалой остротой выразил протест против стремления капитализма разрушить самые основы человечности, заставить человечество как бы проделать обратный путь — от человека к обезьяне. Чем более ясной становится звериная сущность капитализма, тем более остро осознает трудящееся большинство свою человеческую природу. Горький и явился выразителем всей остроты и напряженности этого осознания. Империализм обостряет все противоречия собственнического общества — он неслыханно обострил и противоречие между человеческим началом, присущим массе трудящихся, и стремлением выродившейся буржуазии разжечь и использовать в своих интересах все звериные инстинкты, связанные с идиотизмом частной собственности.

Два мира смертельно враждебные друг другу, мобилизуют в эпоху последних и решающих боев все свои силы. Творчество Горького наполнено чувством напряженности, небывалой остроты борьбы.

Важнейшее отличие горьковского социалистического гуманизма от гуманизма предшествовавшей литературы состоит в том, что самая человечность не отделима для Горького от борьбы, больше того: подлинная человечность и родится только в борьбе.

Гениальные мыслители и поэты прошлого догадывались о неразрывной связи, существующей между человечностью и борьбой за нее. Гёте сказал поразительные по глубине слова:

> «Лишь тот достоин жизни и свободы,
> Кто каждый день в бою их достает».

Но фаустовская борьба, как и фаустовский труд, была индивидуалистической.

В прошлой литературе очень часто встречается мотив пробуждения «человечности» у людей, забывающих о ней в житейской сутолоке: просыпаются раскаяние, жалость к обиженным, стремление «вновь стать человеком» и т. п. Это происходит под влиянием случайных стимулов; в основе таких «перерождений» лежит мысль о том, что «все мы — люди» и что нашу природу искажает общество. Надо «вернуться» к самим себе, к правде. Так Гоголь хотел во второй части «Мертвых душ» показать, что и «Чичиков — человек», и Плюшкин, и Собакевич, и Ноздрев — все они «люди». Так герои Толстого «возвращались к самим себе», к вечной, находящейся внутри них самих правде, о которой люди забывают в заботах о бренном, «мирском». Так даже у Щедрина его Иудушка вдруг раскаивается и обнаруживает «человечность» (единственный момент в гениальном произведении художественно не убедительный; кстати сказать, на неубедительность «раскаяния» Иудушки указывал Гончаров в письме к Щедрину). Осознание подлинной сущности человеческой природы приходит к героям прошлой литературы нередко перед лицом смерти, под влиянием несчастия или, наоборот, под влиянием любви, дружбы и т. д. В таких «нравственных переворотах» и «просветлениях» есть непрочность, случайность.

Горький внес новый мотив. Для понимания сущности и значения этого мотива очень интересно вспомнить повесть «Хозяин». Она принадлежит к числу наиболее художественно сильных произведений зрелого Горького (повесть была напечатана в 1913 году). В ней показано, что человечность родится только в борьбе за нее, и показано это не на таком материале, каков материал «Врагов», или «Матери», где мы видим «современный промышленный пролетариат, в корне отличавшийся от рабочих фабрик крепостного периода и рабочих мелкой, кустарной и всякой иной промышленности как своей сплоченностью на больших капиталистических предприятиях, так и своими боевыми революционными качествами» («Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 71). В «Хозяине» перед нами жизнь небольшого предприятия в конце 80-х годов, пекарня некоего Василия Семенова в Казани (в этой пекарне работал молодой Горький). Люди, изображенные в повести, только что оторвались от деревни, они — совершенно отсталые, забитые, развращаемые «хозяином» и городской жизнью. Их отношение к «хозяину» патриархальное. Они работают на него чуть ли не круглые сутки, живут тут же в мастерской, в чудовищной грязи и нищете, мысль о возможности какой бы то ни было борьбы им и в голову не приходит. Все это делает особенно интересным и значительным пробуждение человечности в этих условиях.

Рабочие Василия Семенова принадлежат именно к тому разряду людей, о которых буржуа, мещанин, обязательно скажет, что они «утратили человеческий облик», что это грубые варвары, звери, лишенные «души». Один из современных Горькому буржуазных критиков писал, что герои горьковских произведений — «обиженные судьбой люди, в борьбе за жизнь почти потерявшие человеческий облик» (Философов).

И в самом деле, сколько жестокости, бесчеловечности в жизни этих людей! Горький, как известно, никогда не боялся говорить всю правду, никогда ничего не «подкрашивал» и не «смягчал». Они забиты до такой степени, что о своем «хозяине», который дико издевается над ними, бьет их и руками и ногами, с наслаждением садиста придумывает для них наиболее унизительные «наказания», — об этом человеке они между собой говорят с уважением и подобострастием.

«Я уже знаю, что Василий Семенов еще недавно, — шесть лет тому назад, — был тоже рабочим, пекарем, сошелся с женою своего хозяина, старухой, научил ее извести пьяницу-мужа мышьяком и забрал все дело его в свои руки, а ее — бьет и до того запугал, что она готова, как мышь, жить под полом, лишь бы не попадаться на глаза ему. Мне рассказали эту историю просто, как нечто очень обычное, — даже зависти к удачнику я не уловил в рассказе...

Все — от шестидесятилетнего Кузина до Яшки, который нанизывает крендели на мочало за два рубля от Покрова до Пасхи, — все говорят о хозяине с чувством, почти близким хвастовству — вот де какой человек Василий Семенов, найди-ко друго-

го такого же! Он развратник, у него три любовницы, двух он сам мучает, а третья — его бьет. Он — жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни — требуха, в среду и пятницу — горох да просяная каша с конопляным маслом. А работы требует семь мешков каждый день, — в тесте это сорок девять пудов, а и на обработку мешка уходит два с половиной часа.

— Удивительно говорите вы о нем, — сказал я.

Пекарь, сверкая белками умных глаз, спросил:

— Чего удивительно?

— Словно хвалитесь...

— Есть чем хвалиться! Ты раскуси: был он простой рабочий человечишко, а теперь перед ним квартальный шапку ломит!» По мнению пекаря, плохие разговоры о Василии Семенове объясняются тем, что «не любят, когда нашему брату удача приходит...

— Какой же он тебе брат?

Цыган не ответил... Все остальные молчат, точно их нет на земле».

Василия Семенова эти люди склонны рассматривать чуть ли не как «идеал». Он заражает их своим гнилостным цинизмом, презрением ко всему человеческому. Он *любит* развращать людей, например, с удовольствием вспоминает о том, как ему удалось споить и превратить в «золоторотца» студента: студент мечтал «служить правде», поэтому Семенов и начал растлевать его. С таким же наслаждением он развращает и своих рабочих, сознательно стремится сделать из них грязных скотов. И они тоже начинают чувствовать злобное наслаждение в загрязнении всего человеческого.

Многие из рабочих заражены сифилисом, капиталистический город оборачивается к ним главным образом своей развращающей стороной. В повести отражены особенности русской действительности — соединение всевластия капитала с азиатским деспотизмом царского режима, двойной пресс страдания: от развития капитализма и от недостаточности этого развития, от варварской «патриархальности», делавшей хозяина царем и богом и дававшей ему возможность фантастической эксплоатации. Василий Семенов говорит рассказчику:

«—... Намедни сказал ты в трактире газетчику, что у меня лари гнилые, тесто из них на пол текет, тараканов много, работники в сифилисе и грязь везде... Ну, написали в газете, пришла полиция, санитарный, — дал я им всем вместе двадцать пять целкачей и вот тебе, — он обвел рукою круг в воздухе над головой своей, — видал? Все, как было. Все тараканы целы. Вот тебе и газета, и наука, и совесть. И все это может обернуться против тебя, чудак сундырский! Тут во всем квартале полиция в моих калошах ходит, все начальство моими подачками питается — куда тебе! А ты — лезешь, таракан супротив собаки. Эх, даже и говорить с тобой скушно...»

Люди, работающие у Семенова, и в самом деле чувствуют себя тараканами. Семенов внушает им презрение к самим себе, заставляет их расценивать самих себя так, как он их расценивает:

«Тут все воры и хуже скота... просто — падаль!»

Они и в самом деле начинают смотреть на себя самих, как на какую-то «падаль». Не ценя своей собственной личности, каждый из них не ценит и товарища, жестоко обращается со слабым. В повести особенно мрачен следующий эпизод. Пекарь, по прозванию «Цыган», в отместку за издевательства хозяина отравил его свиней, которых Семенов любит «человеческой» любовью: свиньи — более дороги ему, чем любовница, они — самое милое в его жизни. Все ждут особенной лютой расправы хозяина, смертельных истязаний. И вот Цыган, в согласии с другими, решает свалить вину на одиннадцатилетнего мальчика Яшку, слабенького и болезненного, прозванного «Бубенчиком», за ясный и звонкий голосок, неустанно рассказывающий милые детские истории. Старик Кузин, который донес хозяину, что свиней отравили «Пашка да Артюшка», для того, чтобы отвести от себя гнев мастерской за ябедничество, «вдруг бросился на Яшку, ударил его по голове, сшиб на пол и, пиная ногами, заплясал над ним, точно молодой, легко и ловко:

— Это ты, ты, ты, стервец...»

В поднявшейся общей драке Бубенчику отшибли легкие.

Пашка Цыган совершенно спокойно относится к тому, что он и его взрослые товарищи собираются принести в жертву Бубенчика.

«— Что теперь буде-ет, у-ух ты, мать честная! Сбесится у нас хозяин! Сорвет он Яшке голову...

— При чем тут Яшка?

— Это уж так положено, — подмигнув объявил Цыган, — всегда в артели за больших маленькие отвечают...»

Откуда взяться «лучу света» в этом «темном царстве»? С точки зрения мещанина, — не откуда. «Цивилизованности» нет, христианское слово о «любви» и «всепрощении» сюда не доходит, варварство и дикость царят полновластно. Стремясь низвести рабочих на положение скотов, заразить их буржуазным скотством, буржуазия обычно кричит о варварстве и зверстве рабочих.

Гуманист прежнего типа нашел бы, конечно, «человеческое» и у рабочих Васи-

лия Семенова: он показал бы «проблески» доброты, жалостливости, отзывчивости и т. п. «Даже» и у таких людей есть человечность! — вот какой мотив звучал бы в таком изображении. При этом предполагалось бы, как само собой разумеющееся, что у людей «культурных», «цивилизованных» человечности несравненно больше... Был в прошлой литературе и другой мотив: «простой» народ противопоставлялся «культурному» обществу, как носитель настоящего этического начала. Великие художники прошлого прекрасно понимали высокую моральную силу трудового народа, облагораживающее значение труда. Эта моральная сила народа выступала у Толстого, как некое неподвижное, «извечное» начало, у Достоевского, — как проявление мистического народного «духа», некоей абстрактной народной «почвы» и т. п.

Горький перевернул все эти представления. Каким образом, вследствие каких причин пробуждается человечность у «потерявших облик», одичавших людей из мастерской Василия Семенова?

«Дня через два, ночью, посадив хлеб в печь, я заснул и был разбужен диким визгом: в арке, на пороге крендельной, стоял хозяин, истекая скверной руганью, — как горох из лопнувшего мешка, сыпались из него слова одно другого грязнее.

В ту же секунду с треском отлетела дверь из комнаты хозяина, и на порог, вскрикивая, выполз Сашка, а хозяин, вцепившись руками в косяк, сосредоточенно пинал его в грудь, в бока.

— Ой... убьешь... — вздыхал парень.

— Ать, ать, — спокойно выговаривал Семенов с каждым ударом и катил пред собою скрюченное тело, ловко сбивая Сашку с ног каждый раз, когда он пытался вскочить с пола.

Из крендельной выскакивали рабочие, молча сбиваясь в тесную кучу, — в сумраке утра лиц не видно было, но чувствовалось, что все испуганы. Сашка катился к их ногам, вздыхая:

— Братцы... убьет...

Они подавались назад, заваливаясь, точно сгнивший плетень под ветром, но вдруг откуда-то выскочил Артюшка и крикнул прямо в лицо хозяина:

— Будет!

Семенов отшатнулся. Сашка как рыба нырнул в толпу и исчез.

Стало очень тихо, и несколько секунд длилось это мучительное молчание, когда не знаешь, что победит — человек или животное?

— Это кто? — хрипло спросил хозяин, из-под руки присматриваясь к Артему и другую руку поднимая в уровень с его головой.

— Я! — слишком громко крикнул Артем, отступая; хозяин покачнулся к нему, но вперед вышел Осип и получил удар кулаком по лицу.

— Вот что, — мотнув головою и сплюнув, спокойно заговорил он, — ты — погоди, не дерись!

И тотчас на хозяина — пряча руки за спину, в карманы, за гашники — полезли Пашка, солдат, тихий мужик Лаптев, варщик Никита, все они высовывали головы вперед, точно собираясь бодаться, и все вперебой, неестественно громко кричали:

— Будет! Купил ты нас? Ага-а!? Не хотим!..

— Кто тебя обогатил? Мы! — кричал Артем, а Цыган точно по книге читал:

— И так ты и знай, что семи мешков работать мы не согласны...

Опустив руки, хозяин повернулся направо и молча ушел прочь, странно покачивая головою с боку на бок».

Так вспыхивает протест, «бунт» на предприятии Василия Семенова. Он вспыхивает стихийно, вызванный одной из особенно зверских расправ хозяина с подчиненными. В первоначальной редакции повести этот «бунт» был более организованным, он носил характер заранее условленного выступления. Между рассказчиком и пекарем Пашкой происходил такой разговор:

«...Цыган зашипел сквозь зубы:

— Работищи он взвалил,—чисто каторжникам!..

— А вы — откажитесь.

— От хлеба — не откажешься.

— Весна на дворе.

— Это — так... Рабочих теперь — не набрать... домой народ уходит...

Пашка быстро и смешно начал чесаться сразу в нескольких местах и, подмигивая мне хитрым глазом, шептал:

— Это — как ты говорил, а? Как у этого... как его? На фабриках, а? Чорт-те подери... А что, в самом-то деле, а? В случае ежели что... так я скажу — это твоя наука, ладно? Тебе ведь все равно!

Он рванулся в крендельную и там тотчас раздался его высокий звонкий голос:

— Ребята, Артюша, Осип... Стой! Долго ли нам терпеть, братцы родные...

Прибежал Артем и громким шопотом объявил:

— Решили...»

Приведенный отрывок был исключен автором в последующей редакции, быть может, по тем соображениям, что для 80-х годов характерны менее организованные, более стихийные вспышки возмущения. В таких произведениях, как «Враги» или «Мать», изображена борьба рабочего класса, уже имеющего свой авангард, хорошо знающего свои конечные цели. В этих произведениях горьковская тема — связь человечности с революционной борьбой — разрабатывается, как тема борьбы за социализм, за новое возрождение человечест-

ва. Но даже и стихийное выступление, вспыхнувшее на предприятии Василия Семенова, пробуждает человеческие мысли и чувства у людей, которые, казалось бы, «потеряли человеческий образ».

«Крендельная мирно и оживленно ликовала. Все настроились деловито, взялись за работу дружно, все смотрели друг на друга как бы новыми глазами — доверчиво, ласково и смущенно.

Лаптев с мешком муки на плече, стоя среди мастерской, говорил, облизываясь и чмокая:

— Вот оно что... вот как бывает, ежели дружно, артельно...»

Рабочие устраивают проводы рассказчику, который принужден уйти от Василия Семенова. Они собрались в трактире и пьют «за дружбу, за любовь—знакомство».

«Выпили и все смачно перецеловались, едва не свалив стол с посудой. У меня в груди — соловьи пели, и любил я всех этих людей до боли в сердце. Цыган поправил усы, кстати стер с губ остренькую усмешку, — и тоже сказал речь:

— Мать честная, до чего, иной раз, братцы, славно душа играет, чисто — гусли-мордовские! Намедни, когда все столь дружно взялись против Семенова и сегодня, вот — сейчас... Что можно сделать, а? Прямо — вижу я себя благородным человеком и — шабаш!.. И не могу никому вершка уступить! Говори мне что хошь, какую хошь правду, — нисколько не обижусь. Ругай: Пашка — вор, подлец! Не приму... Не поверю! Оттого и не осержусь, что не поверю! И — знаю способ жизни... Осип — про людей — это верно! Я, брат, так про тебя думал, что ты темного ума человек, а ты — нет! Ты — верно сказал: мы все люди достойные...

Варщик Никита тихонько и грустно сказал первые слова свои в это утро:

— Все — очень несчастные...

Но в общем говоре, веселом и дружном, эти слова остались незамеченными, как незаметен был среди людей и сам человек, сказавший их: уже пьяненький, он сидел в полудремоте, глаза его погасли, больное угловатое лицо напоминало увядший лист клена.

— Сила — в дружбе, — говорил Лаптев Артему».

Поняв свою с и л у, — а это понимание приходит только в борьбе, — рабочие Василия Семенова ощутили себя л ю д ь м и, а не «падалью». Они почувствовали уважение и любовь друг к другу. Дружба, доброта, забота друг о друге, умение видеть человека и товарища в том, кто работает вместе с тобой, — все это пришло к ним потому, что они поднялись на борьбу. Так ч е л о в е ч н о с т ь р о ж д а е т с я в б о р ь б е.

Толстой звал своих читателей к самоусовершенствованию, полагая, что, изолировавшись от влияния собственнического общества, вернувшись к своей «душе», люди обретут подлинную человечность. Достоевский думал, что люди слишком развращены буржуазными хищническими законами жизни и что поэтому человечность может родиться только в «очистительном» страдании.

Горький связал все проблемы гуманизма с борьбой рабочего класса. Он показал в своих произведениях не только противочеловеческую растлевающую сущность капитализма, — это показывали и до него великие гуманисты прошлой литературы.

В произведениях Горького раскрывалось, что только рабочему классу и идущему за ним трудовому человечеству присуща подлинная человечность, осознающаяся лишь в борьбе против буржуазного зверства. Разлагающий и проституирующий все на свете капитализм не может подавить человечность рабочего класса.

Буржуазному мышлению свойственно противопоставлять борьбу гуманизму (вспомним рассуждения Клима Самгина), потому что буржуа знает только «голую зверячью борьбу», как говорит герой горьковского рассказа «Карамора»; буржуа отождествляет гуманизм с сентиментализмом, который можно иногда себе позволить, как маску, прикрывающую зверство.

Буржуазия может развращать и покупать отдельных лиц, но даже и это обстоятельство обостряет самосознание массы трудящихся, помогает ей отчетливее видеть грани между н а с т о я щ и м ч е л о в е к о м и трусом или карьеристом, способным к предательству.

В повести «Хозяин» наряду с темой п р о б у ж д е н и я ч е л о в е ч н о с т и у рабочих развивается тема р а с п а д а ч е л о в е ч н о с т и у буржуазии.

В образе «хозяина» Василия Семенова с замечательной силой изображен распад человеческой личности. Читатель, проникая в тайники разлагающейся «души», чувствует себя на дне темной ямы, в которой догнивает то, что было человеком. Процесс разложения еще не совсем завершился: бывший еще не так давно рабочим Василий Семенов еще тоскует о чем-то, смутно чувствует утерю чего-то, самого важного. Он сравнивает себя с волком: «Волчья жизнь! Зима и темная ночь. Лес, да снег. Овцу задрал, — сыт, а — скушно! Сидит и воет...»

«Ч е л о в е ч е с к о е» у Василия Семенова проявляется в общении не с людьми, а со... свиньями. Лаская свиней, Василий Семенов, с его угрюмым, опухшим и заплывшим лицом, становится каким-то «новым и любопытным» — жутковато смот-

реть, как неожиданно оживляется его мертвое лицо, как просыпается в «хозяине» далекий отзвук, воспоминание о жизни. Отвратительно избивающий людей, Семенов нежно ласкает своих огромных иоркширов.

«...Я стою в сенях и сквозь щель смотрю во двор: среди двора на ящике сидит, оголив ноги, мой хозяин, у него в подоле рубахи, десятка два булок. Четыре огромных иоркширских борова, хрюкая, трутся около него, тычут мордами в колени ему, — он сует булки в красные пасти, хлопает свиней по жирным, розовым бокам и отечески ласково ворчит пониженным, незнакомым мне голосом:

— У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят? На, на, на...

Его толстое лицо расплылось в мягкой полусонной улыбке, серый глаз ожил, смотрит благожелательно, и весь он какой-то новый...

Боров ткнул его рылом в бок, — Семенов покачнулся на ящик и сладостно захохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза утонули в толстых складках кожи.

— Отшельнички-шельмочки! — взвизгивал он сквозь смех. — В темноте... во тьме живут, а — вот они — чхо, чхо! Во-от они-а! Затворнички, угоднички мои-и...

Свиньи отвратительно похожи одна на другую, — на дворе мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный с насмешливой, оскорбляющей точностью. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, они наскакивают на человека, сердито взмахивая седыми ресницами маленьких ненужных глаз, — я смотрю на них и точно кошмар давит меня.

Подвизгивая, хрюкая и чавкая, иоркширы суют тупые, жирные морды в колени хозяина, трутся о его ноги, о бока — он, тоже взвизгивая, отмахивает их одной рукой, а в другой у него булка, и он дразнит ею боровов, то — поднося ее близко к пастям, то — отнимая, и трясется в ласковом смехе, почти совершенно похожий на них, но еще более жуткий, противный и — любопытный».

Эта сцена в самом деле воспринимается как кошмар, и, разумеется, вовсе не потому, что свиньи как-то особенно противны. Картина кормления свиней в повести «Хозяин» изображает человека, становящегося скотом и любующегося своей животностью. Любовь Василия Семенова к своим свиньям есть его любовь к своему собственному скотству, в его нежности к свиньям слышится злорадное удовлетворение отъединенностью от людей и от всего людского. Здесь есть нечто родственное ласковому обращению Федора Павловича Карамазова к своим сыновьям, когда он обучает их тому, что в дурнушках и «моветошках» есть особенная сладострастная прелесть: «Эх вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие...» В обоих случаях перед нами — любование своей собственной животностью...

Василию Семенову доставляет сладострастное удовольствие оскотинивать людей, заставлять их чувствовать самих себя хуже скотов. Поэтому в наказаниях, которые он придумывает для провинившихся рабочих, — ухаживать за свиньями, загонять их в хлев — рабочие чувствуют особую унизительность, издевательство над человеческой природой. Свинья однажды удрала на улицу. Рабочие, с трудом поймав ее, несли свинью на рогоже, «к великой забаве жителей», образовавших толпу провожатых; «черненький, ловкий студентик, сняв фуражку, сочувственно и громко спросил Артема, указывая глазами на верещавшую свинью:

— Мамаша или сестрица?

— Хозяин! — ответил усталый и злой Артем».

Портрет «хозяина» Василия Семенова становится обобщенным образом скотской сущности буржуазии — классическим образом буржуазного свинства. В богатой горьковской галлерее портретов «хозяев» вчерашней русской жизни каждый отдельный портрет глубоко индивидуален. Но в каждом из них так или иначе проходит тема неизбежности озверения человека, живущего эксплоатацией чужого труда. Вспомним, к примеру, рассказ «Три дня». Герой его — молодой кулацкий парень, сын мельника, мечтающего о смерти отца. Он еще не «хозяин», он еще способен на кое-какие человеческие переживания, даже на дружбу с бедняком и с учителем — лучшими людьми в деревне; есть еще человеческое и в его любовных отношениях, но над всем этим уже нависает хозяйское звериное. Заболевает и умирает мельник (отчасти при содействии сына — он не едет и не посылает во-время за врачом) — и перед нами уже почти готовый, сложившийся зверь, хищник. Автор раскрывает всю перспективу жизни своего героя. Новый «хозяин» поддался было мыслям о том, что ведь можно жить иначе, чем отец, более человечно; но вся обстановка вокруг него, его реальное место в жизни, складывающиеся, даже против его воли, отношения с людьми, их враждебность к нему, своекорыстие, которое он угадывает в своей невесте, — все это ясно показывает ему «бессмысленность мечтаний» молодости; и

он трезво думает о том, как будет он вытягивать жилы из людей, бить и унижать их, в том числе и будущую свою жену, он прогоняет появившееся было желание простить людям их долги его отцу. Он ясно осознает, что если ты — «хозяин», так и будь им, что иначе просто нельзя. Рассказ кончается тем, что герой его «плакал последними человеческими слезами»... Впрочем слезы эти не столько трагичны, сколько злобны и сентиментальны.

«Собственность разъединяет и превращает людей в зверей, а труд объединяет», писал Ленин (т. XXV, стр. 420, изд. 3-е).

ЛЮДИ И НЕ-ЛЮДИ

Объединяя рабочих на фабриках и заводах, капитализм способствует сплочению их для борьбы в ходе которой создается новая, высокая, подлинная человечность. Этой теме целиком посвящено одно из наиболее значительных произведений Горького — пьеса «Враги». В ней показано, как в ходе борьбы вырастают героизм, самопожертвование у рядовых людей рабочего класса. Пьеса замечательна не только тем, что в ней впервые в мировой литературе рабочий класс предстал, как сознательная могучая, дисциплинированная армия, хорошо знающая свои цели, ведущая наступление под руководством опытного командного состава (в той борьбе, которая изображена во «Врагах», организованное выступление пролетариата осложняется нежелательными формами стихийного возмущения, но в целом выступление проходит под руководством большевиков). Пьеса «Враги» замечательна еще и тем, что в ней впервые борьба между рабочим классом и буржуазией предстала со стороны ее гуманистического содержания, как борьба двух совершенно различных миров, говорящих на разных языках и просто не могущих найти общего языка, потому что на одной стороне — люди, а на другой — не-люди, отщепенцы, давно утратившие все человеческое. Это является лейтмотивом пьесы. Он звучит уже в самом начале ее, являясь здесь пока в сравнительно «облегченной» форме — в трагической и одновременно комической теме генерала и «Коня», а затем, усиливаясь и углубляясь, он звучит, как величественная тема борьбы человеческого со звериным, очистки «человеческой земли» от власти человекоподобных.

Генерал находится в состоянии старческого маразма, он уже не способен прикрывать внешним лоском свою внутреннюю сущность, и она грубо и откровенно вылезает из каждого его слова. Все содержание прожитой им жизни обнажается в детски беспомощной, старчески откровенной, «незащищенной» форме. Стариков в таком состоянии обычно жалеют, уважают за то, что они прожили большую жизнь, сделали в ней то, что положено было им сделать, окружающие стараются тактично не замечать проявлений дряхлости. Таково, например, в «Войне и мире» отношение окружающих к старухе Ростовой, впадающей в детство.

Но как можно жалеть такую «беспомощность», такую старость, как у генерала?

Своего денщика, который состарился, прожив жизнь бок о бок с ним, генерал называет «Конем» и относится к нему, как к дрессированной лошади, которая должна уметь и забавлять и служить.

Яков Бардин говорит: «А вот Конь никого не жалеет, он только философствует. Философствуют — обиженные. Чтобы солдат задумался, его надо сильно обидеть,— так, Конь? (в палатке раздается крик генерала: «Конь! Эй!»). Вас сильно намучили, оттого вы и умный?

Конь (идет). Я как увижу генерала, то и сам снова дураком становлюсь...»

Окружающих генерал развлекает такими сценами:

«...Конь, отвечай урок: Что есть солдаты?

Конь (скучно). Как угодно начальству, ваше превосходительство!

Генерал. Может солдат быть рыбой, а?

Конь. Солдат должен все уметь...

Татьяна. Милый дядя, вы и вчера забавляли нас этой сценой... Неужели — каждый день?

Полина (вздыхая). Каждый день, после купанья.

Генерал. Каждый день, да! И всегда разное — обязательно! Он, старый шут, должен сам выдумывать ответы и вопросы.

Татьяна. Вам это нравится, Конь?

Конь. Его превосходительству нравится.

Татьяна. А вам?

Конь. Мне не очень... Стар я для цирка... ну, а терпеть надо, когда есть нужно...

Генерал. А! Хитрая каналья! Кругом марш... раз-два!»

Любопытно, что генерал в сущности «беззлобно» издевается над Конем: он просто иначе не умеет, не может относиться к человеку по той простой причине, что у него нет никаких человеческих представлений. Когда Татьяна спрашивает его: «Вам не скучно издеваться над стариком?», генерал отвечает: «Я сам старик! А вы сами скучная... Актриса должна смешить, а вы что? Генерал органически не способен понять, что его отноше-

ние к человеку — скотское, как говорит старик-рабочий Левшин о полицейском: «Должность такая, обижающая человека». Суть дела не в какой-то особой злобности генерала, а в том, что он представляет систему, строй жизни, «обижающий человека», суть дела в том, что генерал, как говорит печник Чмырев в горьковском рассказе «Пожар» о лавочнике Братягине, «экзамента на человека не сдавал». Объективизм — не в смысле беспристрастия, а в том смысле, что действия и поступки мучителя выводятся не из особой «извращенности», «любви к мучительству», как у Достоевского, а из объективных законов, превращающих представителей собственнических классов в зверей,— такой «объективизм» составляет характерную черту «Врагов». Дело не в «добрых» и «злых», а в том, что и «добрые», как либеральный Захар Бардин, и «злые», как Михаил Скроботов, — все они «хозяева», а в этом положении не может быть места для человечности...

Еще недавно генерал, вроде Михаила Скроботова, хлопотал, действовал, муштровал; сейчас, в старости, он хочет «отдыхать» и «забавляться». Рабочие Левшин и Ягодин слышат разговор генерала с конторщиком Пологим:

«Генерал. Или протянуть через дорогу веревку... так, чтобы ее не видно было... идет человек и вдруг — хлоп!

Пологий. Приятно видеть, когда человек падает, ваше превосходительство!

Ягодин. Слышишь?

Левшин. Слышу.

Конь. Сегодня этого нельзя ничего — покойник в доме. При покойнике не шутят.

Генерал. Не учить меня! Когда ты умрешь, я плясать буду!..

Левшин. Стар человек!»

Левшин сам стар, но его старость, как и старость Коня, — человеческая... Все забавы генерала носят характер издевательский: это единственный вид юмора, доступный ему и могущий вызвать у него удовольствие.

В том, что своего денщика генерал называет Конем и относится к нему, как к животному, выражено в почти символической, обобщенной форме отношение эксплоататорских классов к трудящимся. Относясь к рабочему, как к скотине, буржуазия проявляет в этом свою собственную животную сущность.

«Когда солдат рекрут, — говорит генерал, — он хитрое животное — хитрое, ленивое и глупое. Офицер влезает ему в душу и там все поворачивает по-своему, чтобы сделать из животного человека, разумного и преданного долгу...»

«Сделать из животного человека», в понимании генерала, так же как и в понимании Игната Гордеева, Василия Семенова, Михаила Скроботова и всех «хозяев», — значит сделать из человека... коня, послушное, домашнее животное. Проявление у рабочих подлинных человеческих чувств — сознания своего достоинства, смелости, независимости — «хозяевам» кажется... «зверством». Когда арестованный большевик Синцов требует от жандармов прекратить грубости и выражает это требование в спокойной и решительной форме, генерал пугается: «Это должно быть, зверь, а? Как он... рычит, а?» Точно так же старик Бессеменов в «Мещанах» говорит Нилу: «Ты — зверь».

Фигура генерала выполняет во «Врагах» функцию, родственную функции Епиходова в «Вишневом саду»: в комической форме она раскрывает подлинную сущность «серьезных» персонажей и их драм... Генерал не только комичен и жалок, он еще и отвратителен и, пожалуй, страшен обнаженностью своей дикости. Для Горького введение такой своеобразно комической фигуры в драму глубоко закономерно. В «Беседах о ремесле» Горький писал, что собственнический мир представляется ему «чудовищной трагикомедией», в которой «роль главной героини играет «жадность собственника»... «Трагикомедия» — не описка, — подчеркивал Горький, так и читать: трагикомедия. «Трагедия» — это слишком высоко для мира, где почти все «страдания» возникают в борьбе за право собственности на человека, на вещи... Мещанин, даже когда он «Скупой рыцарь», все-таки не трагичен, ибо страсть к монете, к золоту — уродлива и смешна. Вообще в старом, мещанском мире смешного столько же, сколько мрачного. Плюшкин и отец Гранде Бальзака — нимало не трагичны, они только отвратительны... Трагедия совершенно исключает пошлость... Когда в зоологическом парке дерутся обезьяны, — разве это трагедия?»

«Трагическое» по внешнему виду столкновение между фабрикантом Захаром Бардиным и его супругой, с одной стороны, и братом убитого компаньона Бардиных Скроботова и его вдовы, с другой, — столкновение, в котором вторая сторона обвиняет первую в убийстве: вы, мол, подвели под пулю вашим «либерализмом»! Это столкновение содержит в себе столько пошлого, что никак не является трагическим: оно по сути своей — драка между обезьянами...

Горький нередко возвращался к своей мысли об уродливо-смешной сущности «человекоподобных». В одной из статей о детской литературе он писал: «Дети должны знать уродливо-смешную жизнь миллионера, забавную жизнь чиновников цер-

освободить пролетариат всего мира от позорного, кровавого, безумного гнета капиталистов, научить людей не считать себя товаром, который продается-покупается, сырьем для фабрикации золота и роскоши мещан. Капитализм насилует мир, как дряхлый старик молодую, здоровую женщину, оплодотворить ее он уже не может ничем, кроме старческих болезней. Задача пролетарского гуманизма не требует лирических изъяснений в любви, — она требует сознания каждым рабочим его исторического долга, его права на власть, его революционной активности, особенно необходимой накануне новой войны, затеваемой капиталистами против него — в конечном счете.

Гуманизм пролетариата требует неугасимой ненависти к мещанству, к власти капиталистов... ненависти ко всему, что заставляет страдать, ко всем, кто живет на страданиях сотен миллионов людей».

Горький художественно открыл исторический факт полной утраты человечности у эксплоатирующих классов и их агентов в эпоху упадка и гниения буржуазного строя.

Капитализм разрушал все традиционные человеческие представления. Он зверски и цинично разрушал святость любви, дружбы, семьи и т. п. При этом он являлся, на заре своего существования, огромным шагом вперед в развитии техники, в подъеме производительности общественного труда. Но когда он стал тормозом прогресса, у него не осталось ничего, кроме всеобъемлющего цинизма и зверства. Современные защитники и агенты капитализма являются совершенно выхолощенными, опустошенными существами, без связи с человечеством, без человеческих чувств дружбы, любви, чести, без стремления к творчеству, к труду — без всего того, что составляет человечность. Образ такого «человека» Горький дал в Климе Самгине. Под прикрытием «гуманистической», «демократической» и «социалистической» словесности прячется агент капитализма, типа современных Блюмов и других лидеров «соглашательства», готовый на любую подлость, на любое преступление. Агенты капитализма, человекоподобные, обладают только страхом перед рабочим классом и ненавистью к нему, а также умением оперировать фразеологией, прикрывающей эту их подлинную сущность. Из всего векового наследства капитализма современные защитники буржуазного мира сохранили только технику истребления людей, только кровь и грязь.

Мы знаем, что если бы Горький жил в наши дни, его протест против новых преступлений мировой буржуазии, против затеянной ею второй империалистической бойни, против лакейства услужающих «социалистов», — гремел бы во всем мире.

Человекоподобные гады из троцкистско-бухаринской банды убили Горького, выполнив волю мировой буржуазии. Кровавые обезьяны праздновали в своем кругу смерть великого человека.

Но и жизнь и смерть Горького зовут людей всех стран объединиться еще теснее для борьбы с чудовищами обреченной на скорую гибель буржуазии, со всеми ее слугами и лакеями, со всем, кто живет на страданиях сотен миллионов людей.

И. Лежнев

РЫЦАРЬ ПРАВДЫ

(О творческом пути В. М. Гаршина)

1

Писатель-народник Н. Е. Каронин-Петропавловский говорил молодому А. М. Горькому: «Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!»

Сам Горький писал о представителях русской литературы прошлого века: «Как человек, как личность, писатель русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе, к усталому в труде народу грустной своей земли. Это был честный боец, великомученик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с душою прозрачной, как слеза, и яркой, как звезда бледных небес России».

В другом месте, вспоминая о Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове-Щедрине, Герцене, Горький сказал о русском писателе, что это — «лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви, сосуд живой...»

«Святое дитя», «дитя в отношении к людям», «святой сосуд» — эти нежные и трогательные слова более всего применимы к Гаршину.

Всеволод Михайлович Гаршин прожил недолгую жизнь: он умер, имея всего 33 года отроду. Первый его рассказ «Четыре дня» появился в печати в 1877 году, а умер Гаршин в 1888 году. Вся жизнь его в литературе измеряется одиннадцатью годами. Но тяжелый недуг (психическая болезнь) и служба, сперва военная, а затем гражданская, вырывали целые годы из этого — и без того короткого — срока творческой жизни.

В ту пору, во второй половине 70-х и 80-е годы, литературный труд не давал достаточных средств к жизни даже такому замечательному писателю, как Гаршин. И это вынуждало его искать себе заработка вне литературы, нести канцелярскую службу. А болезнь держала писателя в своем плену так неотступно, что угнетала его депрессией, подавленным состоянием духа даже в те годы и месяцы, когда он был, казалось, совсем здоров. Болезнь была наследственной — два брата Гаршина покончили самоубийством. Самого писателя, начиная со школьной скамьи, время от времени охватывали приступы душевной болезни, так что и в периоды просветления и здоровья он бывал в постоянной тревоге, в ожидании нового приступа, который вот-вот разразится над его головой. Может ли быть состояние более мучительное!..

Писал Гаршин с большим трудом, вкладывая в творчество всего себя, глубоко переживая каждую мысль и образ. В дружеском письме (к В. Н. Афанасьеву) он с полной откровенностью признается: «Хорошо или нехорошо выходило написанное — это вопрос посторонний; но что писал я в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови — то это, право, не будет преувеличенным».

Литературное наследие Гаршина, естественно, невелико по размерам. Но все написанное им, начиная с рассказа и кончая стихотворением в прозе, занимающим всего только несколько строк, исполнено трепетом жизни, глубиной мысли и чувства, волнует читателя и по сегодняшний день.

Впечатляющая сила рассказов Гаршина состоит в их большой внутренней значительности, в предельной искренности, в скупости слова и четкости рисунка. С огромной ответственностью относился Гаршин к призванию писателя, да и слишком трудно давалось ему каждое написанное слово. Он брался за перо только тогда, когда имел сказать нечто действительно значительное. Это мог быть выстраданный писателем ответ на волновавшую его проблему или (чаще всего) постановка большого вопроса — вопроса жизни, правды, совести.

В рассказе «Надежда Николаевна» трогательно чистый человек, как и сам Гаршин, «святое дитя», художник-горбун Гельфрейх говорит о своем замысле новой картины. Он хочет изобразить Илью Муромца, который сидит в темном подвале над

освободить пролетариат всего мира от позорного, кровавого, безумного гнета капиталистов, научить людей не считать себя товаром, который продается-покупается, сырьем для фабрикации золота и роскоши мещан. Капитализм насилует мир, как дряхлый старик молодую, здоровую женщину, оплодотворить ее он уже не может ничем, кроме старческих болезней. Задача пролетарского гуманизма не требует лирических изъяснений в любви, — она требует сознания каждым рабочим его исторического долга, его права на власть, его революционной активности, особенно необходимой накануне новой войны, затеваемой капиталистами против него — в конечном счете.

Гуманизм пролетариата требует неугасимой ненависти к мещанству, к власти капиталистов... ненависти ко всему, что заставляет страдать, ко всем, кто живет на страданиях сотен миллионов людей».

Горький художественно открыл исторический факт полной утраты человечности у эксплоатирующих классов и их агентов в эпоху упадка и гниения буржуазного строя.

Капитализм разрушал все традиционные человеческие представления. Он зверски и цинично разрушал святость любви, дружбы, семьи и т. п. При этом он являлся, на заре своего существования, огромным шагом вперед в развитии техники, в подъеме производительности общественного труда. Но когда он стал тормозом прогресса, у него не осталось ничего, кроме всеобъемлющего цинизма и зверства. Современные защитники и агенты капитализма являются совершенно выхолощенными, опустошенными существами, без связи с человечеством, без человеческих чувств дружбы, любви, чести, без стремления к творчеству, к труду — без всего того, что составляет человечность. Образ такого «человека» Горький дал в Климе Самгине. Под прикрытием «гуманистической», «демократической» и «социалистической» словесности прячется агент капитализма, типа современных Блюмов и других лидеров «соглашательства», готовый на любую подлость, на любое преступление. Агенты капитализма, человекоподобные, обладают только страхом перед рабочим классом и ненавистью к нему, а также умением оперировать фразеологией, прикрывающей эту их подлинную сущность. Из всего векового наследства капитализма современные защитники буржуазного мира сохранили только технику истребления людей, только кровь и грязь.

Мы знаем, что если бы Горький жил в наши дни, его протест против новых преступлений мировой буржуазии, против затеянной ею второй империалистической бойни, против лакейства услужающих «социалистов», — гремел бы во всем мире.

Человекоподобные гады из троцкистско-бухаринской банды убили Горького, выполнив волю мировой буржуазии. Кровавые обезьяны праздновали в своем кругу смерть великого человека.

Но и жизнь и смерть Горького зовут людей всех стран объединиться еще теснее для борьбы с чудовищами обреченной на скорую гибель буржуазии, со всеми ее слугами и лакеями, со всем, кто живет на страданиях сотен миллионов людей.

И. Лежнев

РЫЦАРЬ ПРАВДЫ

(О творческом пути В. М. Гаршина)

I

Писатель-народник Н. Е. Каронин-Петропавловский говорил молодому А. М. Горькому: «Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!»

Сам Горький писал о представителях ...кой литературы прошлого века: «Как ...ловек, как личность, писатель русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе, к усталому в труде народу грустной своей земли. Это был честный боец, великомученик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с душою прозрачной, как слеза, и яркой, как звезда бледных небес России».

В другом месте, вспоминая о Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове-Щедрине, Герцене, Горький сказал о русском писателе, что это — «лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви, сосуд живой...»

«Святое дитя», «дитя в отношении к людям», «святой сосуд» — эти нежные и трогательные слова более всего применимы к Гаршину.

Всеволод Михайлович Гаршин прожил недолгую жизнь: он умер, имея всего 33 года отроду. Первый его рассказ «Четыре дня» появился в печати в 1877 году, а умер Гаршин в 1888 году. Вся жизнь его в литературе измеряется одиннадцатью годами. Но тяжелый недуг (психическая болезнь) и служба, сперва военная, а затем гражданская, вырывали целые годы из этого — и без того короткого — срока творческой жизни.

В ту пору, во второй половине 70-х и 80-е годы, литературный труд не давал достаточных средств к жизни даже такому замечательному писателю, как Гаршин. И это вынуждало его искать себе заработка вне литературы, нести канцелярскую службу. А болезнь держала писателя в своем плену так неотступно, что угнетала его депрессией, подавленным состоянием духа даже в те годы и месяцы, когда он был, казалось, совсем здоров. Болезнь была наследственной — два брата Гаршина покончили самоубийством. Самого писателя, начиная со школьной скамьи, время от времени охватывали приступы душевной болезни, так что и в периоды просветления и здоровья он бывал в постоянной тревоге, в ожидании нового приступа, который вот-вот разразится над его головой. Может ли быть состояние более мучительное!..

Писал Гаршин с большим трудом, вкладывая в творчество всего себя, глубоко переживая каждую мысль и образ. В дружеском письме (к В. Н. Афанасьеву) он с полной откровенностью признается: «Хорошо или нехорошо выходило написанное — это вопрос посторонний; но что писал я в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови — то это, право, не будет преувеличенным».

Литературное наследие Гаршина, естественно, невелико по размерам. Но все написанное им, начиная с рассказа и кончая стихотворением в прозе, занимающим всего только несколько строк, исполнено трепетом жизни, глубиной мысли и чувства, волнует читателя и по сегодняшний день.

Впечатляющая сила рассказов Гаршина состоит в их большой внутренней значительности, в предельной искренности, в скупости слова и четкости рисунка. С огромной ответственностью относился Гаршин к призванию писателя, да и слишком трудно давалось ему каждое написанное слово. Он брался за перо только тогда, когда имел сказать нечто действительно значительное. Это мог быть выстраданный писателем ответ на волновавшую его проблему или (чаще всего) постановка большого вопроса — вопроса жизни, правды, совести.

В рассказе «Надежда Николаевна» трогательно чистый человек, как и сам Гаршин, «святое дитя», художник-горбун Гельфрейх говорит о своем замысле новой картины. Он хочет изобразить Илью Муромца, который сидит в темном подвале над

евангелием. Тусклый пламень свечи освещает красные и черные литеры. Илья читает и, читая, недоумевает, протестует, спорит с богом: «Если ударят в правую щеку подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости...» И Гельфрейх говорит от себя: «Поставлю этот вопросительный знак. Илья и евангелие! Что общего между ними? Для этой книги нет большего греха, как убийство, а Илья всю жизнь убивал. И ездит-то он на своем жеребчике, весь обвешанный орудиями казни — не убийства, а казни, ибо он казнит. А когда ему нехватает этого арсенала или его нет с ним, тогда он в шапку песку насыпает и им действует. А ведь он святой...»

И Гельфрейх доказывает, что каждая картина, написанная художником, — вопрос, что в этом и есть смысл творчества.

Слова Гельфрейха — близкие, родные самому автору. Десятки раз и в художественной своей прозе, и в статьях, и в письмах Гаршин возвращается к той же мысли, протестует против так называемого «чистого» искусства, издевается над художниками, которые создают одни лишь ласкающие глаз картинки, называет их «фабрикантами стенных украшений», протестует против бездумной фотографичности в искусстве, против «натурализма и боборыкизма».

В стихотворении «На первой выставке картин Верещагина» Гаршин иронизирует над нарядной публикой, которая, проходя по залам выставки, болтает меж собой:

Ах, милая, постой!
Regarde, Lili,
Comme c'est joli!
Как это мило и реально,
Как нарисованы халаты натурально.

И о том же самом говорит он в статье: «Конкурс на постоянной выставке художественных произведений»: «Миленькая вещица модного живописца, ну, отчего же ее и не купить? И пишите, г. Клевер, ваши вещи так, чтобы они были «миленькие». Пишите повкуснее, поярче, покрасивее, украшайте природу, как умеете. Делайте, словом, так, чтобы, останавливаясь перед вашей вещью, изящные барышни непременно произносили бы: «Ah c'est joli!» и дело в шляпе. Вы дойдете до г. Айвазовского».

Тот же мотив проходит и в рассказе «Художники», где изображены, с одной стороны, бездумный пейзажист, приверженец «чистого» искусства Дедов, а с другой — художник, проникнутый драматизмом исканий, Рябинин, для которого его художественное полотно «это — не написанная картина, это — созревшая болезнь». Он работает над ней мучительно, она душит его кошмаром, доводит до грани безумия, а когда она закончена, он заболевает горячкой.

Рябинин, как и Гельфрейх, — это сам Гаршин.

О передовой интеллигенции 70-х годов Плеханов говорил, что она «постоянно возбужденная и готовая на все ради народного блага». Именно этим пафосом охвачено все творчество Гаршина.

В своей автобиографии он рассказывает, что с самого раннего возраста воспитывался на чтении «Современника» и других журналов. «До какой степени свободен был я в чтении, — говорит он, — может показать факт, что я прочел «Собор Парижской богоматери» Гюго в семь лет (и перечитав его в 25, не нашел ничего нового), а «Что делать?» читал по книжкам в то самое время, когда Чернышевский сидел в крепости. Это раннее чтение было, без сомнения, очень вредно». В годы гимназической учебы Гаршин с большим увлечением читал «Азбуку социальных наук» Берви-Флеровского и речи Лассаля к германским рабочим. В студенческие годы он читает «Исторические письма» Лаврова. Все это книги, пользовавшиеся большой популярностью в кругах революционных разночинцев, книги, на которых воспитывалась тогдашняя передовая молодежь.

Острый интерес к общественным вопросам был пробужден в Гаршине с самых ранних лет уже в родной его семье. Мать Всеволода Михайловича, Екатерина Степановна, разошлась с мужем и сблизилась с воспитателем старших братьев Гаршина П. В. Завадским, членом харьковского революционного тайного общества. Впоследствии Екатерина Степановна, поддерживавшая знакомство с революционными кругами 60-х годов, дважды подвергалась обыску и находилась под строгим надзором полиции. П. В. Завадский был сослан в Петрозаводск, и Гаршин в гимназические годы ездил к нему из Петербурга и провел у него два лета. Все это, несомненно, должно было оказать сильное влияние на формирование личности и взглядов молодого Всеволода.

Что же творилось в душе этого впечатлительного мальчика? Как воспринимал он разнообразные воздействия окружавшей его с детства среды?

В одном из рассказов Гаршина — «Ночь» — воспроизведен разговор шестилетнего мальчика со своим отцом. Разговор шел об евангелии:

«— И кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую. Понимаешь, Алеша?

И отец начинал долгое объяснение, которое Алеша не слушал. Он вдруг перебивал своего учителя:

— Папа, помнишь дядя Дмитрий Иванович приезжал? Вот тогда точно так было: он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит; и дядя Дмитрий Иванович его с другой стороны ударил; Фома все стоит. Мне его жалко стало, и я заплакал».

Творчество Гаршина в большой мере автобиографично, и есть основание полагать, что сцену, похожую на описанную, он наблюдал в детстве, и вот уже в детской душе возникает вопрос: как согласуются евангелие, церковь, официально проповедуемая нравственность с крепостным рабством?

В 1861 году, когда Гаршину было шесть лет отроду, состоялось так называемое «освобождение» крестьянства. Мы знаем, как мало улучшило оно крестьянскую долю. «Ни в одной стране в мире, — писал Ленин, — крестьянство не переживало и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надругательства, как в России» (т. XV, стр. 109). И потому вопрос, который поставил шестилетний Алеша в рассказе «Ночь», не утратил своей остроты и для взрослого Гаршина. Та же жалость, те же слезы продолжают терзать его грудь.

Знакомая уже нам картина повторяется и в рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова», только безответного Фому заменяет безответный солдат, а дядю Дмитрия Ивановича — просвещенный офицер Венцель.

«...Стрелки стояли во фронте. Венцель, что-то хрипло крича, бил по лицу одного солдата. С помертвелым лицом, держа ружье у ноги и не смея уклоняться от ударов, солдат дрожал всем телом. Венцель изгибался своим худым и небольшим станом от собственных ударов, нанося их обеими руками то с правой, то с левой стороны. Кругом все молчали; только и было слышно плесканье да хриплое бормотанье разъяренного командира...

Удары сыпались. По верхней губе и подбородку солдата текла кровь. Наконец, он упал. Венцель отвернулся, окинул глазами всю роту и закричал:

— Если еще кто-нибудь посмеет курить во фронте, хуже изобью канальей. Поднять его, обмыть рожу и положить в палатку. Пусть отлежится. Составь! — скомандовал он роте.

Руки у него тряслись, были красны, пухлы и в крови. Он вынул платок, вытер руки и пошел прочь от составлявших ружья в козлы и тяжело молчавших солдат...»

Как мало ни написал Гаршин, но почти каждый его рассказ клокочет негодованием против поработителей народа, клеймит насильников и эксплоататоров, обличает то или иное общественное зло.

Мы видели только что, можно сказать, «во всей красе» «просвещенного» офицера Венцеля. Да он и действительно образован, хорошо знает иностранные языки, с чувством декламирует Альфреда де-Мюссе, с энтузиазмом говорит о Шиллере, Гете, Шекспире, прилежно следит за русской литературой, только, конечно, не жалует писателей-разночинцев и демократов. Их, как он выразился, «сиволапое направление» ему не по душе.

А вот другой «просвещенный» человек, инженер и архитектор Кудряшев из рассказа «Встреча». Этот «починяет себе карман» при помощи казнокрадства, строит воображаемую плотину на Черноморском побережье, рвет крупные куши и совершенно цинично говорит об этом: «Разве я один... как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг, самый воздух — и тот, кажется, тащит... Все берут с жизни, что могут, а не относятся к ней платонически...» Тридцать тысяч рублей ворованных денег израсходовал Кудряшев на свой аквариум. Он любуется тем, как крупная хищная рыба глотает мелкую. Тут говорит он о дарвиновом законе борьбы за существование и этим законом пытается оправдать собственное свое хищничество: «Ну, я и упразднил их, угрызения эти, и стараюсь подражать этой скотине».

Рядом с Кудряшевым — встретившийся ему на Крымском курорте школьный товарищ Василий Петрович. Этот приехал сюда учительствовать в местной гимназии. Он мечтает о том, как бы сколотить тысченку поскорей, да перевести сюда свою невесту, да жениться, да построить себе уютное гнездышко. Он — завзятый мещанин и обыватель, прикрывающий житейскую мечту о благоустройстве кисло-сладкими словами о «малых делах» — о культуртрегерстве, о просвещении, о борьбе с «игом тьмы», о «добрых семенах», которые он заронит в души своих воспитанников. И Гаршин, негодуя против ренегата и хищника Кудряшева, иронизирует и над Василием Петровичем, — этот в силах только вяло возражать Кудряшеву.

Против эксплоатации рабочих Гаршин протестует в рассказе «Художники». Во

время своей прогулки по металлургическому заводу художник Рябинин в котельном цехе увидел работу глухаря, который, сидя в котле, держит заклепки клещами, упирая их в грудь. А снаружи непрерывно сыпятся удары молота, отдаваясь в подставленной рабочим груди и в его ушах. От этого каторжного труда рабочие глохнут, потому их и прозвали глухарями. Рябинин потрясен виденным, сам забирается в котел и вылезает оттуда бледный и расстроенный. Он горячо принимается писать картину на ту же тему: она-то и была его «созревшей болезнью».

Картина написана, и Рябинин в немом ужасе смотрит на нее: «Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклокоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе».

Картина вырастает в символ. Она кричит о чудовищном рабстве наемного труда, о каторжных условиях этого труда, о капитале, который пьет кровь и иссушает кости людей, о его физической власти над грудью, сердцем и самой жизнью труженика-пролетария. Только огромная сила чувства, обостренная нервность восприятия в сочетании с высоким художественным даром позволили Гаршину создать такой четкий, пластичный, впечатляющий во всех своих подробностях образ.

В большом творческом подъеме, в предчувствии надвигающейся горячки, Рябинин обращается к своему созданию, к измученной фигуре на полотне: «Я вызвал тебя... из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: я — язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...»

Когда читаешь эти строки, невольно вспоминаешь другого писателя, несравненно более близкого нам и по времени и по мировоззрению — великого пролетарского писателя А. М. Горького. С такой же страстью обличал он «язву растущую» капиталистического свинства, с такой же пытливостью ищущей души и любовью к правде ставил вопросы, но уже находил ответы на многие загадки жизни в гениальном учении Маркса и Ленина.

В своей повести «В людях» Горький описывает дикие сцены избиения проститутки, убийства кошки и прибавляет: «Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, — это, ведь, не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически-страшное приятно волнует вас. А я, вот, знаю действительно-страшное, буднично-ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нем, дабы вы вспомнили, как живете и в чем живете. Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!»

У Горького здесь тот же пафос обличения, что и у Гаршина, и почти те же слова.

В другом рассказе — «Происшествие» — Гаршин протестует против рабства женщины. Героиня рассказа — Надежда Николаевна, интеллигентная девушка, ставшая проституткой. С полным сознанием своего человеческого достоинства она протестует против социального уклада. Мировой судья штрафует ее за неприличное поведение в общественном месте, и она думает об этом: «Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность, но ведь это — должность! Этот судья тоже занимает должность». Она считает проституцию таким же полноправным институтом буржуазного строя, как и суд, и она права.

В нее влюбляется чиновник Никитин, который хочет на ней жениться, но она не может решиться на брак. Никитин является к ней в истерзанном виде, умоляет ее согласиться, и Надежда Николаевна думает: «Жалко мне его? Нет, не жалко. Что я могу сделать для него? Выйти за него замуж? Да разве я смею? И разве же это не будет такой же продажею? Господи, да нет, это еще хуже!.. Теперь я по крайней мере откровенна. Меня всякий может ударить. Разве я мало терплю оскорблений? А тогда! Чем я буду лучше? Разве не будет тот же разврат, только не откровенный?..» Слова эти звучат справедливым приговором институту брака в буржуазном обществе. Никитин гибнет: в отчаянии он кончает жизнь самоубийством, а героиня романа остается на той же панели, с изломанной душой. Оба они — жертвы эксплоататорского строя.

2

В центре всего творчества Гаршина стоит рассказ «Красный цветок». Кто не знает его, кто не помнит? В истории нашей общественной жизни, в идейной биографии сменяющихся поколений время от времени появляются памятные, излюбленные молодежью литературные произведения, которые служат символом веры, раздаются, как лозунг и пароль. Такие строки звучат с трибуны, с эстрады. Массы заучивают их наизусть. В первой половине прошлого века это были «Думы» Рылеева, стихи Пушкина: «Деревня», «К Чаадаеву», ода «Вольность», стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Затем явились «Сорока-воровка» Герцена, «Четвертый сон Веры Павловны» из романа Чернышевского «Что делать?», отрывки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Красный цветок» Гаршина, «Огоньки» Короленко, «Буревестник» и «Песнь о Соколе» Горького. В годы нашей революции молодежь с таким же увлечением читала «Двенадцать» Блока, «Левый марш» Маяковского, исповедь Островского «Как закалялась сталь»...

Эти стихи, поэмы, повести и исповеди звучат пафосом гражданской лирики и высокой нравственности, овладевают душой, волнуют сердца, зовут вперед «на бой кровавый, святой и правый». В ту же многокрасочную и звонкую гирлянду вплетен «Красный цветок» Гаршина. Это стихотворение в прозе, песня о храбрости безумца.

Душевнобольной заключен в больницу, в сумасшедший дом. В уголке сада, в густой, потемневшей в сумерках траве он видит два алых цветка мака, которые светят красными угольками. Фантазия больного мозга рождает мысль, что это ядовитый цветок, впитавший в себя «всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества... таинственное страшное существо...

Больной решает сорвать цветок, убить его, раздавить на своей груди, именно на своей груди, чтоб он при издыхании не сумел излить все свое зло в мир. Больной думает о том, что «зло перейдет в его грудь, его душу и там будет побеждено или победит, тогда сам он погибнет, умрет, но умрет, как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира».

Гаршин описывает шаг за шагом, как фантастический призрак стал все более овладевать сознанием больного, как мятущаяся его душа, заполнилась манией героического подвига и как этот подвиг был совершен. Сколько хитрости и лукавства проявляет больной, чтоб усыпить бдительность медицинского персонала! Откуда взялась у него потом такая сверхъестественная физическая сила, чтоб согнуть железную решетку окна, пролезть в узкий проход, преодолеть такое препятствие, как стена на пути. С окровавленными руками и коленями, с оборванными ногтями достигает он цели, терзает цветок и тем же путем возвращается обратно, никем не замеченный. Но самовнушение о ядовитости цветка так велико, а нервное истощение в борьбе так сильно, что больной и в самом деле умирает.

Рассказ написан спокойно, без малейшей аффектации. Поражают четкость рисунка и поистине клиническая точность описания. Вскоре после опубликования рассказа психиатр Сикорский в медицинском журнале засвидетельствовал, что в «Красном цветке» дано «классическое изображение» маниакального состояния. Гаршин описывал его, основываясь на самонаблюдении. Года за три до того он сам пережил тяжелый приступ психической болезни, многое запомнил и, выздоровев, художественно воспроизвел. Но какое нужно было напряжение воли и нервов, чтобы, выздоровев, воспроизвести бред своей собственной души в состоянии ее болезни. Гаршин сделал нечто большее: он преобразил фантастический призрак в символ покоряющей силы, в революционную аллегорию, вдохновлявшую несколько поколений на борьбу.

И надо сказать, эта заслуга Гаршина была правильно оценена. Молодежь горячо любила его и крепко помнила. Сам Гаршин стал для нее символом чуткой совести, как его герой — символом борьбы.

В литературном наследии Гаршина есть и другая художественная аллегория «Attalea princeps». Этим латинским словом названа чилийская пальма, растущая на севере в оранжерее из железа и стекла. Растения живут в оранжерее, как в тюрьме: они «заключенные». Они тоскуют по широкому простору, родному краю и свободе. На пять сажен над верхушками всех других растений высится пальма, и мы узнаем, что «этот рост доставлял ей только одно горе». Какая прямая аналогия с грибоедовским «Горе от ума», с Чацким.

Пальма томится, тоскует на свободе и призывает все растения оранжереи-тюрьмы: «растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу». Опять-таки и эти строки напоминают другие, владевшие умами в ту пору, — заключительные строки четвертого сна Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?».

Речь идет о светлом и прекрасном буду·

щем, и великий революционный демократ призывает: «Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести».

Но Чернышевский, писавший это в начале 60-х годов, верил в скорую крестьянскую революцию, надеялся, что могучая его проповедь встретит немедленный отклик. А в конце 70-х годов за плечами был уже опыт «хождения в народ», закончившийся тяжкой неудачей, помрачением многих идолов, крахом многих иллюзий.

Призыв аллегорической пальмы не встречает сочувствия у остальных растений оранжереи, кроме как у маленькой травки. Все они кричат: «Несбыточная мечта!» и попрежнему поглощены мелкими буднями. Тогда пальма гордо отвечает им: «спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу».

Это как будто все та же, хорошо знакомая в прошлой русской жизни трагедия одиночек, по словам Герцена, «неосторожно забежавших вперед», оторванных от родной почвы и самой толщи народа. Но звучит здесь уже и новая нота: отчаянная решимость интеллигентов-террористов сделать все самим, без народа и при полной его пассивности.

Пальма быстро растет вверх. Она вся уходит в этот рост, отдавая ему соки собственных корней и листьев. Верхушка достигает уже рамы на крыше и вступает в борьбу с толстым стеклом и решетками из крепкого железа. «Я умру или освобожусь!» восклицает пальма и разбивает стеклянный свод. Ветка с израненными нежными листьями вырывается на свободу, и пальма видит угрюмое осеннее небо, нищую природу чуждого ей севера, скучный огромный город. «Только-то?» думает она разочарованно. Директор оранжереи велит спилить дерево, и мертвая пальма, полузасыпанная снегом, лежит в грязи. Вместе с пальмой погибла и маленькая травка, охватившая ее ствол.

Сказка говорит о бесплодности героизма одиночек, но все же исполнена восторга перед нравственной красотой пальмы, погибшей в борьбе за свободу.

Свод и стены оранжереи, с которыми боролась аллегорическая attalea, это тюрьма самодержавия. Гаршин не устает обличать это зло. В «Петербургских письмах» он пишет, что «удары по всему лицу русской земли, наносимые человеческому достоинству, отзываются, и больно отзываются здесь». В письме к В. М. Латкину он жалуется: «... жизнь до такой степени переплелась с нецензурными явлениями, что постоянно натыкаешься на них и разбиваешь себе лоб... Газеты бросил читать, до такой степени вся жизнь преисполнена всевозможными свинствами...» Именно цензурные рогатки побуждали Гаршина пользоваться формой аллегорических сказаний.

Однако и в прямом бытописании Гаршин обличал самодержавие, его администрацию, взяточничество и тупость его чинов («Медведи»), жалкую пародийность созданных им общественных институтов («Подлинная история Энского земского собрания»).

Особенно подробно изобразил Гаршин армейскую жизнь. Этой теме посвящена целая серия его военных рассказов и очерков: «Четыре дня», «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Аясларское дело».

Армейский быт хорошо знаком был писателю еще с детства: его отец был офицером кирасирского полка, а мать происходила тоже из военной семьи — ее отец, Акимов, был морским офицером. В своей автобиографии В. М. Гаршин вспоминает полковую обстановку, окружавшую его с детства, и частые переезды с места на место, вслед за полком, в котором служил отец. В 1876 году писатель делает попытку записаться добровольцем в сербскую армию, сражавшуюся против турок. Царское правительство разогревало тогда «славянскую» кампанию, и шла вербовка добровольцев. Но Гаршина не приняли, так как он был призывного возраста, а в следующем году, в связи с начавшейся русско-турецкой войной, он, не закончив учебы в Горном институте, пошел в армию, был зачислен рядовым 138-го Болховского пехотного полка, участвовал в походе по Дунаю и в сражении при Аясларе. В бою он был ранен и отправлен в тыл; по выздоровлении произведен в офицеры, но через год вышел в отставку.

Гаршин изображает жестокую бессмысленность несправедливой русско-турецкой войны, тупой автоматизм армейских порядков, варварское обращение с людьми, втаптывание в грязь человеческого достоинства, самодурство высших чинов.

Страницы гаршинских военных рассказов глубоко поучительны; они показывают во всей наготе чудовищность порядков старой царской армии и вместе с тем беззаветный героизм и подлинную воинскую доблесть рядового русского солдата.

3

Гаршин был воспитан на традициях просветителей-шестидесятников. Как мы видели уже, его первым чтением был «Современник»; еще восьмилетним мальчиком он читает роман Чернышевского, бывший «настольной книгой» и «учебником жизни»

передовой демократической молодежи.

Лучшие заветы шестидесятников впитал в себе Гаршин. Он борется против остатков крепостничества, против всех форм эксплоатации труда, против рабства женщины, против мертвящей солдатчины. Он ратует за европеизацию русской жизни, презирает «чистое» искусство, разделяет эстетические взгляды Чернышевского.

Но действовал Гаршин уже в 70-х и 80-х годах и в своем творчестве отразил народнические настроения. Поэтому Гаршина в общем справедливо относят к числу писателей-народников. Не надо, однако, это понимать слишком безоговорочно. Уже А. М. Горький отметил, что такие писатели, как Слепцов, Помяловский, Левитов, Печерский, Гл. Успенский, Осипович, Гаршин, Потапенко, Короленко, Щедрин, Мамин-Сибиряк, Станюкович, не укладываются целиком в рамки народничества. Их «психология», как выражался Горький, была шире и выше учений Лаврова и Михайловского. В частности о Гаршине надо сказать, что он был свободен от наиболее типичных пороков народнической идеологии.

Вспомним здесь указанные Лениным три черты народничества: «1) Признание капитализма в России упадком, регрессом... 2) Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в частности... 3) Игнорирование связи «интеллигенции»... с материальными интересами определенных общественных классов» (т. II, стр. 321).

Гаршин был далек от идеализации крестьянской общины. Он, правда, мало знал деревню, и потому очень мало писал о ней. Но солдата, крестьянина в шинели, он знал довольно хорошо и через образ солдата обрисовал тяготы крестьянской жизни. От фронтовых бойцов мы слышим жалобы на малоземелье. В рассказе «Денщик и офицер» мы встречаем и кулака, Илью Савельича. Это «дюжий мужик в новой дубленке, большой бараньей шапке и хороших сапогах».

Забрили в солдаты единственного работника и кормильца большой крестьянской семьи — Никиту. И кулак тут же, на площади перед воинским присутствием, наседает на старика, отца Никиты:

«...Что ж ты должок-то, забываешь, что ль?

— Никак невозможно, Илья Савельич, то-есть — вот как, никак нельзя! Уж вы малость пообождите. Горе-то у нас какое!

— Ну, ладно, ладно, поговорим еще...»

А дальше мы узнаем, что не на что было снарядить Никиту в путь, и семья была вынуждена попризанять опять у того же кулака, а это значит лезть дальше в петлю кабалы... Под конец рассказа Никите снится: все семья вымерла, стало быть, никому не удалось уйти от цепких лап голода.

Отношение Гаршина к народнической идеологии ярко выразилось в одном из его писем (к Н. М. Минскому): «Мой дядя — мировой судья, — пишет Гаршин, — и я месяца два сидел у него в камере, помогая ему протоколы писать. Ну и мужика, этот самый «народ», увидел. И все не мог разобрать: «святая» ли он «скотина», по Михайловскому, или просто «скотина», или «святой», или просто мужик себе и больше ничего. Думаю, что он мужик, как мужик, что Петр Пономаренко мошенник и свинья, но, с другой стороны, Конон Ерех прекраснейший человек и что их в один и тот же «народ» сажать нет никакой возможности, как только речь заходит о качествах этого народа...

Вот насчет социальных стремлений, так скажу, что не знаю, как в других местах, а здесь, в Херс. уезде Херс. губ., с «Черным переделом» очень туго. Всякий норовит набить себе в карман «капытул» и на этот «капытул» купить земли. Земля же сия возделывается пришлыми батраками... все держится на отношениях хозяина и батрака».

От идеализации общины, от взглядов Михайловского, как мы видим, Гаршин был далек. Против капиталистической эксплоатации, во всех ее формах, он протестует, видит, что это «язва растущая», но «остановить» капитализм при помощи общины не собирается. Не идеализирует Гаршин и бессословную интеллигенцию. Он ясно сознает, что она служит господствующим классам и сама переходит в буржуазию. Такие персонажи, как Кудряшев, Венцель, учитель гимназии Василий Петрович, художник Дедов, описанные Гаршиным «деятели» Энского земского собрания, очень памятны в его галлерее типов.

В рассказе «Ночь» писатель буквально распинает интеллигентский эгоцентризм и призывает «вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом, это отвратительное Я, которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи». В одной из своих статей о живописи он говорит о том, что художники, «как и **вся наша интеллигенция**» (разрядка моя — *И. Л.),* в большинстве случаев... оторваны от родной почвы... мало знакомы с русской жизнью»... Где уж тут делать ставку на интеллигенцию!

Не верит Гаршин и в «особый путь» России. Об этом с полной ясностью высказывается он в «Петербургских письмах». Его корреспонденции и очерки («Подлинная история Энского земского собрания»,

«Аясларское дело», «Очень коротенький роман») представляют выдающийся интерес и недостаточно оценены у нас только из-за глупого предрассудка, будто очерк «низший» жанр.

В «Петербургских письмах» Гаршин иронизирует над славянофильствующими литераторами, называет их «московскими звонарями». Говоря о высоком проценте смертности населения в русских городах, автор саркастически добавляет: «У немцев смертность меньше, но гнилые немцы нам, конечно, не указ. Не знаю, как полагают на этот счет московские патриоты, а я так готов предположить, что слишком малая смертность показывает трусость и страх смерти: доблестный славянин вряд ли унизится до заботы о том, чтобы довести смертность в своей стране до 17 на тысячу, как какой-нибудь голоногий шотландец или селедочник-датчанин».

Гаршин — сторонник европеизации России, и в этом пункте он ближе к просветителям-шестидесятникам, чем к народникам. И тем не менее он в своем творчестве выразил настроения интеллигенции именно конца 70-х и 80-х годов. То были годы кризиса народничества. Опыт «хождения в народ» с социалистической проповедью потерпел полную неудачу. В деревне, которая осталась после «реформы» совершенно обнищалой и разоренной, совершался трудный процесс расслоения и диференциации. Община не радовала крестьян. Они слишком хорошо ее знали и потому никак не могли считать ее спасительной для себя. Проповедь народников не встречала сочувствия в деревне. Трудно было также поднять темное и забитое крестьянство на борьбу с царским правительством. Крах иллюзий народничества с каждым годом становился очевиднее.

С начала 80-х годов наступила в стране жестокая реакция. Это было второй причиной для охватившего интеллигенцию пессимизма и отчаяния. Безыдейное большинство «приспособилось», опустилось в тину обывательщины и мещанства, довольствовалось проповедью «малых дел». Немало было и прямых ренегатов. Отдельные группки становились на позиции терроризма. А в остальном господствовал идейный разброд: велика была сумятица в умах.

Жизнь выдвигала «проклятые вопросы», и интеллигенция не находила на них ответов. С одной стороны, при пассивности народа она склонна была считать себя «солью земли», единственной прогрессивной силой в стране, а, с другой стороны, сила эта оказывалась достаточно... бессильной, билась в тупике, не находя из него выхода. Истинный путь лежал в направлении к пролетариату, но народники не признавали рабочих самостоятельным революционным классом.

Зеркалом, своеобразно отразившим весь этот комплекс настроений, и явилось творчество Гаршина. Психический склад его натуры, обостренная эмоциональность всех восприятий, глубокий лиризм души позволили писателю передать общественные настроения своего времени с особенной выразительностью. Каждое произведение для Гаршина — «назревшая болезнь», каждый рассказ вновь и вновь «поставленный вопрос».

Какие же ответы дает он? Часто автор довольствуется одной только постановкой вопроса во всей его наготе и раздирающем драматизме. Картина глухаря — один из наиболее типичных примеров. Выздоровев после горячки, художник Рябинин раз навсегда отказывается от художественного творчества. Он сдает экзамен в учительскую семинарию, и Дедов предвидит, что он «пропадет, погибнет в деревне». Автор заключает рассказ словами: «На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел».

В иных случаях Гаршин дает ответы. Отчасти они идут в направлении народнической идеологии, отчасти в них звучит нота толстовского «непротивления злу».

В рассказе «Ночь» безыменный герой, интеллигент, решает покончить жизнь самоубийством, но раньше, чем спустить курок, он целую ночь проводит в тяжком раздумьи, занимается мучительным самоанализом, мысленно перебирает всю свою прошлую жизнь. Но останавливает его колокольный звон: в церкви звонят к заутрене. И герой вспоминает о своем долге перед народом. Чем помочь народу в его тяжелой жизни и страданиях, он не знает, у него нет никакой программы. Он уже и не собирается звать народ на борьбу. Он хочет только слиться с народом и «претерпеть» вместе с ним. Под конец герой умирает, но не от пули, а от разрыва сердца.

Примерно тот же ход мысли и в рассказе «Трус». Герой рассказа не сочувствует русско-турецкой войне, не верит славянофильским басням о том, будто в войне Россия ставит себе высокие цели освобождения балканских «братьев-славян». Он негодует против той бесчувственности, с которой общество узнает о «незначительных» потерях на фронте, он пластично представляет себе, что такое двенадцать тысяч трупов: «Если их положить плечом к плечу, то составится дорога в восемь верст». И все-таки, он идет на войну, хотя и может уклониться. Почему идет? Все по той же причине: надо «претерпеть» вместе с народом. Девушка говорит «трусу»:

«война есть общее горе, общее страдание и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится». Юноша соглашается с нею и едет на фронт.

Отношение Гаршина к Толстому было двойственное. По свидетельству В. А. Фаусека, Гаршин не сочувствовал толстовскому учению о «непротивлении злу». Это подтверждает и явно полемический характер картины, задуманный художником Гельфрейхом: «Илья и евангелие». В письме к В. М. Латкину Гаршин писал о Толстом: «Страшно и жалко становится человека, который до всего доходит «собственным умом...» А в письме к ближайшему соратнику Толстого В. П. Черткову он откровенно признавался о своем истинном отношении к толстовской проповеди: «многое... мне чуждо и даже больше, ненавистно. А многое, большая часть... близко...»

Влиянию толстовских идей надо приписать одно драматическое событие в жизни Гаршина. В феврале 1880 года Александр II учредил так называемую верховную распорядительную комиссию во главе с генерал-адъютантом Лорис-Меликовым. Через несколько дней после этого политический ссыльный террорист Млодецкий сделал попытку застрелить диктатора, но неудачно. Млодецкому грозила смертная казнь, и Гаршин обратился к Лорис-Меликову с письмом, в котором умолял простить террориста, направившего револьвер против «честной груди» диктатора. «Помните,—писал он, — ...что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, революверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения».

Не довольствуясь этим, Гаршин на рассвете отправился к Лорис-Меликову, заставил разбудить его и с рыданиями умолял диктатора помиловать Млодецкого. Тот пообещал на время отложить казнь и пересмотреть дело. Обещания своего Лорис-Меликов, конечно, не сдержал, и террорист был казнен. Все это страшно потрясло Гаршина. Он уехал в Москву, и, по свидетельству его жены, Надежды Михайловны, «болезнь захватила его там окончательно; совершенно уже больным, как говорится, прямо сумасшедшим, он скитался и метался верхом по Тульской и Орловской губерниям (в таком виде он заезжал и к Толстому), попадал, кажется, в руки полиции, переплывал вплавь реку во время ледохода и т. д. и т. д. — пока один из друзей не доставил его в Орловскую психиатрическую больницу».

Вот при каких обстоятельствах состоялась встреча Гаршина с Толстым.

В последние годы жизни Гаршина влияние толстовских идей в его творчестве становится более ощутимым. В рассказе «Происшествие» проститутка отказывается выйти замуж за Никитина не только потому, что не любит его, но и потому, что «не смеет». Источником трагедии является общественное зло, неустранимое в рамках данного строя. В 1885 году Гаршин пишет новый рассказ «Надежда Николаевна», непосредственное продолжение «Происшествия». В новом рассказе, как видно уже из заглавия, действует знакомая уже нам героиня. Здесь она представлена в виде страстной волевой натуры, и именно потому художник Лопатин пишет с нее Шарлотту Кордэ. Нет нужды, что Кордэ была контрреволюционной террористкой, убийцей вождя Французской революции Марата. Эта историческая фигура почему-то вдохновляет и Лопатина и самого автора... Под влиянием любви совершается чудо преображения проститутки. Общественное зло уже ничему не мешает, и Надежда Николаевна внутренне возвращается к честной жизни. Ее браку с Лопатиным мешает только ревность другого влюбленного в нее человека, Бессонова. Под конец происходят мелодраматические убийства, но чудо преображения уже свершилось.

Еще сильнее влияние толстовских идей чувствуется в более поздних произведениях Гаршина. В «Сказании о гордом Агее» (1886 г.) Агей, смирившись после долгих испытаний, отказывается от престола только потому, что ему полюбилась душеспасительная роль слуги у слепых нищих. В рассказе «Сигнал» (1887 г.) идет спор между двумя стрелочниками. Один из них смирный, прямо-таки «божий человек», а другой — бунтарь, негодующий против эксплоататоров и «живодеров». Бунтарь хочет найти управу на живодеров. Это ему не удается. Тогда он в припадке неистовой злобы сворачивает рельсы. Предотвращает катастрофу смирный стрелочник. Героически ранит он себе руку и окровавленным платком действует, как флагом, извещающим об опасности. Наконец, силы оставляют его, он падает, но красный флаг подхватывает былой бунтарь. Катастрофа предотвращена, и он покаянно кричит: «Вяжите меня!»

Рассказы Гаршина последних лет его жизни, проникнутые толстовскими идеями, слабы и в художественном отношении. Не они убедительны, не они интересны в литературном наследии писателя.

Временами Гаршин соскальзывал и к самому заурядному либерализму. В рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова», например, он приводит восторженное описание приезда царя на фронт. Царь, оказывается, взял на себя всю ответственность

за кровопролитную войну; под этим бременем он плачет, сидя на коне и пропуская перед собой войска, а солдаты, мистически ощутив свою «безответственность», проходят с облегченными душами. Хорошо написанная сцена оставляет, однако, впечатление натянутости и фальши.

Знакомый уже нам изверг-офицер Венцель, ренегат и мерзавец, как неожиданно под конец обнаруживается, любит в душе столь гнусно избиваемых им солдат. Потеряв в бою 52 человека, он горько плачет, тоже плачет, как и сам царь. Крокодиловы слезы, как символ ответственности — это нестерпимо пошло и слащаво.

В одном из своих стихотворений, осмысливая задним числом «освобождение» крестьян, Гаршин рисует идиллию, как торжествовала Россия и как «повсюду в скромных деревенских храмах моленья богу возносил народ». И совершенно непонятно, почему через пятнадцать лет опять у народа «опутано израненное тело, и прежние мученья начались». Обвинение во всем этом злокозненной бесстыдной толпы звучит слишком риторично и по сути совершенно неубедительно.

Временное соскальзывание писателя в болото либерализма и толстовства, его идейная неустойчивость и колебания типичны для старой интеллигенции, особенно в годы реакции. В личности Гаршина это объясняется также волевой неуравновешенностью больного человека.

Но силен Гаршин как художник, обаятелен как человек и представитель своего времени высокой своей гуманностью, чистотой души, социальным лиризмом, преданной и искренней любовью к трудящимся. Ему были близки демократические заветы 60-х годов. Он горел пафосом обличений и пафосом искания правды.

Пусть в этих поисках он иной раз сбивался с пути, но он был рыцарем социальной правды, слугою народа, готовым отдать свою жизнь за него.

В памяти поколений Гаршин сохранился как автор «Красного цветка», военных рассказов и величавой аллегории «Attalea prinseps», как создатель картины «Глухарь». С особенной любовью и нежностью произносят люди имя Гаршина. Ведь вместе со своим героем из дома умалишенных он готов сорвать ядовитый цветок, в котором собрано все зло мира сего, и раздавить его на своей груди, чтоб одна эта грудь пала жертвой за счастье народа.

Такой образ мог создать только человек с великой душой и великой любовью к народу. Может ли советский народ, в расцвете сил своих осуществивший далекий идеал Гаршина, забыть своего рыцаря, «святое дитя» свое, «святой сосуд» свой?

Проф. М. Морозов

«ГАМЛЕТ» ШЕКСПИРА

Шекспир написал «Гамлета» в 1601 году, в самый расцвет своих творческих сил. На пройденном Шекспиром пути эта трагедия занимает особое место. До «Гамлета», — не считая первой части «Генриха VI» и «Тита Андроника», в создании которых Шекспир, повидимому, принял лишь скромное участие, бегло обработав чужой текст, — Шекспиром было написано двадцать пьес. Для большинства этих пьес характерны жизнерадостные, солнечные краски. Напомним о таких комедиях, как «Сон в летнюю ночь» (1595), «Виндзорские кумушки» (1597), «Много шума из ничего» (1598), «Как вам это понравится» (1599), «Двенадцатая ночь» (1600). Даже в самой скорбной трагедии о Ромео и Джульетте» (1595), где впервые резко обозначилось столкновение гуманистических идеалов Шекспира с окружавшей его действительностью, изобильны эти радостные краски: хотя бы в образах блестящего Меркуцио и смехотворной кормилицы, этого Фальстафа в юбке, или в таких картинах, как южное звездное небо над Вероной, цветущее гранатовое дерево, платановая роща, где бродит влюбленный Ромео, и в том дыхании весны, которым проникнута вся пьеса. Кровью убийств залиты «исторические хроники», но, если рассматривать их в том порядке, в каком написал их Шекспир, и они приводят к счастливой развязке: к торжеству положительного, с точки зрения Шекспира, героя, короля Генриха V. Не забудем также, что в «хрониках» действует самый, пожалуй, веселый из созданных Шекспиром персонажей: сэр Джон Фальстаф. Этот написанный красками Рубенса «фламандский рыцарь» (как называют его в «Виндзорских кумушках») как бы воплощает бурное ликование плоти Ренессанса, одинаково ниспровергавшее и экстатический аскетизм средневековья и расчетливый аскетизм пуритан. Пусть тягостны, даже мрачны, события, описанные в «Венецианском купце» (1596), но и они завершаются радостным гимном музыке и любви в сцене лунной ночи. Тревожна и трагична атмосфера «Юлия Цезаря» (1599). И все же в период так называемых «больших трагедий» Шекспир вступает только начиная с «Гамлета», за которым из других «больших трагедий» следуют «Отелло» (1604), «Король Лир» (1605), «Макбет» (1605), «Тимон Афинский» (1608).

В то время трагические темы начинали преобладать в творчестве не одного Шекспира. В последние годы царствования Елизаветы и с воцарением Якова I, в душной атмосфере наступавшей реакции, драматурги-гуманисты выражали и свое негодование и свой протест — в произведениях, полных зловещих трагических перепетий. В 1600 году Марстон написал свою кровавую трагедию «Месть Антония». В следующем году, одновременно с шекспировским «Гамлетом», он написал «Недовольного», где герцог, у которого отнял престол узурпатор, изливает в монологах горькое свое возмущение царящими вокруг ложью и несправедливостью. В том же 1601 году была возобновлена на Лондонской сцене «Испанская трагедия» Томаса Кида. Здесь перед нами отец, готовящийся отомстить за убитого сына. «О мир! — восклицает он. — Нет, не мир, но скопище общественных несправедливостей, полное убийств и преступлений». К числу пьес, особенно типичных для тех лет, принадлежит и «Трагедия Гофмана или месть за отца» Генриха Четтля. Тогда же появился и «Гамлет» Шекспира.

Легенду о Гамлете впервые записал на латинском языке в конце XII века датский хронограф Саксон Грамматик. В 1576 году французский писатель Бельфоре пересказал ее в своих «Трагических повестях». В этой древней легенде рассказывается о том, как молодой Гамлет, прикинувшись безумным, чтобы отвести подозрения своего преступного дяди, исполнил долг кровной мести за убитого отца. События венчаются торжеством молодого Гамлета. В 80-х годах XVI века на лондонской сцене появилась пьеса о Гамлете. Об этой пьесе мы знаем только то, что в ней действовал взывавший к мести призрак убитого отца и что автором ее, повидимому, был Томас Кид. Таковы были сюжетные источники Шекспира. Как мы сказали, о пьесе Томаса Кида мы ничего

не знаем. Но с повестью Саксона Грамматика и Бельфоре великая трагедия Шекспира имеет лишь внешнее сходство. В древней повести отсутствует сама душа трагедии Шекспира — обличение «жестокого мира», как называет Гамлет окружающую его действительность, над которой властвуют Клавдии и Полонии и где кишмя кишат Розенкранцы и Гильденстерны (как тонко заметил Гете: их двое, друг с другом совершенно схожих, потому что их множество: «они — общество»). В этом мире гибнет Гамлет, как гибнут в нем Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона. В «Гамлете» Шекспир выразил те же мысли и чувства, что и в своем знаменитом 66-м сонете:

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу;
И прямодушье простотой слывет,
И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

(Впервые публикуемый перевод Бориса Пастернака)

Сравнивая шекспировскую трагедию с древней повестью о Гамлете, прежде всего заметим, что Шекспир исключил мотив кровной мести из темы самого Гамлета и передал этот мотив Лаэрту. Кровная месть не требовала чувства. Убийце отца нужно отомстить хотя бы отравленным клинком, — так рассуждает, согласно своей феодальной морали, Лаэрт. По-иному взывает к мести призрак: «Если ты любил своего отца, отомсти за его убийство». Это месть за любимого человека. Горацио говорит Гамлету: «Я видел вашего отца. Это был красавец-король». — «Он человеком был», поправляет друга Гамлет. Весть об убийстве отца для Гамлета — весть о гибели человека в окружающем его жестоком мире. Недаром сцену свидания с призраком Гамлет заканчивает словами о том, что «век вывихнут» (в подлиннике The time — время в конкретном значении данное время, эпоха; общество — сказали бы мы теперь) и что на него пала тяжкая задача «вправить этот вывих». В монологе «быть или не быть» Гамлет задает самому себе вопрос о смысле существования. Может быть благородней молча сносить удары судьбы? Но так поступить не может Гамлет, деятельный от природы человек (в том же монологе он говорит о «природном цвете решимости»). «Или поднять оружие против моря бедствий?» (Заметьте — «море бедствий», бесконечные ряды друг за другом бегущих волн). Но бороться одному против «моря бедствий» значит погибнуть. Навстречу неизбежной гибели героически идет Гамлет. Но, смертельно раненный отравленным клинком, он не умирает пессимистом. Он просит перед смертью, чтобы Горацио «поведал его повесть людям». Взор его уходит в будущее. Так и трагическая тема в творчестве Шекспира, достигнув своего предела в «Тимоне Афинском», нашла разрешенье в последней его пьесе «Буря» (1612), воплощенной романтической мечте о счастливом грядущем человечестве, где процветающее человечество (Просперо) [1]властвует и над темными силами природы (Калибан) и над ее светлыми, полезными человеку силами (Ариэль). В образе Гамлета мы невольно чувствуем как бы идейный автопортрет Шекспира, чувствуем справедливость слов одного из «классиков» шекспироведения, заметившего, что из всех героев Шекспира только один Гамлет мог написать шекспировские произведения.

«Гамлету» посвящены тысячи исследований. На бесчисленных страницах мировой «гамлетологии» издавна боролись два основных толкования. Согласно одному, Гамлет прежде всего — мечтатель, на хрупкие плечи которого легла непосильная ноша. «В драгоценную вазу, предназначенную для нежных цветов, посадили дуб, — писал Гёте. — Корни дуба разрослись и ваза разбилась». Согласно другому толкованию, Гамлет — деятельный человек, осуществлению цели которого помешал ряд объективных препятствий. Нетрудно видеть, что первое толкование, в своем законченном виде, сводит великую трагедию к случаю в субъективном плане, к психологическому или, вернее, патологическому этюду. Второе толкование видит в трагедии случай в объективном плане и неизбежно снижает ее до уровня детектива.

«Тебе волей-неволей пришлось бы тогда в большей степени шекспиризировать, между тем как теперь основным твоим недостатком я считаю то, что ты пишешь по-шиллеровски, превращая индивидуумы в простые рупоры духа времени», писал Маркс в письме Лассалю (19/IV 1859). В этом все дело. Созданные Шекспиром лица не «рупоры», но живые люди, и, как живые люди, они многогранны. Гамлет, если угодно, мечтатель: нужно было носить в себе мечту о каких-то лучших других человеческих отношениях (вспомним о дружбе принца датского и бедного студента Горацио), чтобы так негодовать на окружающие ложь и уродство. Гамлет и

[1] От глагола to prosper—процветать.

деятельный человек: разве не привел он в смятение весь датский двор и не разделался со своими врагами — Полонием, Розенкранцем, Гильденстерном, Клавдием? Но его силы и возможности неизбежно ограничены. Недаром он противопоставляет себя Геркулесу. Тот подвиг, о котором мечтал Гамлет, мог осуществить только Геркулес, имя которому — народ. Но уже одно то, что Гамлет увидел ужас окружавших его зловонных «авгиевых конюшен», то, что, вместе с тем, он, гуманист Гамлет, так высоко оценил человека («человек — чудо природы»), заставляет нас сегодня останавливаться на нем, одном из замечательнейших образов Шекспира, с особенным чувством.

Шекспир впервые проник в Россию в 1748 году в переделке «Гамлета» Сумароковым. Правда, трагедия Сумарокова, написанная согласно всем правилам классического канона, имеет мало общего с шекспировской. Достаточно сказать, что она завершается торжеством Гамлета, который женится на Офелии. В 1810 году Висковатов, следуя по стопам француза Дюси, снова переделал «Гамлета». Переделка Висковатова явилась гимном монархической власти. Гамлет — король на троне. Клавдий — заговорщик. Гамлет торжествует над злодеем и, пронзив его мечом, восклицает: «Небесный суд свершился!» Отныне он может царствовать спокойно. Исчерпывающую характеристику работе Висковатова дал знаменитый актер М. С. Щепкин в следующих словах: «Отвратительная пьеса... Дюсисовская дрянь». Первый перевод «Гамлета» на русский язык принадлежит Вронченко (1828). Это для своего времени добросовестная и продуманная работа. Но Вронченко не был поэтически-одаренным человеком, и его перевод навсегда остался в тени. Только вольный, достаточно небрежный, но несомненно талантливый перевод Полевого (1837) открыл «Гамлета» русскому театру. Играя в трагедии, переведенной Полевым, великий русский актер Мочалов восхитил Белинского своим исполнением (см. статью Белинского «Мочалов в роли Гамлета»). В течение XIX века появилось много переводов «Гамлета» на русский язык, наиболее выдающимся среди которых является перевод Кронеберга (1844). До последних лет он и оставался лучшим, несмотря на то, что он растянут и вял, нередко «подкрашивает» Шекспира, стремясь придать ему бо́льшую «поэтичность», а, главное, по стилю напоминает скорее Шиллера, чем Шекспира.

Понятно, что на новой родине Шекспира, в Советской стране, вопрос о переводе «Гамлета» встал особенно остро. Новый перевод Бориса Пастернака является у нас третьим за последние четыре года. В 1936 году вышел перевод Лозинского, серьезная академическая работа выдающегося мастера перевода. В 1937 году появился перевод Анны Радловой, давший, несомненно, много ценного в смысле раскрытия конкретной образности Шекспира. После первого беглого знакомства с новым переводом, сделанным поэтом Борисом Пастернаком, можно уже наметить следующие выводы. Текст Пастернака передает столь характерную для Шекспира стремительную динамику действия. Уже одно это говорит об его театральности. Во-вторых, Пастернак понял, как нам кажется, сущность шекспировского стиля. Шекспир широко использовал материал живого народного языка своей эпохи. Язык Шекспира насыщен идиомами разговорной речи тех дней, — идиомами, которые некоторые наши переводчики напрасно принимают за изысканные и даже искусственные «вымыслы» поэта. Механическое копирование чуждо новому переводу. Его живая текстовая ткань несомненно сделает великую трагедию Шекспира еще более близкой нашему читателю и зрителю.

БИБЛИОГРАФИЯ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ

(Двадцать семь месяцев на дрейфующем корабле «Георгий Седов»). Составили М. Б. Черненко и Л. Б. Хват.—Изд-во «Главсевморпути». 1940 г. Стр. 352. Ц. 15 р.)

С оперативной быстротой, нисколько не снизившей качества литературного и полиграфического оформления, был выпущен издательством Главсевморпути этот фундаментальный сборник, посвященный героической эпопее седовцев.

Он включает в себя основные документы, связанные с дрейфом Седова, телеграммы руководителей партии и правительства, биографии пятнадцати отважных победителей Арктики, краткую историю корабля, выдержки из дневников седовцев и статью профессора Н. Н. Зубова о научном значении дрейфа.

Предисловием к книге служит статья Героя Советского Союза И. Д. Папанина «Сталинская вахта».

Это книга о мужестве советских людей, их преданности родине и науке.

Все мы с неослабным вниманием следили больше двух лет за подвигом седовцев. В этой книге картина дрейфа встает перед читателем во всей своей цельности и изумительных деталях, говорящих о несгибаемости характеров людей, созданных сталинской эпохой.

П. Семенов

УВЛЕЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОСТЬЮ

(ЛЕВ КАНТОРОВИЧ. Полковник Коршунов.—«Советский писатель». Л. 1939. Стр. 174. Ц. 4 р. 50 к.)

Жизнь полковника Коршунова наполнена волнующими событиями. Да к тому же и автор умеет выбрать впечатляющие факты. Но, как известно, такие факты могут волновать и в сухом хроникальном изложении. Здесь сила не в мастерстве писателя, а в воздействии на читателя самого сообщаемого факта. Внутреннего же мира своего героя Канторович раскрыть не сумел.

Все остальные персонажи книжки еще более статичны, чем Коршунов. Кажется, что автор показывает не живых бойцов Красной армии, а делает с них эскизные зарисовки, бледные наброски карандашом.

Повесть «Полковник Коршунов» состоит из соединенных вместе, органически не связанных друг с другом новелл. Сначала это воспринимается как новаторство, но при дальнейшем чтении становится ясно, что автор просто маскирует таким способом свое неумение строить сюжет. Судьба многих героев обрывается в начале книги, и в повести появляются все новые люди, лишь случайно связанные с основным героем.

Чтобы понять, откуда у автора возникло стремление к такой понимаемой в самом буквальном смысле иллюстративности, надо отметить одну свойственную ему особенность. Канторович не только пишет, но и сам иллюстрирует свои книги. Не случайно его первая книжка «Пять японских художников», вышедшая в 1933 году, посвящена живописи, а очерки объединенные под названием «Холодное море», представляют собрание картин, нарисованных словом и карандашом. В сборниках рассказов «Граница» и «Пост № 9» иногда бывает трудно установить, что для автора важнее — текст или рисунок. Так в рассказе «Внук Цезаря» о собаке Юкон текст воспринимается порой, как расширенные подписи под рисунками.

Такая иллюстративность свойственна всем произведениям Канторовича. Его занимают не люди, а события, точнее — обстановка, в которой происходит действие.

В «Полковнике Коршунове» автор, очевидно, стремился дать более углубленное изображение людей и событий. Но это ему не удалось.

Канторович, подобно некоторым другим молодым писателям, идет по неверному пути поверхностного показа очень существенных явлений нашей действительности. Поэтому его книга обманывает ожидания.

Г. Колесникова

НЕ ИНТЕРЕСНО

(ЛЕОНИД БОРИСОВ. Незакатное солнце. Книга рассказов.—Гослитиздат. Л. 1940 г. Стр. 260. Ц. 4 р.)

В этой книге (претенциозное название которой так и остается непонятным для читателя) есть очерк о писателе А. Грине. Очерк называется «Гражданин рыцарь интересного».

Леонид Борисов пишет непохоже на Грина. Его поиски «интересного» не имеют ничего общего с архаически наивным, но во всяком случае глубоко трогательным рыцарством А. Грина.

Разговор о творчестве А. Грина начат не только потому, что он упоминается в книге Борисова. Речь идет об очень важной черте, свойственной А. Грину и настоятельно необходимой для каждого желающего в искусстве двигаться своим путем. Это — искренняя заинтересованность в том, о чем пишешь, даже если это преимущественно создание фантазии автора, как у Грина. Тем более такая заинтересованность необходима, когда повествуешь о явлениях подлинной жизни. В двадцати двух рассказах Л. Борисова, собранных в книге, читатель ощущает стремление автора быть интересным рассказчиком при значительном безразличии к предмету повествования.

В книге нет единства творческой манеры. Упрощенное бытописательство (рассказы «Песня», «Такси», «Сад», «Помощник Ната Пинкертона») живет в близком соседстве с психологизмом, создаваемым по несложным рецептам посредственного писателя эпохи безвременья Чирикова.

В рассказе «Снегурочка» писатель Камышов рассказывает жене о том, как он в юности влюбился в незнакомую девочку, которую он встречал на катке, не сказав ей ни разу ни слова. Портрет девушки несложен: «длинные пушистые ресницы, прямой нос, пунцовые губки, на щеках паутинкой лежал румянец». Так как имя ее неизвестно, то она, конечно, называется «Белая шапочка». Затем «Белая шапочка» исчезает, а влюбленность остается надолго. Выслушав рассказ Камышова, жена открывает ему, что она и была этой «Белой шапочкой» и также была влюблена в незнакомого мальчика, встречавшегося на катке. Познакомились они в более зрелом возрасте и не узнали друг друга. Их брак не принес обоим особенного счастья.

Пошловатая трогательность конструкции рассказа кажется недостаточной Л. Борисову, и он бросает на весы еще одну дозу, резко поворачивая сюжет. Оказывается, Камышов рассказывал историю, случившуюся не с ним, а с его другом и только таким образом неожиданно узнал, что его жена любила и любит другого, а не его.

Также напоминает Чирикова или же псевдопроблемные произведения Пантелеймона Романова рассказ «Ниночка».

Жизнь литераторов особенно привлекает внимание Л. Борисова. Гоголь, Чехов, Блок, Некрасов, Горький, Грин — каждому из них посвящено по рассказу. Нельзя сказать, что психология этих писателей правильно понята и передана Л. Борисовым.

В рассказе «Чудесный гость» А. Блок выходит морозной ночью на улицу.

«— Спасибо звездам и луне, спасибо, — сказал Блок».

И дальше он говорит у костра, обращаясь к греющимся прохожим:

«— Я обогревал чужое жилье, я говорил о том, что человеку должно быть хорошо на свете! И стало мне плохо, и мук моих не знал никто. И вам холодно и плохо, но спасибо вам, товарищи, за то, что делаете вы именем революции».

Слишком явно, что все это говорит Л. Борисов за А. Блока.

В остальном книга заполнена очерками газетного типа и имитациями фольклорных мотивов.

Несмотря на все попытки Л. Борисова интересно рассказывать, читать его книгу не интересно.

Е. Крекшин

---

106 РОЛЕЙ ЗА ГОД

(Б. А. ГОРИН-ГОРЯИНОВ. Кулисы.—«Советский писатель». Л. 1940 г. Стр. 280. Ц. 5 р.)

Актерское дарование чаще всего раскрывается у человека в юности. Многих и многих в молодые годы волновала соблазнительная мечта—стать актером. Кажется, что за рампой, за кулисами скрывается особый мир, в котором возможны самые удивительные вещи.

Мемуары работников театра, показывающие действительность, из которой складывается театральная иллюзия, конкурируют по читабельности с беллетристикой.

Воспоминания людей, долгие годы работавших в театре, ярко показывают, как изменила революция актерский быт и всю систему создания спектакля.

Народный артист РСФСР орденоносец Б. А. Горин-Горяинов написал интересную книгу, с которой особенно поучительно познакомиться и зрителю и актеру в связи с проходившим в этом году смотром молодежи советских театров.

Книга Горин-Горяинова не претендует на изложение своей линии в творческих вопросах. Это живые зарисовки театрального быта и впечатлений от творчества

крупных актеров, товарищем по работе которых был автор.

Варламов, Давыдов, Мамонт-Дальский, Певцов оживают в этой книге, и читатель получает известное представление об игре этих мастеров, которых ему не довелось увидеть на сцене.

Пленка сохраняет нам работу киноактера, труд театрального актера фиксируется только в воспоминаниях очевидцев. Здесь непосредственная учеба для молодого актера возможна только у непосредственно ему предшествующего поколения мастеров. Поэтому ценны все добросовестные свидетельства о ярких явлениях театрального искусства, отдаленных от нас временем. Показателен и личный путь в искусстве Горин-Горяинова. В старом театре за один год им было сыграно 106 новых ролей в драме, оперетте и опере. Цифра воистину астрономическая. И нужно было обладать подлинным чувством значения нового в искусстве, чтобы не сбиться в этих условиях на ремесленнический штамп. Как мы знаем, с Горин-Горяиновым этого не случилось.

Последние главы книги рисуют изменения, происшедшие в театре в первые годы революции. Они выглядят особенно убедительно, благодаря тому, что перед этим автор показал, как давили и коверкали искусство антрепренеры, возводившие на Парнас грубую и нахальную гостью — музу коммерции.

Написана книга живо и читается очень легко. Однако думается, что более тщательная редакторская работа могла бы резко увеличить общественное значение книги.

В. Соловьев

НЕНУЖНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

(П. ЛОПАТИН. Москва. Очерк из истории великого города.—Госполитиздат. 1939 г. Стр. 188. Ц. 5 р. 50 к.)

В коротком названии этой книги выражена большая, волнующая тема. Она поставила перед автором благодарные, но очень трудные задачи.

Восемь веков прожила Москва. История ее богата событиями. Будущее ее почти осязаемо.

«Заняв Москву, я поражу ее в сердце», говорил Наполеон о России.

В огне сердца нашей родины сгорели честолюбивые мечты интервентов.

Книга П. Лопатина правдиво и интересно рассказывает читателю историю Москвы от середины XII века до наших дней.

Сейчас, к счастью, уже нельзя прослыть историком, умея лишь бормотать, что и Москва и москвичи суть продукты какой-нибудь трудно произносимой общественно-экономической формации. События и факты даны в книге Лопатина в их хронологической последовательности. Автор живо характеризует исторических деятелей, показывает быт каждой эпохи.

Читателя тронет грустная судьба гениального неудачника, зодчего Баженова. Он рассмеется, читая о споре городской думы и гвардии поручика Хомякова. Сто тысяч рублей, ни копейки меньше, запросил поручик с города за небольшой палисадник, загораживавший движение на оживленной улице — Кузнецком Мосту. Частная собственность в капиталистической стране считается важнее интересов города. Волнение охватывает, когда доходишь до страниц, рассказывающих о баррикадах на Пресне в 1905 году, об артиллерийском обстреле Кремля в 1917 году. А вот комсомольцы-метростроевцы, руководимые Лазарем Моисеевичем Кагановичем, борются с коварным болотом под землей. Это совсем недавние дни, и это уже история.

Обилие интересного фактического материала выгодно отличает книгу Лопатина.

К сожалению, читатель получил в этом издании несколько ухудшенный вариант работы П. Лопатина. Эта книга была недавно выпущена Детиздатом. Госполитиздат переиздал книгу со значительными сокращениями. Эти сокращения нельзя оправдать ничем, кроме стремления к уменьшению объема книги. Выгадав на этом и на упрощении иллюстративного оформления половину цены книги в издании Детиздата, читатель все же многое потерял. Живой рассказ превратился в ряде мест в сухой конспект, произносимый скороговоркой. Книга стала скучнее. Из нее выпали многие интересные подробности.

О боярине Кучке, о борьбе Москвы с Тверью, о боярах, занимавшихся по ночам грабежами, о маскараде в дни коронации Екатерины II, о жизни в Москве Лермонтова, о борьбе филипповских пекарей прочтут только дети. В издании Госполитиздата этих страниц нет.

Восстание Пугачева, картины дворянского и купеческого быта даны в издании Детиздата гораздо живее и подробнее.

И, наконец, самое важное — взрослый читатель лишен увлекательного описания жизни Москвы от октября 1917 года до наших дней и поучительной экскурсии в ее будущее.

Не стоило сокращать эту книгу. Лучше было превратить это издание во второй тираж той же самой книги, одинаково интересной для детей и для взрослых.

О. Сенеж